

Вадим Слуцкий

Моя мама

•

Валя и Галя

СОДЕРЖАНИЕ

ББК 84 (2Рос = Рус)
С-49

Слущкий Вадим Ильич.

Моя мама. — СПб.: Образовательные проекты, 2011. — 280 с.

ISBN 978-5-98368-087-6

Книга «Моя мама» написана известным педагогом В.И.Слущким в память о своей маме, Людмиле Ильиничне Слущкой, замечательной учительнице русского языка и литературы. Она была очень скромным человеком, и о ней, как о многих великолепных учителях, знают только ее ученики, их родители, коллеги, с которыми она работала. Однако именно ей ее сын обязан всем, чего достиг в педагогике. В то же время это очень честная, правдивая книга, попытка воссоздать облик уже ушедшего из земной жизни человека – таким, каким был этот человек на самом деле, во всей своей сложности.

Это книга о том, каким сложным, противоречивым может быть человек. Об одиночестве, о трагических судьбах людей, мимо которых мы почти всегда проходим, не замечая их. О связи матери и ребёнка; о роли мамы в судьбе своего ребенка – и о роли сына в жизни своей мамы. Наконец, это книга о творчестве и творческих людях, о том, почему часто им так трудно живётся на Земле. Книга, о которой можно сказать словами М.Ю.Лермонтова: «История души человеческой порой интереснее истории целого народа».

«Валя и Галя» – повесть об учительнице, влюблённой в детей и школу. Её очень любила мама автора. Поэтому повесть включена в это издание.

© Слущкий В.И., 2011

МОЯ МАМА	4
Глава 1. Отец и мать. Одиночество. Книги	5
Глава 2. Первые лучи: Дружба. Общение. Театр	11
Глава 3. Еще раз об её открытиях: их двойной смысл. Переезд в Кишинёв. Война и эвакуация. Жизнь в Акмолинске	14
Глава 4. Что она думает о себе. Страшные слова. Возвращение в Кишинёв	23
Глава 5. Университет. Борьба с космополитизмом. Люся и Сусанна	25
Глава 6. Почему она не стала профессиональной актрисой. Ваду-луй-Воды. Бой часов. Моя бабушка	33
Глава 7. 42-я школа. Первый и последний. Странный мальчик	45
Глава 8. Драмкружок. Добро – это зло. Как она жила	55
Глава 9. Мама и я. Ее сила и слабость	62
Глава 10. Свежий ветер. Миша и Лена	69
Глава 11. Лена	76
Глава 12. О Лан и моя мама. Я и девушки. Катастрофа	81
Глава 13. Наш Кишинев. Георгий Иванович и Миша. Лена Кушнир	91
Глава 14. Договор. Два дерева. Русские казни: Приозерск	100
Глава 15. Хрупкая сила. Спор двух Богов. Русские казни: Петрозаводск	112
Глава 16. Двое на холодном ветру. Выгодно ли обмануть самих себя? Чем мы жили? Наши русские соседи	125
Глава 17. У тебя не получится. Мама и мои девушки. Что такое творчество? Гоша	139
Глава 18. Пийтсиёки. Нина Андреевна. Мамина последняя болезнь и смерть	146
Глава 19. Похороны. Ясный свет. Итоги	177
Глава 20. В какую игру мы играем. Эпоха Одиноких. Лена. Первое сентября	187
ВАЛЯ И ГАЛЯ.....	205

Моя мама

Я согласен с тем, что люди уходят от нас неузнанными. Вот и мама ушла, и уже нет рядом ее голоса, ее чудесной улыбки – нет ее. Фотографии на стене не могут заменить живого человека. И хочется хотя бы думать о ней, еще раз прожить с ней вместе ее жизнь. Это не может ее заменить, но, может быть, так будет чуть-чуть легче.

Я много разговариваю в последние дни с разными людьми, которые ее знали. У каждого есть какое-то представление о ней, более или менее верное. Какую-то маленькую частичку её они восприняли и помнят – хорошо, если подлинную, не искаженную. Но никто её не знал по-настоящему. Никто не знал ее внутреннюю, какой она была на самом деле. Это обычно, так бывает почти всегда.

Но самое странное – и тоже обычное – что и она сама до конца не знала себя. А я знаю – и хочу рассказать.

Это будет рассказ только для близких и друзей, для тех, кто к ней неравнодушен. Пусть ненадолго, пока они будут это читать, она оживет в их мыслях, их памяти, их воображении. Не думаю, что это кого-то чему-то научит: не для этого я пишу. Может быть, это последняя попытка борьбы со смертью, которая уже произошла. Её нет, но пусть еще немножко поживёт она в памяти тех, кто прочтёт эти строки.

Хотя и очень горько, что их уже не сможет прочесть она сама.



ГЛАВА 1.

Первое воспоминание. Как они жили. Отец и мать. Одиночество. Книги

Первое мамино воспоминание вот какое.

Ей 2 года. У нее скарлатина. Она лежит на большой кровати (там всегда спят родители), утопая в подушке. Старшая сестра Рива – у тётки. Отец и мама – на кушетке (это кушетка ее и Ривы).

В комнате полумрак. Тишина. Родители спят, но она не спит. У окна – на их единственном большом столе – горит керосиновая лампа с прикрученным фитилём, обернутая газетой. Свет еле пробивается через газету.

Ей одиноко и страшно в этой тишине и полутьме. Чтобы как-то отвлечься, она поднимает ручку и подносит ее к лицу, глядя на свет лампы сквозь пальцы. Она не знает, зачем это делает. На несколько секунд ее это занимает. Но потом она видит, как пальцы растут, разбухают, увеличиваются в размерах, между пальцами появляется что-то вроде перепонок, они сливаются. Она пугается этой огромной руки – и опускает ее.

Но рука ее не слушается, хочет подняться снова, – тогда она переводит взгляд дальше, чтобы не смотреть на руку.

На стене у окна, над столом, полка с книгами: это книги отца. Тора и кое-что из Талмуда. Это толстенные фолианты, старые, замусоленные, растрёпанные. Она их не любит (однажды она пыталась снять одну книгу с полки, но не смогла). Поэтому поскорее переводит взгляд на невысокий пузатый буфет. Там, наверху, лежит стопка детских книг. Их она любит. Она смотрит на них долго, и на душе у нее теплеет.

Но тут она вспоминает «Мойдодыра»: как умывальник ожил и стал надвигаться на героя, угрожая ему всяческими карами за то, что он плохо моет руки, – ей кажется, что их буфет похож на этот умывальник: вот он начал расти, двигаться – сейчас он так же оживёт и начнет наступать на нее. И она опять поскорее переводит глаза дальше.

У входной двери на гвоздике висят пальто и шапка отца. Отец маленький, шушленький. Но сейчас ей кажутся пальто и шапка огромными. Это не ее отца пальто. И вообще это не пальто и шапка, это какой-то незнакомый мужчина вошёл в комнату. Она его очень боится, а родители спят.

Ручка ее снова поднимается и снова увеличивается в размерах.

Тут она уже не выдерживает и начинает пищать (она никогда не плакала громко в детстве, а только тихо пищала). Но мама привыкла к ее пи-

ску, она просыпается, встаёт, берёт ее на руки. И сразу всё отступает: нет уже страшного незнакомца в пальто – это снова пальто отца, маленькое и совсем не опасное. Она крепко прижимается к маминой тёплой груди – нет ничего: есть только мама.

И дальше она уже ничего не помнит: наверное, она уснула у мамы на руках.

Моя мама родилась 16 ноября 1928 года в Тирасполе, небольшом одноэтажном утопающем в зелени городке на левом берегу Днестра.

Двор был чисто еврейский: всего 9 семей. Была семья стекольщика, возчика (он владел лошастью и телегой); был один советский чиновник, тоже еврей, которому отдали комнату с кухней, раньше принадлежавшую семье моей мамы. Это называлось «уплотнение». Им оставили одну комнату.

Я ее уже описал. Стол – единственный, большой: за ним и ели, и писали, и читали. Полка с книгами – тоже одна, но только для религиозных книг отца. Остальные лежали на столе, на буфете, у Леи и Ривы на кушетке.

Стены всегда чисто выбелены, некрашенный деревянный пол чисто начисто вымыт.

Шкафа не было: одежда висела на одной из стен, на гвоздиках.

Двери из комнаты вели прямо во двор, между ними оставалось небольшое пространство, где стоял примус: на нём готовили. Воду носили из колодца, из соседнего двора. Туалет, конечно, на весь двор один, общий. Возле туалета росла огромная акация. Когда она цвела, дети с удовольствием ели ее цветы.

А детей было много: например, в семье Гудзинецких – того самого возчика, он, кстати, был неграмотным – четверо. У Либеровых – тоже четверо. Где-то больше, где-то меньше.

Их семья и семья чиновника – две интеллигентные семьи: в них всего по два ребенка.

Дома одноэтажные, деревянные, в каждом – по несколько квартир. Во двор вели ворота, их дверь была вторая от ворот.

Однажды мама рассказала мне, что во всех семьях у них во дворе были большие жестяные корыта. В них и стирали, и мылись сами. Эти корыта летом выносили во двор и ставили под окна, наливали в них воду из колодца. К полудню она нагревалась – и дети, набегавшись по жаре, залезали в эти корыта-бассейны и плескались в них.

Мою маму в детстве звали Лея Зайдман. Она очень светлая блондинка, совсем не похожая ни на своего отца, ни на мать.

Ее мама, Нина Давидовна Зайдман, родилась в богатой еврейской семье. Отец владел двумя фабриками: одна из них снабжала спичками всю

Москву. Но он не был коммерсантом по натуре. Фабриками, доставшимися ему по наследству (мой прапрадед был лесным королем в Польше, его дочери танцевали при королевских дворах Европы), занимались управляющие. Он же все свое время тратил на чтение религиозных книг, философские споры, на благотворительность – и на свою семью. Детей шестеро, Неха – моя бабушка (потом ее звали Ниной) – старшая.

Отца своего она очень любила. Это был красивый, добрый и терпимый человек. Сам глубоко религиозный, он никого из своих детей не принуждал – и Нина не была религиозной. Очень любила читать, прекрасно танцевала – и мечтала о романтической любви. Она была очень красива.

Это не чувственная, а возвышенно-благородная красота: смуглобледное лицо с правильными чертами и устремленные в какую-то дальнюю даль прекрасные мечтательные глаза.

Тонкая, чувствительная, а как старшая сестра – ответственная и добросовестная – такая она была.

А потом грянула революция. Фабрики, конечно, отобрали. Отец купил дом в городке Бар Винницкой области Украины: в тихом, как ему казалось, месте. Но городок постоянно переходил из рук в руки: Петлюра, гайдамаки, белые, зеленые, Махно – все аккуратно устраивали еврейские погромы. Только красные обходились без них, зато так же аккуратно грабили, подчищая то, что еще оставалось. Большой семье жить становилось все трудней.

Кончилась гражданская война, надо было пристраивать детей. И в 1926 году – в 21 год – моя бабушка вышла замуж.

Брак этот устроил ее отец. Жених, Израиль Зайдман – приходился Нине двоюродным братом. Она знала его с детства. Это был интеллигентный худенький молодой человек в очках. Очень религиозный: этим он понравился ее отцу.

Почему она согласилась? Она любила отца. Понимала, что должна ему помочь: ему трудно прокормить всех. Может быть, надеялась, что муж будет ее любить. Но этой надежде не суждено было сбыться.

Мама вспоминала такую сцену.

По пыльной тираспольской улице идет ее отец, в длинном, до пят, черном лапсердаке, в высокой широкополой черной шляпе, с пейсами. На губах его блуждает легкая улыбка: он очень доволен. Он идет в синагогу. За ним плетётся маленькая белокурая девочка: она тащит толстенную книгу. Вид у нее довольно-таки несчастный. Это моя мама.

Она не хочет ходить с отцом в синагогу. Ей непонятны его увлечения. Кажется смешной и нелепой его одежда. Она не любит его тяжелые, как камень, книги. Она вся сжимается, когда уличные мальчишки начинают улюлюкать им вслед, бросаться обидными словечками – а кое-кто и мелкими камешками.

Но из двух сестер Лея – более покладистая: поэтому именно ей приходится ходить с отцом в синагогу.

Почему он сам не носил свои книги? Это ведь суббота: наверное, настоящий праведник не должен в субботу даже книги носить – это же тоже работа! А Лея – девочка, ей можно немножко поработать и в субботу. А, может быть, он считал, что воспитывает дочь, приучая ее к такому благочестивому занятию.

Но Лея была только внешне послушная, а внутренне – очень независимая. И она не любила эти книги, не любила синагогу – и не любила своего отца.

В конце 60-х гг. мой дедушка вернулся в Кишинев из Самарканда, где его приютил лагерный приятель, тоже религиозный еврей. Денег у него было мало, и он купил полуподвальную комнатку в старом районе.

Я был там. Настоящее средневековое еврейское гетто. Сырость, темнота, теснота, нищета, убожество. И этот старик – со светлой улыбкой, какой-то весь изнутри светящийся, похожий на ребенка. Он прожил свою жизнь, как хотел: ни разу не изменив себе. И в сталинском лагере он соблюдал субботу – и никто с ним ничего не мог и там поделаться.

Этот человек чем-то привлекал меня, я любил его. Но мама была против нашего общения, а я был еще маленький и не мог ходить к нему один.

Тем не менее, что-то общее у нас с ним, несомненно, есть. Я фанатично относился к педагогике, почти так, как он к иудаизму. Я почти не знал его, но он мне чем-то близок.

Однако этот человек не мог любить живую женщину. Ему вообще не приходило в голову, что жену надо любить. Религиозный еврейский ортодокс не имеет права даже поднять глаза на жену, когда разговаривает с ней: это соблазн. Нельзя называть жену по имени (тоже соблазн), можно же просто позвать: «Эй, принеси!» – или: «Эй, подай!»

Конечно, трудно себе представить, что моя гордая романтическая бабушка могла примириться с этим.

Кроме того, он не считал нужным содержать семью: работал кустарём-переплётчиком, чтобы иметь возможность ничего не делать в субботу. Почти ничего не зарабатывал – и нисколько не беспокоился об этом (тоже общая черта у меня и у него).

Семья содержала она. Закончила бухгалтерские курсы и работала. Была ответственной, умной, пунктуальной, безукоризненно – до болезненной щепетильности – честной, добросовестной. Ее ценили, хорошо продвигали по службе. Но работу свою она тихо ненавидела.

Вечно погруженная в себя, в свои проблемы, она не замечала своих дочерей, их внутренний мир для нее не существовал. Рива от этого не страдала, потому что она была простая девочка, которой достаточно побегать на улице, искупаться в речке.

На детских фото сестер видно, что Рива – вполне счастливый ребенок. А вот мама выглядит унылой и несчастной. Банты у нее тщательно завязаны, волосы аккуратно расчесаны. Ухоженная девочка. Но явно не счастливая.



Мама очень добросовестно заботилась о них. Она одинаково тщательно драила полы, стирала, гладила, кормила дочерей, мыла, заплетала им косы, повязывала банты. Но эмоционального контакта не было.

Лея, тонкая и чувствительная, была очень привязана к маме, тянулась к ней – но встречала глухую стену. Осознать это ей было не по силам – но настоящей близости, которая так нужна любому ребенку – а такому, как она, ребенку – особенно – такой близости не было.

С Ривой они были абсолютно разные: та – вполне обычная, простая, здоровая девочка. У них были разные интересы, разные компании, всё разное. Они даже не ссорились: просто ничего общего.

Об отце я уже сказал.

Так, в своей семье, она с самого начала была совершенно одинока. Она очень страдала, но не догадывалась, от чего страдает, потому что с рождения не знала ничего другого.

Впрочем, мама ее тоже страдала, не видя выхода, и тоже была в своей семье совершенно одинока.

Отец тоже был в своей семье совершенно одинок, но нисколько от этого не страдал.

Рива же – простой человек – и не стремилась к какой-то особой эмоциональной близости ни с отцом, ни с сестрой. А мама ее все же любила больше, чем Лею: она была более веселая. И этого ей вполне хватало.

В сущности, они все были одиноки. Но Лея – прирожденная творческая личность – чувствовала это острее других.

Спасали от этой внутренней пустоты до поры до времени только книги. Они вводили далеко, в совсем иной мир. Она очень любила читать.

Читать любили все. Мама – их мама, моя бабушка – читала простран- ные романы европейских авторов или Шолом-Алейхема (ее любимой ве- щью были «Блуждающие звезды»). Отец – свои книги. Впрочем, он и рус- скую классику любил: особенно, Чехова. Детям читали детские книжки: в основном, Чуковского и Маршака – Лея знала многое наизусть. Потом, лет в 5, они с сестрой стали читать сами.

И только книги были для нее единственным светлым пятном, един- ственным светлым воспоминанием в раннем детстве.

ГЛАВА 2.

Первые лучи: Дружба. Общение. Театр

Итак, мама Леи, моя бабушка, всю свою энергию вкладывала в то, чтобы убедить себя в своей добродетельности: драила, чистила, мыла, стирала – и ей по большому счету было все равно, что именно драить: полы – или головы своих дочерей. А что творится в этих головах – об этом она не задумывалась: все ее мысли были поглощены собой, своим неудавшимся браком, своей бо- лью. Она была глубоко несчастна, но из гордости не хотела этого признать.

Казалось бы, участь такого чувствительного, застенчивого ребенка, как моя мама, при такой матери и при таком отце была предрешена. Об- речена на несчастное, безрадостное детство.

Нет! В этих угнетающих условиях она САМА нашла радость, на- шла свет, который озарил потом всю ее жизнь. Этот свет был – общение и дружба, и еще – театр.

Она оказалась очень общительной и очень хорошим другом. Ее люби- ли в классе, где она училась (с 1 по 4 класс): и учительница, и все дети. Ког- да они переезжали в Кишинёв, весь класс вместе с учительницей пришел провожать Лею на вокзал: ее задали игрушки, открытками, книгами.

Были друзья и во дворе: целая компания. Интересно, что у Ривы тоже была своя компания – другая. Вместе они никогда не ходили. Мамины первые друзья – это Мирра Либерова, Броня Гудзинецкая, Рафик Китай- чик (он был похож на китайца) и Вова Рябинин. Все, кроме Вовы Ряби- нина, из их двора. Вова был сыном начальника местной милиции, и этот большой человек несколько не возражал против того, что его сын водится исключительно с еврейскими детьми.

Забегая далеко вперед, скажу, что Броня, как и вся ее семья, погибла в оккупации. Остальные остались живы. И после войны мама списалась с ними и поехала повидаться: из Кишинёва в Тирасполь. Это было опасно: в развалинах домов прятались солдаты-наркоманы (они стали наркома- нами в госпиталях, из-за обезболивания). Вокзал был опасным местом. Но ей так помнилась эта дружба, так хотелось увидеть детских друзей.

Доехала она благополучно. Нашла Рафика и Мирру (Рябинины уже не жили там). Но они ведь были из самых простых семей. Оба работали, зарабатывали. Увлекались танцами: по вечерам в местном клубе. Каждый день. Говорить с ними было не о чем. Они потащили ее на танцы, но она скоро сбежала оттуда.

Можно представить себе, с какой горечью в душе она шла на вокзал, покупала билет до Кишинёва. А в поезде к ней пристал какой-то пьяный солдат: он обхватил ее и не отпускал. За нее никто не заступился: все смотрели и смеялись. А для нее это было страшно мучительно: она была очень застенчива.

Только когда поезд уже приехал в Кишинев, она с такой силой рванулась, что вырвалась от него и изо всех сил побежала: из вагона, по перрону, по вокзальной площади, потом по улицам – боясь оглянуться. Остановилась, только совсем задохнувшись. Сзади никого не было. Она кое-как отдышалась и пошла домой.

Вот так она повидалась со старыми друзьями спустя много лет.

Но тогда, в детстве, это была отдушина, это был свет. Он только-только забрезжил тогда в ее жизни, а потом разгорелся ярко.

Но ее наивная вера в вечную дружбу Рафика и Мирры говорит о том, что ее по-настоящему не интересовали они и она их не понимала. Она окуналась в стихию общения, родную для нее, и хорошо себя чувствовала в ней. Но глубокого интереса к людям, стремления их понять – не было.

Театр был у них во дворе. Его организовали сами дети.

Как я узнал впоследствии, эта традиция существовала в городах Левобережья Днестра еще долгое время. Дворовые театры. В них играли сами дети, иногда – и дети, и взрослые. У них во дворе этим увлекались только дети. Моя мама была одной из самых активных театральных деятельниц.

Пьесы писали сами, ставили, оформляли тоже сами: взрослые не принимали в этом участия. Самая популярная пьеса называлась «Фея – золотая звездочка». У них была девочка по имени Фея: очень красивая, с длинными золотистыми волосами. Мама рассказывала о ней с некоторой ревностью. Фея играла саму себя. Сюжет был отчасти сказочный, отчасти бытовой – с элементами жизни их двора, узнаваемыми персонажами и событиями, но были и фантастические герои и события – всё вперемешку. Эту пьесу, с некоторыми вариациями, играли часто.

Представьте себе такую картину: их двор, он почти прямоугольный. По периметру – беленые известкой одноэтажные деревянные домики, со ставнями на окнах. Над домами высоко поднимаются деревья: каштаны, акации, липы. На заднем плане – дворовые «удобства», источающие сильный аромат, и знаменитая акация. На хаотически расставленных разнокалиберных стульях, скамейках и табуретках сидит публика: всё население двора. Заляпанной грязью возчик Гудзинецкий усмехается в растрёпанную бороду и подмигивает моей бабушке, чопорной, всегда идеально одетой и причесанной, а она старательно делает вид, что не замечает его сигналов. Зрители хохочут, всплёскивая руками, переговариваются друг с другом, иногда что-то подсказывают артистам – собственным детям. Сцены как таковой нет: просто стоит какая-то декорация, сделанная из старой

простыни или дырявого покрывала. Актеры наряжены в роскошные костюмы из цветной бумаги и старых тряпок. Но как увлечены артисты! Какое удовольствие получают зрители!

Лея тоже играла. И тогда она почувствовала, как это здорово: стать кем-то, какой-то другой, прожить какую-то другую жизнь всего за какой-нибудь час – как это интересно. Она была талантливая актриса, хотя в то время еще не сознавала этого, просто чувствовала, как это чудесно – играть на сцене. Она не отличалась честолюбием: ей нравился сам процесс работы над ролью и сама игра на сцене, независимо от аплодисментов и похвал.

Мой друг Вадим Ротенберг как-то сказал: «Наградой за творчество является само творчество». Вот моя мама была такая: очень скромная и застенчивая, лишённая каких-то особых амбиций – она хотела от творчества только той непосредственной радости, которую оно дает.

И так театр стал ее другом на всю жизнь.

Уже во время ее последней смертельной болезни я включил ей по каналу «Культура» телеспектакль по «Идиоту» Достоевского. Это была блестящая, советских времен, постановка. Мама не могла уже долго смотреть: уставала. Но она с таким волнением, с такой радостью сказала, как это хорошо поставлено, какой замечательный Рогожин, какая великолепная Аглая, и князь Мышкин, и все – как верна каждая черточка, каждая интонация.

Она была прекрасная актриса и отличный режиссёр.

Она это нашла САМА. Замечу, кстати, что всё лучшее, что есть во мне – немного, к сожалению – от мамы. А вот она всё лучшее в себе сама нашла и сама создала.

И это стало законом ее жизни – на всю жизнь. Тяжесть, трудность, серость жизни – не пригибали ее к земле, не заставляли отступить. Она искала и находила себе радость. Она ни от кого ничего не ждала. Она сама создавала для себя свет, радость и счастье.

Она была сильная, очень сильная, моя мама. Уже в то время – в детстве – эта сила начала проступать в ней.

ГЛАВА 3.

Еще раз об её открытиях: их двойной смысл. Переезд в Кишинёв. Война и эвакуация. Жизнь в Акмолинске

Я уверен, очень многое в нашей жизни определяется тем, что мы сами для себя открываем. Моя мама еще в детстве открыла для себя общение и дружбу – и искусство (художественную литературу и театр) – и эти открытия определили всю ее жизнь.

Однако нет открытий хороших или плохих самих по себе: каждое имеет особый смысл именно для этого человека – особый субъективный личностный смысл.

То, что нашла моя мама, позволяло ей почувствовать себя в жизни гораздо более комфортно и уверенно. Нет уже той унылой несчастной девочки, которую мы видим на самых первых ее фотографиях. Теперь это весёлая, лёгкая, какая-то изнутри светящаяся девушка – как на фото университетских лет, например. Она душа компании, она актриса. Она лучше и тоньше других понимает книги – и в этом тоже чувствует свою силу.

Однако ее главную проблему – одиночества – все это не решало. Более того, уводило в сторону от нее, скрывало – от нее самой.

Когда она была с подругами и друзьями, она не чувствовала себя несчастной, не чувствовала своего одиночества. Общение развлекало и отвлекало ее – и казалось, что всё в порядке. Но на самом деле пустота в душе оставалась, она только переставала ее замечать.

Одиночество – это несоединенность души одного человека с душой другого. Эмоциональная отделенность от всех людей. Чтобы не быть одиноким, человеку достаточно иметь одного, всего лишь одного, близкого – но он должен быть не формально, а на самом деле близким. А, как я уже сказал, ни мать, ни отец, ни сестра – Лее не были действительно близки.

В общении она нашла способ ухода от главной проблемы своей жизни, которой она не осознавала. Общение было довольно поверхностным, без особой любви и глубокого интереса друг к другу. Ей давалось оно легко: она была обаятельная, весёлая, артистичная – с ней хотели дружить и охотно дружили. Но соединённости с душой другого по-прежнему не было. Она оставалась совершенно одинокой – но теперь у нее было еще меньше шансов это заметить и осознать.

Раньше она чувствовала, что что-то не так с ней, в ее жизни – и инстинктивно пыталась найти выход. И нашла – как ей казалось. Книги, друзья, театр. Это составляло теперь содержание ее жизни.

Но никто из ее друзей и подруг, которых было так много, так и не стал ей по-настоящему близок.

Забегая вперед, скажу, что в университете ее лучшей подругой была Сусанна Гандельман, с которой они потом годы и десятилетия жили в одном городе и время от времени встречались. Однако общались они редко, очень поверхностно – и никакой особой привязанности друг к другу в них не было заметно.

В первые годы работы мама очень дружила с Фирой, учительницей той же школы: они вместе играли на сцене в местном клубе, вместе вели драмкружок, вместе проводили лето, много ездили – у нас сохранилось множество снимков: на озере Рица, в Батуми, в Ялте. Однако потом они расстались, мама жила в Кишинёве, Фира – в Керчи. И если Фира ей писала, мама порой забывала ей ответить. Писали они друг другу редко, связь была потеряна. С глаз долой – из сердца вон.

Я сказал, что она была хорошим другом. Действительно, она легко – несмотря на свою застенчивость – завязывала отношения с людьми и поддерживала их. Однако делала это скорее для себя – чем для них. У нее не было ориентации на людей. Общение было нужно само по себе, потому что оно создавало иллюзию полноты жизни и отвлекало от пустоты в душе, которая уже не только не осознавалась, но и не ощущалась. Общение было нужно ДЛЯ СЕБЯ.

Книги – также уводили от реальности, давали возможность отвлечься, успокаивали. Как своего рода наркотик. Она была очень талантлива, у нее быстро развился прекрасный, совершенно независимый литературный вкус. Она чувствовала свою силу в этом, и, как всякому человеку, ей приятно было делать то, что у нее хорошо получалось, в чем она была сильной.

А между тем самое главное – именно то, что настоятельно и прежде всего требовало решения, преодоления, от чего зависели успех и счастье всей жизни – оставалось где-то далеко в самом тёмном подвале ее души – нераскрытым, неузнанным.

Есть такая психологическая теория – о подвале и парадных комнатах души человека. В подвал складывают то, что считают ненужным, и забывают о нем. А мы имеем дело обычно с парадными комнатами, фасадом. Но в то же время то, что в подвале, – казалось бы, забытое, не замечаемое нами – часто влияет на нашу жизнь даже больше, чем «фасад».

Не берусь судить, насколько это верно. Но может быть, и верно.

Моя мама рано начала наводить порядок в парадных комнатах своей души. И ей это хорошо удавалось. Но именно поэтому о подвале она совсем забыла.

В 1940 г. они переехали из Тирасполя в Кишинёв.

До 1940 г. Кишинёв входил в состав Румынии, а потом отошёл к СССР. Моей бабушке предложили в Кишинёве работу, обещали хорошую квартиру. И они покинули Тирасполь – навсегда. Я даже никогда не был в этом городе, не видел улиц, где моя мама бегала в детстве. А очень жаль.

В Кишинёве они – впервые для моей мамы (и потом это было так редко!) – жили в человеческих условиях: симпатичная двухкомнатная квартирка с большой верандой, где можно было готовить (кухни не было). Маленький уютный дворик с ореховым деревом в центре, оно закрывало своей кроной весь двор, и там было всегда прохладно, хорошо. Их маме (моей бабушке) дали подъёмные, они купили симпатичную мебель.

В середине июня 1941 г. они наварили много варенья: уже была малина. Это варенье потом, видимо, досталось оккупантам.

В ночь с 21 на 22 июня город бомбили. Рива была тогда в пионерском лагере. Люся (теперь ее чаще зовут именно так) с мамой проснулись от звука разрывов, но подумали, что это учения. В то время часто происходили военные учения. И утром они собрались на рынок. В ветвях огромного орехового дерева застряли осколки, но они не поняли, что это такое.

По дороге на рынок милиция, которой оказалось на улицах очень много, стала загонять людей во дворы: они опять решили, что это учения: сейчас начнут бегать крепкие ребята с носилками, укладывать на них людей, перевязывать и куда-то нести – такое уже бывало не раз. Двор, куда их загнали, был незнакомый, народу – как сельдей в бочке. И тут начали транслировать речь Молотова (по репродуктору: они в те времена были на каждом перекрёстке). Только тогда они поняли, что началась война.

Тот дом на улице Измайловской, с этой милой двухкомнатной квартиркой с верандой, во время войны разбомбили. Вся мебель, варенье и пр., тоже, конечно, пропало. И даже ореховое дерево было расщеплено и изуродовано бомбой.

Кишинёв расположен у самой границы. Надо было срочно уезжать. К счастью, родственник, дядя Лёва* (он работал в одном из министерств) нашел для них и всей прочей своей многочисленной родни машину. На вид это был обычный грузовик – но «топился» он дровами. Дрова надо было искать, собирать или даже рубить и пилить – по ходу движения.

Они уехали в самый последний момент, из-под носа у румын. Ехали в кузове, вещей почти никаких не взяли. С ними эвакуировались тётя Фири (родная сестра отца моей мамы), ее маленький смешной сын Гриша, которого все называли «Сюня» (мама его называла «Гришуня», а он сам себя «Гьисюня»), и многие другие.

По дороге их много раз обстреливали и бомбили, они выпрыгивали из машины, бежали в поле. Мама вспоминала, как при звуке падающей

* Ива и Арон утверждают, что это был не дядя Лёва, а дядя Наум, муж тётя Фиры (мамы Гриши, того, который «Сюня»). Но мама говорила, что это был дядя Лёва.

бомбы ей хотелось превратиться в крошечного червячка, вжаться в землю. Она очень хотела жить, и ей было очень страшно.

А Сюня не боялся: он не понимал, что такое бомба и что такое смерть. Он весело тыкал пальцем в небо, считая вражеские самолёты: «Аз, два, тьи!» и чем больше их было, тем больше он радовался.

Отца в то время давно уже не было с ними. Его посадили в 1937 году, дали 8 лет. Так что всю войну он оставался в лагере.

Осудили его за то, что он написал в письме брату, как тяжело жить: картошка дорогая, хлеб дорогой, работы почти никакой нет. Это вместо того, чтобы восхищаться Светлой Новью. Письмо это перлюстрировали – и вот так он стал врагом народа.

Дедушка мой был тонкий, интеллигентный человек, как я уже говорил, любивший Чехова – вообще человек не от мира сего. Был он небольшого роста, худенький (моя мама отчасти похожа на отца в этом смысле), слабого здоровья. Допросы в НКВД вызвали у него дикий ужас: это был ад на Земле, какого он не мог себе даже представить. Но он никого не оговорил, хотя и подписал на самого себя всё, чего от него требовали.

В лагере он соблюдал заповеди, не ел, чего не положено, отказывался работать в субботу, молился, подружился с таким же религиозным евреем из Узбекистана (бухарским евреем, так их называют) и после лагеря поехал к нему в Самарканд, там работал кустарём, заработал кое-какую пенсию, и уже пожилым изможденным человеком приехал на родину, в Кишинёв. Купил ту самую подвальную комнатку – как будто из средневекового еврейского гетто – женился на пожилой, простой еврейской женщине – и так жил последние годы.

Он не воспринимал свою жизнь с той стороны, с которой смотрим на неё мы. Он считал, что всё это в порядке вещей: нищета, жуткие условия жизни, гонения. Так ведь жили его предки на протяжении веков. Главное – сохранить себя, остаться праведником. И он сохранил свою веру, ни в чём ей не изменив. И от этого был в нем какой-то внутренний свет. Ведь чем труднее жизнь – тем больше чести тому, кто всё выдержал и остался самим собой. А он мог себе сказать, что всё выдержал, прошёл все испытания – и остался верен заповедям, остался евреем, как он это понимал.

Он не осуждал свою жену, мою бабушку, которая отказалась принять его после лагеря. Любил своих дочерей.

Последние полтора года своей жизни он провел в Израиле, встреченный тамошними ортодоксами как святой мученик. Когда он умер, он оставил своим детям: Иве и моей маме – по тысяче долларов наследства.

Это был детски-чистый, но какой-то стерильный, чуждый интересов земной жизни человек. Он, видимо, так и не понял, каким несчастьем был для своей жены, как искалечил её жизнь. Как страдали его дочери. Он всегда смотрел в одну точку, ничего не видя по сторонам, – как всякий фанатик.

И не заметил, как ужасна была его жизнь. Он сам считал ее удачной, успешной.

На знаменитой дровяной машине они доехали до Днепропетровска, где у них машину отобрали. Они отправились дальше на поезде и прибыли на Кубань. Там прожили недолго. Пришлось бежать и оттуда.

С огромным трудом какие-то родственники буквально втащили их в товарный вагон, уже двигавшийся и битком набитый людьми, не хотевшими их пускать.

Измученные, грязные, завшивевшие, голодные, через несколько недель прерывистого томительно медленного движения они приехали в Казахстан. Это было уже в ноябре: их эвакуация из Кишинёва, таким образом, продолжалась – с небольшим перерывом – больше 4-х месяцев.

Там их поселили в Акмолинске (сейчас – Акмола, что в переводе с казахского означает «Белая могила»: в тех местах резко континентальный климат, очень суровые зимы и сильные бураны, дома порой заносит до крыш – чем и объясняется такое название), где моя бабушка получила работу в артели, изготавливавшей одежду для фронта. Работала она по-прежнему бухгалтером.

Там моя мама заболела и болела всю зиму, в школу пошла только весной. Жили они сначала на квартире у маминой кассирши, фактически в одной комнате с ее семьей, за невысокой фанерной перегородкой. У кассирши было трое детей: они легко перелезали через эту перегородку и крали хлеб, картошку, мелкие вещи. Сделать с этим ничего нельзя было.

Поэтому они вскоре съехали отсюда. Одно время жили у каких-то казахов на кухне. В месяц рамадан казахи днем ничего не ели, а по ночам (когда Аллах спит) они отъедались. Спать было невозможно – так что и оттуда они ушли.

Потом их мама все-таки получила двухкомнатную квартирку – от артели, где работала. Там была чугунная плита – одна на две комнаты – ее зимой топили постоянно, углём, так что она раскалялась докрасна.

Еду давали по карточкам: Люся имела силу воли и терпение делить свою пайку хлеба на маленькие кусочки и съедать их постепенно в течение дня. А вот Ива (бывшая Рива: имя Рива их мама в конце концов сочла «слишком еврейским») съедала свой хлеб сразу – а потом в течение всего дня плакала от голода. Люся иногда с ней делилась.

Впрочем, сестры были обе одинаково добрые. Рядом жила соседка, старая мать которой не могла сама выйти во двор: ее выводили Ива и Люся. «Нина, у тебя не дети, а ангелы!» – говорила старушка.

Купить что-то съедобное было очень трудно. Сначала им удалось достать мешок семечек. Люся жарила их на раскалённой плите и ела, но от этого ещё больше кашляла. Потом – на пару со ссыльным соседом-корейцем – купили поросёнка. Варили пельмени. Люся их тоже ела –

но не совсем обычным образом: тесто съедала, а мясо выковыривала и выбрасывала.

Когда она мне рассказывала этот эпизод, я заметил в шутку:

– Зачем же выбрасывать мясо в войну? Ты могла отдавать его корейцу!

– Нет, это же была тайна! – сказала мама.

Всю зиму 1941–42 гг. она сидела дома, читала книги. В школу пошла только весной.

Акмолинск лежит в степи, плоской, как стол, продуваемой всеми ветрами. Одноэтажные домики под двускатными крышами, широченные улицы. Зимой – до 50 градусов мороза и страшные бураны. В буран не видно вытянутой руки, идти по улице можно, только держась за протянутый вдоль домов канат. Летом – страшная жара. Вокруг – голые, пустынные степи. Вблизи от города протекает река Ишим; если перейти через мост, начинаются бескрайние огороды.

Там вскоре появился клочок земли и у них. Работала там, конечно, Люся: маме их было некогда, а Ива стала трудным подростком, к тому же как старшеклассница она летом работала в колхозе. Росла на огороде картошка. Ее нужно было посадить: сажали глазками – потому что семенного картофеля не было – потом несколько раз за лето окучивать и поливать.

По хозяйству помогала маме тоже Люся. Вернее, не столько помогала, сколько вела всё хозяйство.

Бабушка моя пропадала на работе, у нее не оставалось ни сил, ни времени ни на что. Придя домой, наскоро поев, она валилась в постель и засыпала.

Она работала теперь главным бухгалтером огромного объединения, производившего различную продукцию для фронта (валенки, тулупы, шапки, рукавицы – всё в громадных количествах), куда включили и ту артель, где она служила сначала. Артелей, входивших в объединение, было много и располагались они в разных местах, иногда за много десятков километров друг от друга. В некоторых артелях бухгалтера не было вообще. Надо было туда ездить, чтобы вести отчетность.

Ездили они вдвоем с помощницей, казашкой Кантарбаевой.

Однажды поздно вечером они возвращались по степи домой, на телеге, лошадка была старая, замученная. И на них едва не напала стая волков.

Сначала в темнеющей степи они увидели мерцающие там и сям, быстро перемещающиеся огоньки: они не испугали мою бабушку – но Кантарбаева в ужасе упала лицом на телегу, бросив вожжи – это были волки. Бабушка ее тормошила, кричала на нее, достала спички, стала зажигать и бросать в сторону волков. Схватила вожжи, кричала на лошадь. Волки не напали на них, они смогли доехать до города.

Сильным человеком была моя бабушка! Эта женщина, Кантарбаева, потом долго после войны писала ей, благодарила за спасение. Бабушка с гордостью показывала нам ее письма.

Однажды на отчёте в райкоме она сказала, что работа непосильна для нее: у нее двое детей, она ими совершенно не занимается. На нее посмотрели с удивлением и сказали: «Сейчас все делают больше, чем могут. Чтобы мы таких разговоров от вас не слышали!»

Работа ее страшно мучила. Бабушка моя была нервной, ранимой, чувствительной – в то же время болезненно щепетильной и добросовестной, с гипертрофированным чувством ответственности. И она знала, что за малейшую недостачу ей грозит лагерь. А у нее дети. Это было страшное напряжение, каждый день, без отдыха.

Как она это выдержала? Трудно понять.



Моя бабушка с сестрами Кантарбаевыми. Справа от нее – та самая, которую она спасла.

Сначала они почти голодали. Но к концу их жизни в Акмолинске питались уже хорошо. Новый начальник объединения – списанный по ранению фронтовик, у которого погибла на оккупированной территории вся семья – очень заботился о людях. Он придумал ловить в реке рыбу: оказалось, ее там очень много. Специальные бригады ходили на реку – рыбу распределяли среди всех сотрудников в зависимости от количества членов семьи. Рыбы было столько, что съесть ее всю не удавалось – и Люся кое-что продавала на базаре.

Представьте себе такую картину: базар в военном Акмолинске. Пыльная, грязная площадь. Ящики, мешки. Торгуют, в основном, местные: казахи, корейцы, китайцы. Продают старую одежду, всякую мелочь: иголки, нитки, мыло – а, в основном, еду: хлеб, мясо, рыбу. Продают плитки зеленого чая. Покупатели: и русские, и казахи с медными лицами – ходят между торговцами, прицениваются. Улыбаются, видя тоненькую очень белокожую девочку, видимо, русскую или украинку: она в уродливой юбке, сшитой из крашеной мешковины; в тулупе, в каких щеголяют узники ГУЛАГа; в платке, из-под которого выбиваются светлые-светлые, льняные, пряди; на ногах у нее явно слишком большие валенки. Девочка застенчивая, наряд ее совсем не придает ей уверенности, но она упорно стоит – пока всю рыбу не купят.

Впрочем, покупали у нее хорошо: рыба была хорошая, продавала она дешево. И было в этой девочке что-то очень симпатичное, привлекательное – что невольно заставляло подойти, спросить цену – а потом и купить.

Эта девочка – моя мама.

Что вспоминала мама об этом времени своей жизни?

Вспоминала друзей: Катю Чёрную, Лору Морозову (дочь главного инженера большого оборонного предприятия), Мою Пейсаховича.

Вспоминала школу, которая ей очень нравилась: у них был отличный директор, Настоящий Педагог. Все дети: сосланных, репрессированных, эвакуированных, местных, плохо владевшие русским языком, – для него были именно дети. Он всех понимал, обо всех заботился.

Местные учителя были слабые, но эвакуированные – часто очень сильные. Работали у них муж и жена, преподаватели харьковского университета, – он был историк. Он так рассказывал, что не нужен был никакой учебник: всё было перед глазами, как живое.

В 6 классе у нее была хорошая учительница литературы.

Правда, потом советский наркомпрос затеял – прямо во время войны – педагогический эксперимент: у них открылась женская и мужская школа. Женская напоминала старорежимную гимназию. Это было уже не то. Главной в устах учителей стала фраза: «Директрисса сказала». Их математик был сексот, все это знали. Это был очень строгий человек: не дай Бог, если у него какой-то ученик, записывая дробь, проводил черточку между числителем и знаменателем слишком высоко или слишком низко – тут же получал «единицу». По мнению этого человека, черточка должна была быть точно между двумя цифрами: тютелька в тютельку. И это он считал самым важным на уроках математики.

Вечера там тоже были казенные, совсем не как в прежней школе. Приглашали оркестр. Девицы стояли вдоль стен, ожидая приглашений на танец. Директрисса их строго оглядывала. Мама не ходила на эти вечера.

В прежней школе вечера устраивали задушевные, атмосфера напоминала семейную. Гармонь, гитара. Был десятиклассник Вадим, который прекрасно пел. В него были влюблены поголовно все девочки в школе.

Еще вспоминала она некоторых хороших людей, например, двух инженеров-чеченцев, из сосланных (а одного из них так и звали – Сослан). Это были молодые люди, очень интеллигентные, добрые, работающие. Они привозили всем дрова, уголь, кололи дрова.

Вообще всю жизнь мама оставалась очень доброй и доброжелательной к людям. Она старалась и умела видеть в людях хорошее, пусть какие-то крупинки, черточки. И поэтому никогда не воспринимала людей вообще отрицательно. Ее отношение к людям было всегда положительное. О себе я, к сожалению, этого сказать не могу.

Когда в 1944 г. освободили Харьков, Ива как раз закончила школу. У их мамы была идея-фикс: обязательно дать дочерям высшее образование. Ей казалось, что это залог счастья и процветания. И она отправила 16-летнюю дочь, отличавшуюся к тому же трудным характером, в Харьков: учиться в политехническом институте, только что тогда открывшемся. Ива – как и сестра – была очень способная, поэтому закончила школу на год раньше положенного.

И Ива, «голая и босая», поехала в Харьков. Они остались с мамой вдвоем.

С тех пор – всю свою жизнь – мама сама хозяйничает в своем доме. И это стало не только привычкой, но и своего рода самоутверждением, основанием для гордости: я всегда всё делаю сама!

Эта привычка потом изрядно испортила мне жизнь – но об этом речь далеко впереди.

Самое главное не это – а другое, о чем я расскажу в следующей главе.

ГЛАВА 4.

Что она думает о себе. Страшные слова. Возвращение в Кишинёв

А что она думала о себе – как о девушке?

Ведь моя мама 1928 года рождения, так что в 1945 году, когда они вернулись в Кишинёв, ей было уже почти 17 лет. Она сформировалась как девушка именно там, в эвакуации.

Ей было 13 лет, когда она начала задумываться о своей внешности. До того как-то не обращала на это внимания.

Она носила в то время длинные волосы, заплетая их в косы. Волосы у нее были очень красивые, пушистые, светлые-светлые, будто светящиеся. Это видно почти на всех ее фото.

Но шёл 1942 год, в моду вошли короткие стрижки, в том числе у девочек. Она решила быть, как все, и сказала об этом маме: просила дать деньги, чтобы пойти к парикмахеру. И мама ей ответила: «Если не будет твоих волос, кто посмотрит на тебя? Это единственное хорошее, что в тебе есть».

– Почему она так сказала? – спросил я её.

Мама пожала плечами:

– Потому что это было ее мнение. Она была темная, легко загорала. Она считала, что я некрасивая.

А ведь Люся тогда впервые задумалась о себе, о своей внешности. Ведь это сказала ее мама! И она ей поверила.

Конечно, не всё так просто. Не надо думать, что она была уж такой зависимой и внушаемой. Как раз наоборот. Как все прирожденные творческие люди – а моя мама была прирожденным творческим человеком – она отличалась внутренней независимостью, самостоятельностью. Просто в данном случае ядовитые семена упали на благодатную почву. У нее уже начал появляться какой-то женский комплекс неполноценности.

Виной тому были два обстоятельства: во-первых, природная застенчивость – она так и не прошла с годами, мама оставалась такой до последних дней своей земной жизни – а во-вторых, условия жизни в отрочестве. Ее костюм военных времен я уже описал. Это было ужасно: юбка из мешковины! Тулуп узницы ГУЛАГа! Ужасно, когда девочке – да еще такой душевно тонкой, чувствительной – в этом возрасте приходится носить такую дрянь. Это преступление. Но кого можно за него осудить? Гитлера? Может быть, Сталина?

Так ей пришлось жить, в таких условиях. И поэтому она поверила своей маме.

Что сыграло страшную, роковую роль во всей ее жизни.

В 1945 году, в начале года, Кишинёв освободили. Они вернулись домой: вдвоем, – Ива училась в Харькове.

Дядя Лёва – тот самый работник министерства, который в начале войны помог им уехать – получил в Кишинёве в центре города квартиру: это был бывший зал какого-то особняка, прямо напротив здания министерства, на улице Ленина. Огромный зал. В таких «при старом режиме» устраивали балы. И там, на полу, разместилась вся «мешпуха» («семья» по-еврейски, – то есть все: и близкие, и дальние – родственники).

Мама говорила, что жили хорошо, дружно. ДРУЖНО – это был всегда для нее главный критерий. Спали вповалку на полу.

Она очень сдружилась тогда с Гришей (тем самым, который «Сюня»: кстати, родственники называли его так до самой смерти, хотя он был знаменитый ученый, физик-лазерщик, доктор наук и зав лабораторией) и Софой, жившими в той же комнате. Софа жива и по сей день, живет в Израиле.

Софа была разбитная, энергичная, крепко сбита девушка, между прочим, как и мама, тоже блондинка, хотя и не такая светлая. В эвакуацию она жила где-то за Волгой, в каком-то селе, и там набралась русских частушек, которые великолепно пела.

Вместе они гуляли в центральном кишиневском парке.

Кишинёв – мой родной город, поэтому сейчас, когда я это пишу, я вижу перед собой этот парк: тогда он, правда, был еще молодой, с тонкими, стройными деревьями. Посреди парка – большой круглый фонтан.

И вот представьте себе: солнечный день, поддувает легкий ветерок. Чуть шелестят листочки платанов, буков, лип. В парке гуляет множество военных, в основном, молодых; многие с орденами и медалями – все очень весёлые. Война кончилась, мы победили! Ну и, конечно, девушки.

И вот идут по аллее две веселые, как птички, светленькие девушки: одна тоненькая, с волосами, светящимися, как маленькое солнце, в светлом простеньком платьице; другая плотная, энергичная, с пшеничными волосами. Эта девушка вдруг громко, на весь парк, начинает петь какие-то разбитные частушки. Военные смеются, оглядываются, кто-то с ними заговаривает. Другая, тоненькая, девушка смеется, но видно, что её немного смущает слишком вызывающее поведение подруги.

А день прекрасный, солнце светит ярко, и Гитлеру капут.

Так начиналось, пожалуй, лучшее время в жизни моей мамы.

ГЛАВА 5.

Университет. Борьба с космополитизмом. Люся и Сусанна

Моя мама всегда прекрасно училась: и в школе, и в университете. Училась очень легко, без напряжения. Всегда загруженная домашней работой, живя в тяжёлых бытовых условиях, она никогда не делала уроков. Домашние задания выполняла на переменах. На уроках старалась схватить основное, учебников почти не читала.

Когда незадолго до выпуска, в 10 классе, она сообщила своей учительнице математики, что решила пойти на филфак, та была в шоке. Лучшая ученица по математике! На филфак?! Но мама не была прагматичной: она выбрала специальность по любви.

Чем она всегда поражала меня (и это кажется мне поразительным до сих пор)? На любой вопрос по своей специальности: лингвистике ли, литературе или литературоведению – она знала ответ. Ей не нужно было рыться в словарях, справочниках – как мне, например. Память у нее была поразительная. И, конечно, сверхдобросовестность и сверхмотивация. При этом она по-настоящему любила оба своих предмета и была талантливым человеком.

Фундамент она заложила тогда, в университетские годы. Это, прежде всего, работа в библиотеке.

Зачем студенты ходят в библиотеку? Подготовиться к семинару, к зачету. Написать курсовую. Тяжкая обязанность. Она нередко дневала и ночевала в библиотеке – совершенно добровольно и с удовольствием, с интересом. Штудировала толстые научные книжицы, записывала основное – для себя. Но больше всего, по-прежнему, любила художественную литературу.

У них был неплохой, симпатичный курс. Ее ближайшей подругой очень скоро стала Сусанна Гандельман. Она – единственная дочь великолепного врача Иосифа Львовича Гандельмана. Я знал в последние годы жизни его жену, Раису Львовну (мы ее называли «бабушкой Раечкой» – и очень любили). Это была совершенно замечательная женщина, в 80 с лишним лет полная огромного интереса к жизни, к людям, живая и теплая, какой можно только пожелать быть всякой женщине в лучшие годы.

Супруги очень любили друг друга. Их внучка, Инна, как-то сказала мне, что помнит своих дедушку и бабушку незадолго до его смерти: как



они смотрели друг на друга, разговаривали друг с другом – как юные влюбленные, встретившиеся после долгой разлуки.

Иосиф Львович был блистательнейший врач, каких давно уже нет на Земле. Сейчас все, даже лучшие, врачи полагаются при постановке диагноза на результаты разнообразных исследований – и теряют чутьё, способность самостоятельно мыслить. Он ставил диагноз сразу, почти мгновенно.

Как-то моя мама отравилась колбасой. Отравление было сильнейшее, она могла погибнуть. Иосиф Львович пришёл, осмотрел ее, отдал распоряжения: что и где купить и как давать – похлопал маму по плечу и сказал: «Будешь жить, Люська!» Люська дожила до 82 лет (без 3 месяцев – до 83).

Он учился в Берлине, потом практиковал в Германии, Румынии. Собственно, Кишинев – тоже был Румынией. И в то время они были богатыми людьми: имели не просто собственный дом – особняк в престижном районе города, с солидным двориком. Сусанну «пасли» две бонны: немка и француженка – эти языки она знала не хуже русского. Была классической девочкой-отличницей: всегда страшно переживала за оценки – хоть училась на одни «пятерки». Такой осталась и в университете.

Но она была действительно способная – хотя и совсем не в том смысле, как моя мама. Это была прирожденная ученая дама: мелочно дотошная, невероятно работоспособная, копавшая всегда до самого дна, жутко эрудированная, европейски вылощенная и образованная. Однако, кроме учебы, она ничем не занималась и не интересовалась.

На фото тех лет – а я их очень люблю – мама удивительно красивая. Она сшила себе модное пальтишко, с высокими плечиками, приталенное,

из хорошей, хоть и тонкой материи. Купила высокие ботинки – по тогдашней моде, шляпку. Правда, под этим пальтишком – старая заштопанная кофточка, а больше ничего у нее и нет. Правда, она ходит в этом подбитом ветром пальтеце и зимой и страшно мерзнет – потому что другой верхней одежды у нее опять-таки нет. Но по сравнению с тем, что было в войну, она чувствует себя отлично.

Она дружит со всеми своими сокурсницами и сокурсниками, со многими преподавателями. По-прежнему играет на любительской сцене. Она занимается тем, что любит. У нее как будто бы всё хорошо.

На курсе у них почти не было мужчин. Один был фронтовик, довольно немолодой уже и мрачный человек, с которым их компания не водилась. Мы видим его на некоторых снимках – он в глубине кадра. Другой – Витя Кузин – приятель мамы и Сусанны. С ним у Люси отношения полушутливого флирта и поверхностной дружбы, но, в общем, она его серьезно не воспринимает.

У Сусанны она часто бывает дома, они вместе ходят в библиотеку.

При этом – никакой личной жизни. Или хотя бы попытки ее иметь. Только учеба, дружба, веселая студенческая компания, театр, книги.

Она получает повышенную стипендию – это важно, потому что ее мама, моя бабушка, часто упрекает дочь, что та не помогает, не зарабатывает.

Правда, однажды повышенной стипендии ее лишили – по особому случаю.

Вот как было дело.

Работал у них молодой преподаватель-философ, Лев Борисович. Он был даже каким-то маминим дальним родственником, седьмая вода на киселе.



*Мама, Витя Кузин
и Сусанна Гандельман*

Как многие слишком молодые люди, этот человек хотел напустить на себя побольше важности, а потому на лекциях говорил подчеркнуто тихо. Я говорю – значит все меня напряженно слушают и, конечно, записывают.

Маме однажды подфартило купить дешевые, но хорошие чулки, которые она зачем-то притащила с собой в университет и прямо во время лекции Величайшего Профессора Философии вытащила из-под стола и торжественно продемонстрировала сидевшей с ней рядом Лене Ивановой. Лена Иванова, к слову, была мастер по мотоциклетным гонкам и в то же время пианистка, маленького роста, очень милая девушка.

По тем, сталинским, временам это был исключительно нахальный поступок. Для мамы, впрочем, довольно характерный. Да и вообще всем творческим людям такое независимое поведение очень свойственно. Она не любила этого Льва Борисовича – именно из-за его манеры говорить под свой слишком высоко задранный нос.

Строгий Профессор заметил вопиющий поступок Люси Зайдман и счел нужным поднять ее и сделать строгое внушение. Но на беду свою он продолжал говорить своим обычным тоном, то есть очень-очень камерно.

Провинившаяся Люся Зайдман слушала его, опустив глаза, отчего у Строгого Моралиста, не отличавшегося психологической проницательностью, создалось впечатление ее униженности и покорности. Однако, когда он кончил, это хорошее впечатление рассеялось, потому что мама подняла голову и, глядя ему прямо в глаза своими чистыми серыми глазами, совершенно невинным голосом сказала:

– Извините, Лев Борисович, я ничего не слышала.

Прирожденная актриса, она произнесла эту вроде бы совершенно невинную фразу так, что вся аудитория грохнула от хохота.

Понятно, после этого случая наш Очень Мудрый Профессор маму возненавидел. И сумел ей отомстить.

Она сдавала у него экзамен. Знала досконально всё, кроме почему-то одного билета (просто не успела прочесть). Как оказалось впоследствии, прочитать все, что нужно было для ответа на этот билет, можно было за полчаса: то есть уже во время экзамена. Но ей это не пришло в голову. Поэтому она стояла под дверью и громогласно сообщала всем входящим и выходящим, что ждет «вылета» именно того самого рокового билета – и тогда зайдет. Билет полагалось брать сразу, войдя в аудиторию.

Всё на свете когда-нибудь кончается, кончилось и томительное стояние мамы под дверью – очередной ответивший сообщил, что у него был именно тот самый билет. Ура! И она вошла.

Подошла к столу и взяла лежавший сверху первый попавшийся билет. Это был тот самый, которого она не знала.

Она его сразу положила и сказала, что возьмёт другой.

– Пожалуйста, но вы же знаете, что в этом случае оценка на бал ниже, – сказал очень тихо Лев Борисович с глубокой грустью в голосе.

Мама ничего не ответила и села готовиться. Знала она всё назубок, язык был подвешен великолепно. Когда она отвечала, в аудиторию вошёл зав кафедрой философии, пожилой профессор: он с огромным удоволь-

ствием слушал ответ студентки и, когда она кончила, повернулся ко Льву Борисовичу:

– Ну, уж это-то точно «пятёрка»!

Лев Борисович был еще известен тем, что очень не любил ставить «пятёрки».

Но Мудрый и Строгий Преподаватель – уже чуть не плача – ответил:

– К сожалению, она брала второй билет.

Мудрость проявляется во всём. Когда мама громко объявляла под дверью о своих чаяниях, ей не пришло в голову, что преподаватель подслушивает то, что говорят студенты в коридоре. А было именно так. Он встал боком у двери – и услышал то, что она говорила. И перед тем, как она вошла, положил сверху тот самый билет. И мама не получила повышенную стипендию. Это была большая неприятность, потому что каждая копейка у них была на счету.

После экзамена мама стояла со своими приятелями и приятельницами в коридоре и повествовала о свершившихся только что событиях – впрочем, в красках не трагических, а скорее комических. Аудитория улыбалась, а временами и смеялась. Рассказчица она была великолепная.

Сзади подошел Грустный и Мудрый Профессор. Он взял Люсю Зайдман под руку и отвел в сторонку, к окну, и там спросил очень проникновенно и печально:

– Но ведь вы на меня не обижаетесь?

Мама уверила его, что, конечно, не обижается.



Впрочем, это всё были ещё цветочки. Ягодки пошли, когда они защищали дипломы.

Уже началась борьба с космополитизмом, и два их: мамы и Сусанны – оппонента решили отличиться в этой праведной борьбе. Обе они писали дипломы по литературе: мама – по Алексею Толстому, а Сусанна – по Константину Федину. О работе Сусанны на кафедре все говорили, что она, как минимум, на уровне кандидатской диссертации. Многие прочили, что ее оставят на кафедре, зачислив в аспирантуру.

Фамилия оппонента Сусанны была – Мезенцев. Это был очень умный человек, хороший лектор. Он сделал упор на идеологических моментах, так как это по тем временам был беспроблемный ход.

Мамин оппонент (я забыл его фамилию) – очень глупый человек: впоследствии оказалось, что он купил свой диплом, был недоучкой – его потом вывели на чистую воду и уволили, или даже посадили. Он, наоборот, разоблачал ее неправильный литературоведческий подход.

Обе они получили рецензии прямо в день защиты, за час до нее, что было грубейшим нарушением: рецензии полагаются давать заранее, за несколько дней до защиты. Но не только рецензии были разные – мама и Сусанна были тоже очень разные.

Сусанна, окончившая школу с медалью, лучшая студентка курса и чуть ли не всего факультета, которой прочили место в аспирантуре и на кафедре, говорили, что ее работа – на уровне кандидатской диссертации – совершенно потерялась. К тому же не соглашаться с обвинениями идеологического характера (в аполитичности и пр.) по тем временам было опасно. Сусанна, явно убитая отрицательной рецензией, что-то мямлила, ее никто не поддержал. В итоге ей поставили «тройку».

Моя мама, привыкшая к трудностям и преградам, сильная по натуре, совершенно не растерялась. Она успела внимательно прочесть рецензию за этот час и выступила блестяще, не только не оставив камня на камне от аргументов своего тупоумного оппонента, но и откровенно, хотя и в завуалированной форме, высмеяв его. Зал стонал от хохота. Возразить было нечего. Она получила «пятерку» – и «красный диплом».

Забегая вперед, скажу, что Сусанну ее отец тут же устроил в медучилище преподавателем литературы, и там она проработала всю жизнь. Это совершенно бессмысленная работа: студентки, будущие медсестры, интересовались литературой не больше, чем прошлогодним снегом. Они покорно сдавали зачеты – и больше им ничего не надо было.

Мама же проработала всю жизнь в тяжелых условиях, в сложных школах – хотя была блестящим преподавателем. Она не умела устраиваться, ей всегда перебежали дорогу. Работала там, куда не очень-то хотели идти другие. И очень любила свою работу, своих учеников – и была в своей работе очень счастлива.

Так – вроде бы неожиданно – разошлись их с Сусанной пути. Я знал ее уже в пожилом возрасте: это была расплывшаяся, малоинтересная, довольно пустая женщина. Отношения они сохранили, но особой привязанности друг к другу я в них никогда не замечал. Виделись они редко, общались поверхностно и мало.

Собственно, в университетские годы мама интенсивно работала над своим профессиональным и интеллектуальным развитием – и многого в этом смысле достигла. В том числе и благодаря Сусанне. Общение с ней помогало расти. Но цель была достигнута. Сусанна после университета не двигалась вперед. И у мамы пропал интерес к ней.

Сусанна была очень способной, очень. Она могла стать блестящим ученым-лингвистом или литературоведом. А не стала по сути никем – по-

тому что на ее пути встретился этот подлец, а еще потому, что была слабой, выросла в оранжерейных условиях.

А моя мама слабой не была – и это препятствие она преодолела без труда.

Теперь вернемся чуть-чуть назад.

Зима 1949–50 годов. На квартире у Сусанны их компания празднует Новый год. Ива в это время уже работает в Днепрпетровске на стройке, Люся живет с мамой. Мама оставалась дома одна.

Это был лучший вечер в жизни моей мамы. Очень застенчивая по натуре, она впервые – среди давно знакомых, хорошо к ней относившихся сверстников – почувствовала себя совершенно свободно, раскованно, с удовольствием танцевала – нравилась всем мужчинам. Ей было так хорошо!

Но она помнила, что мама дома одна – и в середине ночи побежала ее поздравить, сказать несколько слов, намереваясь тут же вернуться назад.

Мама встретила ее со слезами и стала упрекать, что, вот, ты там вовсю веселишься, а я тут одна как перст, некому слова сказать – «ты обо мне совсем забыла, мне не с кем было даже чокнуться в 12 часов!» Люся была просто убитая. Назад, на вечеринку, она уже не вернулась.

Это был лучший, самый счастливый, вечер в ее жизни.

Добавлю, что в моей жизни был тоже такой вечер: когда я был в кругу друзей – или людей, которых искренне считал друзьями – с любимой девушкой – в Новый год. По иронии судьбы это было в квартире Сусанны – теперь не Гандельман, а Кушнир – куда нас пригласили ее дочери, мои тогдашние большие приятельницы, Инна и Лена. Такой вечер в моей жизни был тоже только один. Но, конечно, я не могу себе представить, чтобы моя мама по этому или какому-то другому поводу в чем-то меня упрекала.

Однако вспоминается в этой связи другое. А что, собственно, делала тогда – в эту новогоднюю ночь – она, моя мама? На этот вопрос я ответить не могу.

Моя мама – даже в самый счастливый момент своей юности – ПОМНИЛА О СВОЕЙ МАМЕ. Она побежала домой, чтобы поздравить ее, сказать ей несколько добрых слов. И нарвалась на вот такое.

Я о маме совершенно не помнил – и под самой страшной пыткой не мог бы сказать, где же она была и что делала, когда мне было так хорошо и весело. Что, согласитесь, довольно характерно.

Итак, ее университетские годы прошли. Они были все-таки светлыми и счастливыми. Она осталась девственницей, у нее не было личной жизни – но она как будто совсем не думает об этом и от этого не страдает. И чувствует себя совсем не плохо.

Конечно, никто из ее друзей и приятельниц не пошел работать по распределению: распределяли исключительно в сёла, часто – далеко от Кишинева. Все как-то устроились в городе. Витя Кузин служил в армии, потом долго трудился в КГБ. О Сусанне я уже говорил. Маме досталось распределение в село Згурица, и на выпускном, когда играли в фанты, её заставили прыгать на одной ножке и кричать: «Я – згурицкая интеллигенция! Я – згурицкая интеллигенция!»

Но моя бабушка подключила всех родственников, включая тяжёлую артиллерию – дядю Лёву, тогда зам министра местной (т.е. – лёгкой) промышленности – и маме заменили эту самую Згурицу на Ваду-луй-Воды, огромное село под самым Кишинёвом, на Днестре, где был санаторий, большая, кирпичная, городского типа, русско-молдавская школа, и туда ходил рейсовый городской автобус.

И там она проработала долгих 10 лет.



ГЛАВА 6.

Почему она не стала профессиональной актрисой. Ваду-луй-Воды. Бой часов. Моя бабушка

Как я уже не раз говорил, мама была чрезвычайно одаренной актрисой.

Приведу только один – но очень красноречивый – пример.

Как-то она в очередной раз болела, но ей нужно было что-то в университете, и она пришла – не на лекции, а зайти на кафедру, в библиотеку, с кем-то поговорить. И в коридоре встретила Лену Иванову, ту самую мотоциклистку-пианистку. Лена была добрая и умная, простая девушка.

– Люська, а я думала, ты больна! – обрадовалась Лена, которая, как все, очень хорошо относилась к маме.

Но на беду свою «Люська» решила над ней подшутить. Розыгрыши в те времена были в моде.

Глядя куда-то в сторону, поверх головы Лены (она маленького роста), странным взглядом, она сказала очень тихим «замогильным» голосом:

– Нет, я не больна!

– Как, не больна? – не поверила Лена. – Ты бледная, как простыня!

На что мама, всё так же глядя в сторону, ответствовала:

– Я не больна... Разве ты не знаешь, что я давно умерла?

Лена посмотрела на нее, открыв рот, потом с диким криком бросилась бежать от нее по коридору. Мама ее не могла догнать: она не умела так быстро бегать, как эта тренированная спортсменка. К счастью, по коридору шли какие-то преподаватели, Лена замешкалась, остановилась, и мама настигла ее, обняла сзади и стала целовать и успокаивать, извиняясь за свою глупую шутку. Та долго не могла придти в себя.

Вот и подумайте – легко ли сыграть такой «этиюд»: свою собственную смерть?

В то же время – при таких способностях – у нее была очень популярная в советском кино внешность: открытое, нежное лицо – всегда весёлая, жизнерадостная улыбка. Внешние данные ничуть не хуже, чем, скажем, у Любови Орловой или Гурченко. Но она была при этом несравненно более актёрски одаренной – и чрезвычайно способной к работе над собой, к профессиональному развитию. Гораздо более культурной, умной.

Но ей даже в голову не приходило учиться на актрису: это было невозможно. Оставить маму? Уехать куда-то? Невозможно! Да и что это за профессия? Ей нужен был твердый заработок, верный кусок хлеба. Даже мысли такой не возникало.

И вот эта блестяще одарённая, исключительно умная и работоспособная молодая женщина (она начала работать в неполных 22 года) – оказалась в Ваду-луй-Водской школе. Молдавское село. Грязные немощёные улицы. Одноэтажные домики за ветхими заборами. Сады, виноградники. Первобытные лица учеников и их родителей. Посмотрите на фото тех лет: какие люди окружают ее. Как она выглядит среди них. И посмотрите на нее, на ее лицо. Она весёлая, жизнерадостная, как всегда.

Ни одной минуты не томилась она, не жаловалась на судьбу, загнавшую ее в этот молдавско-медвежий угол. Она работала с огромным желанием, с удовольствием. И была счастлива!

Вот она, моя мама, перед зданием Ваду-луй-Водской школы.



Можно ли представить себе более совершенное выражение чистоты, свежести, радости жизни? Какая она хрупкая, тоненькая, как девочка. Какая красивая! На этом снимке ей – чуть больше двадцати.

Я никогда не был в том месте, где она стоит, запечатленная чудом фотоискусства навсегда. Хотя в Ваду-луй-Водах был много раз, но не в самом селе и не в школе.

Но если случится чудо, и мне еще доведётся там оказаться, я хотел бы встать на колени и поцеловать землю в том месте, где она стояла. Это моя мама, давшая мне жизнь, самый святой на свете человек для меня, стояла тут, на этой грязной земле, в своих ботинках, которые она носила еще много лет (она всегда гордилась, что носит обувь по много-много лет).

Она в тёмном закрытом платье. Солнце светит сзади, и вокруг ее головы сияет светлый ореол.

Какая чудесная молодая женщина!

Но что-то смущает в ее внешности, что-то едва уловимое. Да, она не вызывает никаких желаний, не может вызывать. Нет ощущения цветущей вызывающей женственности. Ну, пусть не вызывающей – а хоть какой-то.

Она красивая. Я всегда считал, что моя мама – красивая. Даже тогда, когда она была уже совсем старой, она сохраняла свою чудесную улыбку – и волосы ее не поседел. Они не поседел до самого конца, до последней минуты. Остались такими же красивыми, мягкими, прекрасными. И только, когда она уже перестала дышать, они почти сразу потускнели, посерели.

Но красота эта не совсем такая, как у большинства других женщин – особенно, в этом возрасте. Не чувствуется, что это ЖЕНЩИНА. Скорее, ангел. Что-то детски-чистое, я бы сказал – стерильное – есть в ней. Не то чтобы неземное, нет: она была очень земная.

И вглядываясь в это фото, видишь: она наслаждается прекрасным – осенним ли или весенним – днём, чистым воздухом – она вся здесь, с нами, на Земле. Но она такая воздушная, светлая и легкая – будто существо не из плоти и крови.

Она работает, идет вперед. И работа ее очень успешна – уже в эти первые годы.

В каких же условиях она жила и работала?

Моя мама не умела устраиваться, была непрактичной и непрагматичной. Я ее в этом далеко превзошёл.

Не зная еще никого в селе, она сначала жила на квартире у школьной технички, молдаванки. Первое попавшееся жилье, недалеко от школы, она заплатила вперед. Но жить там не могла. Отдельной комнаты не было – угол в общей комнате, кое-как отгороженный одеялами и покрывалами. Там невозможно было переодеться, приходилось выбирать момент, когда хозяев нет в комнате – но они могли в любой момент войти – а просить, объяснять, что ей нужно, это было мучительно неловко при ее стеснительности. Хозяева были страшные неряхи, в комнате вечный запах грязного и затхлого жилья – а она отличалась болезненной чистоплотностью и, как многие женщины, была очень чувствительна к запахам и брезглива.

Она ушла оттуда, оставив хозяевам деньги, уплаченные далеко вперед. И потом долго жила у тётки Катинки.

Тётя Катинка – молдавская крестьянка. Была она очень беспутная и совсем как ребенок. Весь ее двор, пустой, без огорода, с утоптанной голый землей, сквозь которую местами пробивался бурьян, был обвит бахмутом: сортом винограда, из которого делают кислое вино. Это совершенно удивительное растение: один куст может вырасти за несколько лет так, что сплошь обовьёт огромный дом, не одноэтажный, а пятиэтажный. Поливать его не нужно – у него очень глубокие корни. Вообще на него никто не обращает внимания. Урожай он даёт огромный: ветви буквально усы-

паны плотными, налитыми гроздьями пурпурно-фиолетового цвета, словно присыпанными мукой, с небольшими, но очень сочными ягодами. Сок бахмута кислый – но очень вкусный. Вот из него-то и дают знаменитое молдавское домашнее вино.

Тётя Катинка тоже давила вино, и было его немеряно много. Но никогда не продавала – как мама ее ни уговаривала, ни убеждала, ни ругала. Она свято соблюдала традиции молдавского гостеприимства: угощала гостей. Пока у нее вино – дом полон визитёров. Веселье, шум. Многих тетя Катинка и по именам не знала: приходили к ней, зная ее безотказность, все пьяницы со всех концов села. А дом между тем был покосившийся, забор во многих местах лежал на земле, крыша протекала – а у нее трое детей, вечно голодных, которых мама периодически подкармливала. Муж погиб на войне.

Летом – то есть с мая по октябрь – тётя Катинка вообще не готовила: ели во дворе – там стоял громадный, грязный стол, на который сваливали яблоки, помидоры, арбузы, виноград, – и всё это добро – иногда с хлебом, иногда и без хлеба – служило хозяйке и ее детям пропитанием. Тут же, не только под столом, но и на столе, валялись гниющие корки и всякие объедки.

Тётя Катинка работала в колхозе, но почти ничего не зарабатывала, а то, что зарабатывала, у нее каким-то непонятным образом утекало между пальцев – или через дыры в вечно драном переднике – и никаких денег у нее никогда не было. На зиму нужны были дрова: печка – в комнате хозяйки, а в мамину комнатку выходила задняя часть этой печи, которая очень плохо нагревалась. Заказывала дрова мама: их давали от школы бесплатно – а топила тетя Катинка.

Вот она, моя мама, сидит в своей комнате, одетая, как на улице, потому что очень холодно. Весёлая, как всегда, – что-то читает или пишет, готовится к урокам. Такой она оставалась всю жизнь – в самых тяжёлых условиях.

Несмотря ни на что, они с тётей Катинкой хорошо ладили, даже в какой-то мере дружили – мама жила у нее долго.

Потом, ближе к концу своей работы в Ваду-луй-Водах, когда она уже хорошо знала своих учеников, их родителей, село, она сняла «каса маре» (буквально – «большой дом»: так называют молдаване парадную, обычно самую большую и красивую, завешанную домоткаными ковриками, комнату в доме, предназначенную для гостей) в очень хорошей семье Думитрашку.



Отец был тракторист, прекрасный человек и отличный отец – тоже трое детей: все ее ученики. Там ей жилось хорошо – насколько может быть хорошо человеку в чужом доме.



Мама на демонстрации 7 ноября 1953 г. в Ваду-луй-Водах

Каким она была учителем?

Я много-много раз слышал, как она читает стихи. Я был на концертах Евтушенко, Вадима Левина, известных артистов. Но такого чтения, как у нее, не слышал никогда. Каждая мельчайшая интонация продумана и доносилась идеально.

Когда она уже была смертельно больна, с трудом могла говорить, она прочла мне четыре строки из «Чёрного человека» Есенина – как прочла!

Она знала наизусть огромное количество стихов, знала наизусть «Анну Снегину» и «Евгения Онегина», почти весь текст «Горя от ума».

Когда-то у нас была такая игра: на кухне (что-то вместе готовили или она мыла посуду, а я вытирал) мы читали на два голоса «Евгения Онегина»: строфу она – строфу я – с любого места – наизусть. Я порой что-то забывал, ошибался – она никогда.

Она очень умела увлечь, очаровать стихами. Но и прозой тоже. Прекрасно читала, рассказывала – и говорить о книге с ней было всегда интересно. Она никогда не поучала, не задавала «наводящих вопросов», не проверяла «знание содержания». Она именно разговаривала, общалась – и всегда чувствовалось, что ей интересно восприятие, мнение собеседника. Будь это самый затерханный и тупой ученик.

Обладая даром дружбы, она в полной мере использовала его в своей работе. Когда в 1979 и 1984 гг. состоялись встречи ее первых, Ваду-луй-Водских, выпускников, я был на них. Это были 25-летие и 30-летие выпуска. Пожилые уже, лысые, седые люди: мама выглядела одной из самых молодых. Какие у них были отношения! Какая дружба! Какой свет!

Первая из этих встреч очень повлияла на меня в смысле выбора профессии: мне было тогда 17 лет.

Об ее великолепном знании своих предметов я уже говорил. Как актриса она прекрасно держалась в классе, легко находила верный тон.

Успех был полный. Ее любили ученики. Ее ценила администрация. Уже очень рано – еще в Ваду-луй-Водах – она начала давать открытые уроки, со временем всё больше, и они всем нравились.

Но этот успех достигался в большой степени за счет сверхмотивации. За счет сублимации тех сил, энергии, которые даны женщине для создания семьи, для любви, для мужа, для детей. У нее ничего этого не было – и она не стремилась, во всяком случае, внешне, это иметь. Она всё поставила на карту профессионального успеха.

Я знал еще двух-трёх очень сильных, прекрасных учителей: все они были евреи, и все мужчины. Но моя мама – самый сильный учитель, какого я знал за всю жизнь.

Это очень трудная профессия, очень. Но это было свое, самостоятельно выбранное ею любимое дело – и она, настоящий творческий человек, делала его великолепно.

Исключительно добросовестная и ответственная, она была строгим учителем. Получить у нее оценку было непросто. Но любимому учителю дети многое прощают. Она требовала – и ученики считали, что Людмила Ильинична имеет на это право.

Она была очень скромной – но и не лишённой самолюбия, как все творческие люди. Она сознавала свой успех, в глубине души радовалась, гордилась им. Но никогда, ни одного слова – не то что гордого, хвастливого – просто ни одного слова о своих достижениях – я от неё не слышал.

Однажды, во время трудного разговора со мной, она сказала только: – Я любила свою работу!

И мне показалось, что на глазах у нее проступила влага – хотя она почти никогда не плакала. Это было, когда работа для нее уже кончилась, после 60 лет, когда мы собирались уезжать из Кишинёва.

Да, она очень любила свою работу, очень! Но было в этом что-то и ненормальное. Она ее слишком любила. Потому что ничего, кроме работы, кроме творчества, в ее жизни и не было.

В ее отношении к своей работе, в том, какую роль работа играла в ее жизни – было что-то мужское. И что-то еврейское. Она шла в школу – как на Святое Служение: всегда подтянутая, бодрая, красивая, всегда в лучших своих платьях.

Это большая удача – иметь такого учителя. Тем более, что работала мама в обычных школах, и ученики там были самые обычные. Но она считала счастьем просто возможность заниматься любимым делом, в любых условиях. И старалась увлечь и развить любого своего ученика.

Почти 40 лет она была по-настоящему счастлива в своем творчестве.

Когда мама умерла, я сообщил об этом ее выпускникам 1982 года, Саше Сиваку и Наташе Константиновой (они муж и жена, живут в Германии) – и вот что они мне ответили:

Добрый вечер, Вадим.

Прими от нас с Натальей самые искренние соболезнования по поводу кончины твоей мамы и нашей Учительницы Людмилы Ильиничны. Тяжело, когда уходят от нас близкие люди. Для меня лично Людмила Ильинична была и будет УЧИТЕЛЕМ с большой буквы. Она любила свой предмет и всегда оставалась ему верна. Предмет она знала на все 100% процентов и самое главное – умела его довести до сознания ребёнка. Учитель на то и УЧИТЕЛЬ, чтобы передать свои знания и опыт ученикам, то есть научить. Людмилу Ильиничну мы тут в эмиграции очень часто вспоминали только добрым словом. А занятия в драмкружке!!! Это же лучшее школьное время!!! Разве можно такое забыть?? Спустя годы понимаешь, что это всё было не зря. Царство ей небесное.

С уважением Александр и Наталия (дев. Константинова) Сивак.

То же самое могли бы сказать многие и многие ее ученики. И в этом смысле я всегда гордился ею.

Но вернёмся в Ваду-луй-Воды, в ее молодость. А что же личная жизнь? Ее по-прежнему нет.

Каждое лето с подругой Фирой, учительницей той же школы, они путешествуют, тратя на это все свои отпускные. Батуми, Сухуми, Ялта, Анапа, озеро Рица, Москва, Ленинград, Киев. Родня мамы возмущается: ей уже столько лет, она не замужем – и совершенно не думает об этом! Она не обращает на это внимания.

Её время текло плавно, незаметно, отсчитывая вроде бы такие ясные и счастливые часы жизни, наполненные любимой работой, театром (все годы в Ваду-луй-Водах она успешно играет на сцене местного клуба, ведёт совместно с Фирой школьный драмкружок), интересными летними поездками. И вдруг оно сгустилось – и произошло то, что обязательно должно случиться в жизни каждого человека, каждой женщины. Раздался бой часов ее жизни.

Это случилось совершенно неожиданно для нее. Ей было лет 25. Выглядела она скорее на 20. В местном клубе шёл спектакль «Платон Кре-





чет»: бытовая и психологическая драма с любовным сюжетом – мама играла главную роль.

Сохранились фото этого спектакля, но они любительские, смазанные. Что-то рассмотреть сложно. Вот один такой снимок.

В то время в Ваду-луй-Водской школе – большой и по тем временам хорошо оборудованной – часто про-

водились партийные и комсомольские конференции. По случаю такой конференции и давали спектакль. Мама была комсомольской активисткой – и уже членом партии. На конференции она познакомилась с молодым партийным работником из Кишинёва, Алексеем Ивановичем Шведовым. Ему – тоже лет 25 или чуть больше. Кубанский казак, с пшеничными, как у Есенина, волосами, голубыми глазами.

После спектакля – вечер, танцы. Мама и Фира остались. Они были в хорошем настроении, веселились. Мама чувствовала себя свободно. Ее два или три раза пригласил Алексей Иванович. Потом попросил разрешения проводить до дома.

Она была почему-то взволнованна. Потом почти забыла об этом. Но он приехал еще раз – через месяц или два – специально, чтобы с ней поговорить. И сделал ей предложение.

Я никогда не забуду, как однажды спросил у мамы:

– А ты любила когда-нибудь?

Когда это было, не знаю. 20 лет назад, больше? Ощущение, что разговор этот происходил как бы вне времени.

Она смущенно ответила:

– Да.

И рассказала об этом человеке.

Я ведь спросил: «Любила ли ТЫ?» и она ответила: «Да». Значит, не только она ему понравилась, но и он ей!

И вот – колокол времени ударил! Пришел молодой, сильный, красивый мужчина, партийный работник – по тем временам прекрасная карьера – чтобы вывести ее из мрака одиночества, в котором она прозябала всегда, с самого рождения. Вывести к свету, к радости, к счастью. Это то, о чем она должна была исключительно мечтать, к чему исключительно стремиться. Решится главная проблема ее жизни – она соединится с другим человеком, душой и телом! Она, которая всегда была так одинока, перестанет быть одинокой!

Громко, очень громко ударили часы ее жизни. Так иногда бывает – у каждого из нас.

Мы, люди, вовсе не живем в механическом времени, текущем всегда одинаково. Одна минута равна другой, один час – другому часу. Сутки – это 24 часа. Год – это 365 дней. Нам только кажется, что мы живем в ЭТОМ времени. Нет, это время мертвое – время камней и растений.

Мы живем во времени, которое иногда тянется томительно медленно, течет, как жидкий бетон, а иногда летит, как стрела, или взрывается, как новое солнце. Оно разжижается, становится незаметным – но порой, редко, сгущается, становясь почти видимым.

И в жизни каждого человека есть такие дни, часы и минуты, когда он, если будет очень внимательным, заметит: это быют часы моей жизни! Сегодня она делает крутой поворот. Сегодня для меня всё решится.

Я пойду к свету – или спущусь во тьму. Изменюсь – или останусь прежним. Вырасту – или измельчаю. И я сам решаю, какой путь выбрать. Это ключ к моей жизни.

Но мама не услышала боя часов. Она ему отказала. Сразу и безоговорочно.

Почему она так поступила?

Всё очень просто: она не была к этому готова. У нее не было мужчин, не было опыта. Она привыкла, еще с 13 лет, с тех страшных слов своей мамы, считать себя в этом смысле неполноценной. Очень гордая, она подсознательно боялась оказаться несостоятельной в этих – совершенно не знакомых ей – любовных отношениях, и потому избегала их.

Она просто испугалась и убежала.

Повод для отказа нашёлся – и очень простой. Он уже был женат, и даже был ребёнок. Он клялся и божился, что не любит свою жену, что был молодым и глупым, что это случайный брак, что разойдётся с женой, если у него будет хоть какая-то надежда на ответное чувство, на то, что, по крайней мере, она подумает над его предложением.

Она отказала категорически. Сказала, что не хочет разрушать чужую семью, что не может взять на себя такое. Очень благородно, не правда ли!

Отказ был в такой форме, что не оставлял ни малейшей надежды. Она уже не могла – из гордости – изменить своё решение. Ему уже не было смысла повторять попытку.

И он ушел – навсегда.

Об этом эпизоде ее жизни, решившим для неё всё – НЕ ЗНАЕТ НИКТО, кроме меня. Да и я узнал о нем, когда мне было лет 30, не меньше. Мама никогда никому об этом не рассказывала.

Это был единственный ее шанс за всю жизнь. Алексей Иванович Шведов. Я никогда не видел его.

Он стал потом прокурором, прожил всю жизнь с той самой женщиной, которую не любил, и она была очень довольна, говорила, что он хо-

рошо относится к детям. Про него рассказывали, что он принимал порой слишком жесткие решения – если этого требовал курс партии – что стал приспособленцем.

Он нравственно опустился. Он, видимо, был очень русский, слабый человек. Моя мама была сильная. Она могла стать его нравственной опорой – ей это легко удалось бы. И он сделал бы много добра, стал совсем другим. Но того, что обязательно должно было случиться, – не случилось.

И она не стала другой, какой могла бы стать, если бы ее любил мужчина – по-настоящему любил.

Так моя мама осталась на всю жизнь одна. Осталась там, где пребывала всегда: во тьме одиночества. Но сама она ничего не заметила.

Она прожила после этого на Земле еще 57 лет.

Когда она уже знала, что скоро умрет, я спросил ее еще раз об Алексее Ивановиче:

– Ты не жалеешь, что тогда ему отказала?

– Нет, не жалею, – сказала она.

И, чуть подумав, добавила:

– Что сказали бы наши родственники, если б узнали? Русский! Они бы мне этого не простили!

Она нашла подходящее объяснение – как и всегда.

А на самом деле она очень мало считалась с мнением родственников: как творческий человек была внутренне очень независима. Она тогда совсем не думала об этом.

Она просто испугалась – испугалась своего счастья. И стремительно сбежала от него, сожгла все мосты, чтобы уже нельзя было ничего изменить.

В своей земной жизни она так никогда этого и не поняла.

И так и не узнала, что это был ключ к ее жизни, не услышала боя часов.

У каждого человека есть такой ключ к его жизни. И очень часто о нем не знает никто. В том числе – и сам этот человек.

То есть – он знает, что именно произошло. Но ему не приходит в голову, что именно это – ключ к его жизни.

Уметь слышать бой часов своей жизни – как это важно! Но кто, когда, кого этому учит?

В 1960 г. моя мама вернулась в Кишинёв, в крошечную комнатку на улице Котовского, к своей маме, которой было уже 55 лет, и она перестала на что-то надеяться.

Моя бабушка в 45 лет еще была очень красива, казалась совсем молодой, тридцатилетней. Хорошо одевалась, умела хорошо одеваться: она все-таки аристократка по происхождению – насколько можно говорить об аристократии у евреев. И еще надеялась устроить свою жизнь.

У нее были приятельницы в том же доме, еврейки. Единственная ее отдушина, единственное общение. В отличие от своей дочери, она очень трудно сходилась с людьми, была мнительной, нервной. С ними она часто беседовала об их брате, который жил в Москве.

И вот приехал этот брат, военный, только что вышедший в отставку. Примерно ее возраста человек. Он был холост, и сестры очень хотели женить его. И ему очень понравилась моя бабушка. Он сделал ей предложение.

Но тут вмешались ее приятельницы, его сестры. Как – жениться на женщине с двумя взрослыми детьми! Моя мама тогда уже была студенткой. Никогда! И они наговорили ему сорок бочек арестантов, правду и неправду, и буквально вытолкали из Кишинёва в Москву. Где он вскоре и женился.

А она лишилась последней надежды – и последних друзей.

Когда я думаю о моей бабушке, у меня всё застывает внутри. Какая чудовищная судьба!

Такое счастливое детство: прекрасная семья, любимые мать, отец, братья. Особенно дружила она со старшим после себя, Ушером. Его во время войны призвали в трудовую армию: он был слабого здоровья, не годился для военной службы. Там он заболел. И потом, в эвакуации, умер.

Другой брат, Мендель, жил в Одессе. Он уехал один, жена с ребенком решила остаться в городе, у своих родителей. Вернувшись после войны, он не нашёл никого. И уехал обратно, туда, где жил во время войны – да так и пропал.

Ещё один брат, Меир, жил в Киеве с женой и ребенком. Это был очень умный и талантливый человек. Уехать они не смогли. Узнать о них ничего не удалось: видимо, они погибли в Бабьем Яру.

Младший из братьев уехал в эвакуацию далеко на восток, куда-то в Среднюю Азию – и исчез там, будто его засосали пески: никогда и никто не узнал, что с ним стало.

Отец и мать расстреляли немцы при ликвидации гетто города Бар (Винницкой области Украины), где они жили.

Сестра, самая младшая в семье, пропала в ГУЛАГе.

Моя бабушка осталась из всей семьи одна.

Нелюбимая, ненавидимая, мучительная для этой тонкой натуры работа бухгалтера: она вынуждена была заниматься ею всю жизнь, до пенсии. Мучительный, крайне неудачный брак. Полное отсутствие эмоционального контакта с дочерьми.

Совершенно ничего, ни крупики своего за всю жизнь. И почти никакого света. Правда, она любила читать, очень любила, но в зрелые годы ни сил, ни времени на чтение у нее почти не оставалось. Она была очень предана своим дочерям, и они ее любили – но соединиться душой им не удалось.

И самое ужасное: никто никогда, кроме моей мамы, ее не жалел. Обычная советская женщина. Ну, разошлась с мужем, бывает. Он же не погиб, реабилитирован за отсутствием состава преступления. Можно сказать, еще повезло! Погибли родственники? У всех так. Она-то жива, здорова. Опять повезло! Не любит свою работу? У нас в Стране Советов вся работа одинаковая. Строим социализм. И она внесла свой вклад.

Жуткий XX век катком прошелся по ней, по ее жизни. Гражданская война, коллективизация (они жили на Украине: то самое первое воспоминание моей мамы, когда ей 2 года, с которого я начал эту книгу – оно ведь 1930-го года!), сталинские репрессии, мировая война. И никто: ни тот, кто сидел за рулем этого катка, ни стоявшие на обочине – не заметили, как что-то там еще хрустнуло под катком. Да и как было заметить?

Какая-то одна жизнь – из десятков миллионов! Да она же прожила 73 года, получала хорошую пенсию. Повезло!

В последние годы, не в силах ни забыть, ни выдержать того, что с ней случилось в жизни, она стала пить транквилизаторы – и заболела психически. Потеряла членораздельную речь. Не могла уже себя обслуживать.

Она умерла в страшной психиатрической советской больнице – Костюженах. Моя мама часто навещала ее там.

Она вспоминала страшный момент: она уже уходит – ее мама протягивает к ней руки и жалобно зовёт:

– Люююсенька!

Больше она уже ничего не может сказать.

У дочери разрывается сердце, она понимает, как маме здесь плохо, понимает, о чем она ее просит. Но как забрать ее? Куда? Нужна сиделка – а где ее взять?

И она уходит.

Это воспоминание долгие годы спустя мучало ее.

Я долго в детстве жил с моей бабушкой в одной комнате, несколько лет. Но она никогда со мной не разговаривала ни на какие темы, кроме бытовых. И я ее совсем не помню.

Как-то недавно я шел по улице, подходил к своему дому – и встретил мальчишку-соседа, Алика, он живет со мной в одном подъезде. Он болтал с приятелем. Посмотрел на меня, узнал, поздоровался – и отвернулся.

И я подумал, что для этого мальчишки я – как тень на стене. Живет какой-то дядька в подъезде. Полагается с ним здороваться. Он и не знает, как меня зовут. Совершенно не интересуется мной.

Вот так я в детстве относился к своей бабушке. Она еще жила – совсем рядом со мной. Но я ее не замечал.

И только когда ее давно уже не было на свете, я стал ее любить и жалеть. Когда ей это было уже не нужно.

ГЛАВА 7.

42-я школа. Первый и последний. Странный мальчик

Сегодня 11 дней, как мама умерла. А я продолжаю думать о ней, жить ею. Может быть, это смешно и нелепо: я остался совсем один, в пустой квартире, с собакой. И вместо того, чтобы пытаться как-то устроить свою жизнь, каждый день с утра до вечера сижу за столом и пишу, пишу – книгу, которая, кроме меня, может быть, никому по-настоящему и не нужна. Но я ведь всегда был таким – смешным и нелепым. И мама любила меня именно таким.

И это все-таки – пусть горькая – но радость: еще побыть хотя бы в мыслях с ней, прожить еще раз ее жизнь – такую бесконечно одинокую, но все же достойную и в чем-то радостную и счастливую. Еще раз пройти с ней рядом по дорогам ее жизни: сначала – и до самого конца.

Она умерла, я знаю. Ее больше нет на Земле. Нигде нельзя ее найти. Если спуститься на дно самого глубокого моря, подняться на самую высокую гору – то и там ее нет. Но нельзя, невозможно с этим примириться. Человек – не может примириться с тем, что нет уже того, кого он любит больше всего на свете.

И поэтому я ищу тебя, мама, внутри себя. Больше мне негде искать тебя.

И поэтому я продолжаю эту книгу.

В 1960 г. мама вернулась в Кишинев. Ей было уже почти 32 года. Работы не было: она бралась за первое, что подвернется под руку: принимала экзамены в вузах, вела занятия в школе милиции (туда устроил ее университетский приятель Витя Кузин, служивший в КГБ), работала в летних лагерях. Только в следующем учебном году она нашла постоянную работу: совсем чуть-чуть часов русского языка и литературы и группа продленного дня. Школа фактически была сельская, село, кажется, называлось Мерены**. Но оно слилось с городом, школа считалась городской, номер ее 42-й.

Небольшая, очень камерная школа. Ученики по большей части – того же типа, что в Ваду-луй-Водах. Вокруг частные дома. Жили там, в основном, баптисты. Это особые люди: у них большие семьи, трудолюбивые, вы-

** Или Гратиешты.

соконравственные. Они не пьют, как правило, не курят, постоянно читают и толкуют Библию – в общем, немного похожи на религиозных евреев.

В этой школе мама проработала 13 лет. Была завучем, секретарем парторганизации. Хотя душа у нее не лежала ни к тому, ни к другому. Она любила свою работу учителя, хотела быть ближе к детям – но не всегда могла отказаться.

Директор школы, бывший фронтовик Николай Васильевич, был и завхозом, и учителем истории, и сантехником. Он чинил трубы, копал канавы – прямо при учениках, в учебное время. Авторитета его это ничуть не роняло: ученики-то были, в большинстве, из баптистских семей. Часто старшеклассники совершенно добровольно оставались после уроков помогать ему. Технического персонала в школе почти не было: завуч – единственный. По одному классу в параллели. Мама знала абсолютно всех учеников – с 1-го по 10-й класс.

Скажу кстати, что есть у таких школ и большое преимущество: их семейная атмосфера. Все знакомы, от каждого знаешь, чего ждать. С каждым – и не своим учеником – можно поговорить. К тому же в разных классах училось много братьев и сестер: одна и та же фамилия нередко повторялась чуть не во всех журналах.

Николай Васильевич иногда был хороший: входил в положение, давал отгулы – иногда на него нападал стих дикой придирчивости и требовательности: он заставлял учителей «пахать» с утра до ночи, лез носом во все тетради; проверял, как старая баба, чистоту в классах. На войне его тяжело ранило, и это были какие-то психические явления – последствия ранения.

Я хорошо помню 42-ю школу: я в детстве ее любил. Мама часто брала меня с собой, я сидел на уроках – писал диктанты (в 5–6 лет) вместе с 6 или 7-миклассниками: часто немногим хуже, чем они. Дети из больших баптистских семей совершенно особые: они какие-то очень спокойные, повзрослому основательные, добрые – и все любят маленьких, умеют нянчиться с ними. Мама никогда не волновалась за меня, когда я выходил поиграть во двор школы: всегда находились желающие за мной присмотреть. Главной «воспитательницей» была Наташа Добында: исключительно милая девочка – тоже из большой семьи. Я плохо помню ее лицо, но хорошо помню ее руки: ласковые, теплые, нежные – помню именно ощущение этих рук.

Читать я научился тоже в 42-й школе – причем, как это ни странно, совершенно самостоятельно. Никому не приходило в голову показывать мне буквы, объяснять что-то. Мне было 4 года. Я сидел в классе, у мамы на уроке. Рядом со мной – Наташа. На парте лежала какая-то книга.

Я некоторое время изучал эту книгу – но что там было, сейчас уже не помню. И вдруг я вскочил и заорал – не на весь класс, на всю школу:

– Чи – ли – паха!!!

Это означает «черепаша». Я самостоятельно прочёл свое первое слово – и это было слово «черепаша». Такое трудное слово, согласитесь, не всякий профессор сразу прочтет. А я прочел – в 4 года! От упоения таким подвигом я совершенно потерял голову и некоторое время носился по классу, совал каждому под нос книгу – и истошно вопил:

– Чи-ли-паха!

К сожалению, моя собственная память почти не сохранила этот эпизод: я даю его, скорее, в пересказе моей мамы.

Но не все было так гладко. 42-я школа находилась очень далеко, добираться туда надо было на автобусе, ходившем редко, ехать почти час. Мама – болезненно добросовестная и ответственная – постоянно нервничала, что опоздает на первый урок.

Вскоре после того, как она устроилась в 42-ю школу, мама вышла замуж. Ее мужа, моего отца, зовут Илья. Или звали. Я понятия не имею, умер ли он или жив: наверное, давно умер. Никакого следа этот человек не оставил ни в памяти моей, ни в сердце.

Я как-то спросил маму:

– Зачем ты за него вышла?

– Хотела иметь свою семью, – ответила она.

Сам этот человек не интересовал ее, она и не рассчитывала, что сможет его полюбить. Он был лишь средством, чтобы завести свою семью, а главное – ребенка.

Как-то мама рассказывала мне о своей приятельнице из Ваду-луй-Водской школы, Ольге Романовой, молодой учительнице. Она нашла себе какого-то военного и рассказывала маме о своих планах: как этот военный заберет из села ее родителей, в какой квартире они будут жить.

– Он для нее был не человек, а средство для устройства своей жизни, – сказала мама с некоторым возмущением.

Однако то, что возмущало ее в других женщинах, оказалось свойственно ей самой – и она этого совершенно не заметила.

Их познакомили родственники. Ему было 40 лет. Он был прежде женат, разведен, и был сын от первого брака. По профессии он педагог, когда они познакомились, работал заместителем директора молдавской школы, хотя он еврей. Но вскоре перешел на должность замдиректора в столовую мединститута, и с тех пор так и остался на торговой линии. Его фамилию мы с мамой с тех пор носим.

Внимательно посмотрим на фото, где мама с будущим мужем, видимо, в загсе (еще на фото моя бабушка, Ива и Фая, дочь Ивы, моя двоюродная сестра: тогда ей было 5 или 6 лет).

Чем единственно интересное фото – это атмосферой унылости, безрадостности: это написано яркими буквами на всех лицах. Мама, которой почти 33 года, выглядит, как на первых детских снимках: вдруг прогляну-



ли в ее лице та же потерянности, то же уныние. Фая так и вовсе кажется испуганной: видимо, общее настроение так подействовало на нее.

Почему они такие унылые, никто из них, конечно, не смог бы объяснить. Я объяснить могу: потому что этого не должно было быть. Не должно было быть этого брака, он был обречен изначально.

Но то, что обязательно должно было случиться: соединение двух предназначенных друг для друга жизней – моей мамы и Алексея Ивановича Шведова, который ее искренне полюбил – не случилось. И поэтому, вполне закономерно, случилось то, чего случиться ни в коем случае не должно было.

И в этом браке, которого не должно было быть, вскоре родился ребенок, мальчик – которого тоже не должно было быть. Должны были быть у моей мамы какие-то совсем другие дети: светловолосые (Алексей Иванович, как и мама, был ярко выраженный блондин), полурусские-полуевреи. К тому же и родиться они должны были гораздо раньше.

Но тот, кто должен был появиться на свет, не появился. А появился тот, кто появиться не должен был, кого вообще не должно было быть.

Обычайшая история – всегда, во все времена.

Этим ребенком был я.

Одно из первых моих воспоминаний вот какое.

Мы возвращаемся откуда-то домой, по улице Федько: это большая, прямая, как стрела, улица в Кишиневе, в районе Рышкановка. Мы – это мама, отец и я: мне лет 5. Оба они держат меня с двух сторон за руки, чего я терпеть не могу.

Но на улице буря: сильнейший ветер – он налетает бешеными порывами, ломая ветви высоких тополей – и они сыпятся сверху прямо нам и другим людям на головы. Звенят троллейбусные провода. Первыми крупными каплями начинается ливень.

Мои родители страшно торопятся, но одновременно спорят друг с другом. Мама, как всегда, сдержанно, а отец почти кричит, размахивая свободной рукой, не стесняясь прохожих. Увлечшись, он сильно дергает меня за руку, так что я чуть не взлетаю на воздух, что вызывает ответную реакцию мамы: она что-то резко, необычно для себя, говорит мужу.

Я терплю это не потому, что испуган, а потому, что у меня вдруг возникает странное ощущение пустоты и заброшенности, абсолютной своей затерянности в мире. Эти два взрослых человека, которые увлечены спором друг с другом, – кто они? Я этого уже не понимаю. Они меня не замечают, не обращают на меня внимания. Они заняты собой. Меня они волокут, как баул, – но я не существую для них.

Конечно, у меня – такого маленького – не могло быть таких четких мыслей: это были смутные ощущения. Я перестал ощущать своих родителей своими родителями.

Итак, я вдруг очутился в мире один. А мир был ужасен. Ветер свистел и ревел, ветви – мелкие, а порой и довольно крупные – продолжали валиться вокруг нас, иногда и на нас – дождь уже собирался хлынуть. Но особенно страшно было не это – а пространство и люди.

С улицы Федько – в те времена довольно новой, недавно застроенной кирпичными пятиэтажками-хрущевками – открывался широкий вид. Кишинев расположен на 7 огромных холмах, как Рим. Улица спускается с холма – и видно далеко.

И это пустое, заполненное домами, машинами, деревьями, ветром пространство, где я был песчинкой, было очень страшным.

И люди – они были тоже страшными. Потому что никто из них не замечал меня: я не существовал для них. Они бежали мимо, никто даже не повернул головы в нашу сторону. Можно умереть – и никто не заметит. Это были люди-тени, люди-призраки.

Но нам повезло. Мы дошли до дома как раз вовремя. Как только вошли в подъезд, разверзлись хляби небесные – словно кто-то там, наверху, перевернул вверх дном ведро размером в тысячу раз больше нефтяной цистерны – и хлынул обычный кишиневский ливень, превращающий улицы в горные потоки, а вокзальную площадь – в озеро глубиной по пояс взрослому человеку.

Мы зашли в комнату. Я совсем не помню ее, хотя жил там до семи лет. Мама раздела меня, я подошел к окну.

За окном сплошным плотным потоком падала обезумевшая, свирепая вода: это был не дождь – а какой-то водопад. По запотевшему, мутному стеклу ползли тяжёлые, крупные капли.



От всего только что пережитого что-то случилось со мной, какой-то сдвиг сознания – и я совершенно новыми глазами напряженно вглядывался в свое отражение в стекле: четкое, как в зеркале, но слегка размытое.

Я видел тонкое, очень худое, скорее девичье лицо, с огромными, нелепо оттопыренными ушами, с широко раскрытыми глазами – выражение их было ускользающим, непонятным, взгляд напряженный и будто устремленный в какую-то дальнюю даль. Тоненькая шейка. Раскрытый ворот рубашки. Странное, нелепое, незащитное маленькое существо – кто это?!

Раньше мне никогда не удавалось ТАК увидеть себя.

Этот слабый, нелепый мальчик – неужели это я? Но я не хочу быть таким.

Кто же я? Какой я на самом деле?

И зачем я пришёл сюда?

Моей маме было 33 года – почти 34 – когда я родился.

Колокол времени ударил для нее второй раз. Новое солнце взошло на горизонте ее жизни. У нее есть ребенок!

Как мучительно трудно ей было этого добиться: ей, такой бесконечно одинокой, застенчивой, страшно неуверенной в себе в отношениях с мужчинами. Но ей этого страстно хотелось – как и каждой нормальной женщине. И она вырвала у судьбы свое право на то, чтобы иметь ребенка.

Для этого ей пришлось пойти на тысячи унижений. Принадлежать нелюбимому мужчине, которого она не могла даже уважать. Он очень скоро после перехода в столовую стал мухлевать, продавать налево мясо и рыбу – она из-за этого страшно переживала, требовала, чтобы он ушел оттуда, пошел в рабочие – он, конечно, не хотел.

Он был сластолюбив и требовал от нее, чтобы она делала то, что ей было противно, но она делала, потому что ничего в этом не понимала и думала, что так надо, и еще верила, что сохранит свою семью. Он ее за это презирал, хотя этот ничтожный человек вообще не способен был уважать никого: ни себя, ни других.

Он очень рано начал ей изменять.

Из всех его человеческих качеств мама четко называла одно – эгоизм. Как-то он приехал из дома отдыха, рассчитывая дома тоже поразвлечься, а жена должна была составить ему компанию. Я был тогда совсем маленьким. Мама болела, лежала в постели.

Он страшно возмутился:

– Ты должна была меня предупредить!

– Когда я выходила за него замуж, я должна была его предупредить, что через 3 года заболею, – так прокомментировала она это много лет спустя.

Он устраивал ей по-женски истеричные и грязные скандалы, порой доводил ее до того, что она пряталась от него в стенной шкаф.

Этот брак был обречен.

Она дважды уходила от него, но ему удавалось ее вернуть. Окончательно она ушла в третий раз, когда мне было около 7 лет: после того, как ей позвонила очередная его любовница, какая-то торговая девица, и поведала о том, как они вместе обсуждали и высмеивали его семью. Видимо, она ощущала это как свое торжество над соперницей.

Мама ушла в тот же день. Она была очень гордая, с большим достоинством. С того дня она не виделась и не разговаривала с этим человеком.

Квартира осталась ему. Мы перешли жить к Иве и Арону (ее мужу), в трехкомнатную квартиру неподалеку, на улице Димо, где жили еще моя бабушка и дочь Ивы и Арона, Фая. Всего получилось 6 человек.

Мы жили в маленькой узкой комнатке моей бабушки.

Маме было тогда 40 лет. Это был ее единственный мужчина за всю жизнь. Первый и последний. Она считала, что достаточно хлебнула близости с мужчиной. От расставания с ним осталось чувство облегчения, очищения. Теперь все ее помыслы сосредоточились только на ребенке, единственном. И она знала, что он останется единственным – на всю жизнь.

Этим ребенком был я.

Это был очень странный мальчик.

Моя бабушка, как я уже говорил, была одержима сверхценными идеями. Одна ее идея-фикс состояла в том, что детей надо закаливать – причем, как можно раньше. Фаю, совсем крошкой, она вывозила в коляске, почти не укутанную, в довольно холодную погоду – и это сошло, и Фая росла здоровой.



А вот со мной такая штука не прошла. Я заболел – и с тех пор жизнь моей мамы превратилась в постоянную борьбу за мое спасение. 6 воспалений легких, ветрянка, две скарлатины, Бог знает что еще.

Физически слабый и худой: телосложением я похож на маму и на своего дедушку – я стремительно рос, как многие дети, когда болеют, и был неестественно высокий. Червячок с большими ушами.

Мамина застенчивость передалась мне в полной мере, но еще умножилась болезнями. Я почти не ходил в детский сад: он был невыносим для меня. Грубые, жестокие дети, бездушные воспитательницы, все вокруг чужое.

Мама билась за меня изо всех сил: что значило бы для нее – потерять меня – это не нужно объяснять. Ее жизнь превратилась в подвиг самоотверженности, в сплошную борьбу с разнообразными хворями.

Казалось бы, она уделяла мне много внимания – но я очень страдал как раз от недостатка ее внимания. И даже любил болеть. Потому что в остальное время она по-прежнему увлекалась своей работой – и я не чувствовал вполне, что она со мной.

Вместе с тем – с самых первых моих воспоминаний – именно мама – это самое родное, именно моё, единственное существо, бесконечно любящее, бесконечно мне преданное. Мой собственный человек. Ни минуты сомнения в ней, в том, что она всегда поможет, всегда будет рядом – не возникало. Есть мама – и есть остальной мир. Мама, моя мама.

Это был странный мальчик. Он о чем-то очень рано начал задумываться и мог думать напряженно часами. Не то что мог играть один – мог и не играть, а размышлять: совершенно один, мрачно и серьезно. Обожал книги, готов был читать с утра до вечера. Боялся незнакомых людей, особенно девочек – но при этом страстно тянулся к людям, испытывал огромный интерес к ним.

Очень добрый, готовый подбирать всех бездомных котят и щенят, отличался бешеной вспыльчивостью и жестокостью (единственные качества, которые я унаследовал от отца). Как-то в театре мальчик, сидевший впереди, чем-то не угодил мне – видимо, приподнялся и закрыл от меня сцену – я стал без всяких предисловий избивать его, в том числе ногами, и довольно сильно побил: нам пришлось уйти из театра – а мама вынуждена была заплатить родителям избитого ребенка.

Однако мама моя не задумывалась над всем этим. Для нее единственным важным было то, что у нее есть сын, что это ее сын, ее ребенок – что он жив, что мы вместе. Она была счастлива просто этим. Ей казалось, что я спасаю ее от одиночества, в котором она пребывала всю жизнь, – спасаю самим своим существованием.

Но это тоже была всего лишь иллюзия.

Свое детство я вспоминаю как бесконечный пустой серенький денек. Я чувствовал себя будто связанным, бессильным. Вся сила была у мамы – а у меня ничего. Только книги, только они давали возможность как-то дышать.

Фактически свою настоящую жизнь я считаю с 20 лет. До того я был собой только в своем воображении. Прирожденный писатель, я обожал наблюдать за людьми, непонятным для самого себя образом догадываясь об их эмоциональном состоянии, о том, какие они. Я не знал еще никаких психологических терминов, но уже в детстве был психологом.

Я читал книги по-особому: понимая замысел, даже психологию автора – особенности его стиля. Уже с детства делал выписки, что-то подчеркивал. При этом читал совсем не то, что было мне положено по возрасту. Так, «Солярис» Станислава Лема я прочел впервые, кажется, лет в 12–13. Это было обычно для меня.

В то же время этот странный мальчик был совершенно беспомощен в отношениях с людьми и практической жизни. И остро ощущал свою слабость и беспомощность.

Но мама этого не замечала.

Как она научилась получать удовлетворение от постоянной изнурительной домашней работы, сопровождавшей ее всю жизнь, в которой она черпала основание для гордости: я всё делаю сама! – так она научилась получать удовлетворение и от роли Самоотверженной Мамы. Но чтобы проявлять самоотверженность, надо, чтобы ребенок был слабым и больным.

Конечно, она не могла так рассуждать сознательно. Но чувствовала, видимо, примерно так.

И вместе с тем мы очень любили друг друга: она меня, а я ее.

Одно из моих ранних воспоминаний: мы с мамой гуляем в парке на Рышкановке, возле озера. Там понастроены всякие беседки и домики для детей. Один – на высоких сваях, с крышей, но без стен, без крыльца: входить туда надо было по пенёчкам, все выше и выше поднимавшимся до уровня пола.

Мы с мамой сочинили такое стихотворение:

Есть в нашем парке

Крыша на ножках:

Вход по пенёчкам,

Выход – дорожка.

в крышу на ножках

Двери не надо.

Нет и окошка

в крыше на ножках.

Почему я это запомнил? Это все-таки литературное произведение. А вообще-то я очень плохо помню свое раннее детство: хуже большинства людей.

Но это все-таки был какой-то момент счастья: мы никуда не торопились, был прекрасный теплый день, мама была еще молодая, такая красивая.

Я всегда считал, что моя мама – красивая. Но сказал ей об этом впервые, только когда она была уже совсем старая.

О моем отношении к маме достаточно красноречиво говорят такие два эпизода.

В раннем детстве, лет в 8–9, я курил. Попытка курить. Мой приятель Олег Домбровский зачем-то сообщил об этом моей маме. Она ничего не сказала мне, но я видел, как она огорчена. И из-за этого бросил курить – на всю жизнь.

Второй эпизод такой. Как-то мы играли в хоккей. У большинства мальчишек в нашем дворе не было настоящих клюшек: их делали из алю-

миниальных труб (например, от старых раскладушек), их сгибали, а конец расплющивали молотком. Играли не шайбой, а теннисным мячом, и не на льду – его в Кишиневе почти не бывает – а на асфальте.

И вот как-то я стоял в воротах, а Олег Домбровский, играя против нас, никак не мог мне забить: у меня от природы хорошая реакция. В конце концов, он разозлился и запустил своей клюшкой об асфальт, но она отскочила и угодила мне в висок. Я на секунду потерял сознание. Залитого кровью, как раненного на фронте бойца, меня перенесли в квартиру Олега. Его родители, и мама, и папа, были врачи. Олег оказал мне первую помощь, но сказал, что говорить никому ничего не надо.

Я и сам никому не собирался говорить – но как скрыть от мамы? На лбу у меня зияла рана. Олег присыпал ее каким-то белым порошком, но как объяснить, что это такое?

И вот я несколько дней ухитрялся так поворачиваться к маме, разговаривая с ней, что она ничего не заметила. И так и не узнала об этом до конца своих дней.

Я не хотел ее огорчать.



Ребенок, сын – это было второе, что она нашла в жизни СВОЕГО – после любимой работы. СВОЁ дело – то, что могла сделать только она, что зависело только от нее. Что заполняло жизнь, давало ей цель и смысл.

Но и это не вело к решению главной проблемы ее жизни – преодолению одиночества, – а вводило от нее.

Ребенок не может заменить женщине мужа, близкого мужчину. Ребенок рождается, чтобы прожить свою собственную жизнь, решить в ней свои собственные задачи, выполнить свое предназначение. И душа его рвется ОТ МАТЕРИ – в большой мир.

Здоровая материнская любовь тем и интересна, что мать постепенно отпускает от себя своего ребенка – и потом он уходит совсем.

Нельзя ждать от ребенка, что он выведет свою мать из тьмы одиночества: это не в его силах. Но невозможно и не ждать этого от самого любимого, дорогого и близкого существа, если главный вопрос в жизни женщины не решён: она не соединилась душой и телом с любимым мужчиной, не раскрылась миру – душа ее осталась бутонем, закрытым в себе, – не стала цветком.

ГЛАВА 8.

Драмкружок. Добро – это зло. Как она жила

Моя мама начала вести драмкружок с первых лет работы в Ваду-луй-Водах и вела его с небольшими перерывами во всех своих школах до 60 лет, то есть почти 40 лет.

Она никогда не общалась с профессиональными режиссёрами и актёрами, не пыталась с ними познакомиться. Тем не менее, она сумела стать великолепным режиссёром.

Ее умение работать над собой, учиться – совершенно самостоятельно, причем, в крайне неблагоприятных условиях – просто поразительно. Надо сказать, мне это качество свойственно в неменьшей степени. Это было ее любимое дело, и она старалась делать его как можно лучше.

Режиссёр – очень трудная профессия. Нужно разбираться в людях, с которыми работаешь: отделить актерски одаренных от бездарных (мало ли кто хочет играть в драмкружке), увидеть талант, только-только проявляющий себя первыми искорками, еще не развившийся, не раскрывшийся. Такой проблемы нет у профессионального режиссёра, работающего с уже готовыми, взрослыми актёрами. А для нее это было главным. Она это научилась делать прекрасно. Разумеется, были разные составы драмкружка: где-то более, где-то менее талантливые – но в 18-й школе (которую я закончил), более-менее крупной городской школе, расположенной в «спальном» районе, у нее был совершенно замечательный драмкружок – и много талантливых актёров.

Назову самых ярких из них: Сильва Левит, Костя Федотов, Вадик Носач, Лена Шибалкина, Юра Мунтян, Наташа Пасечник, Клава Воронина.

Это были действительно по-настоящему талантливые люди, и маме удавалось и раскрыть, развить их талант, и в то же время удачно их использовать для создания хороших спектаклей.

Она никогда не делала скидки на то, что это же дети, они же еще ничего не умеют: в конце концов, главное – педагогический момент, а не качество постановки. Нет, она делала действительно прекрасные спектакли.

Сейчас в Кишиневе существует государственный театр – с совершенно удивительной историей. Он вырос из драмкружка 55-й школы, руководил им учитель английского языка Юрий Аркадьевич Хармелин. Потом он добился создания любительского ТЮЗа при той же школе, с довольно

большой сценой. Играли там, в основном, его же прежние кружковцы. Потом театр стал полупрофессиональным, а потом – профессиональным. Он существует уже 33 года.

Так вот, в те времена, когда Юрий Аркадьевич еще был руководителем школьного драмкружка, моя мама со своим драмкружком его регулярно побеждала на городских конкурсах. Первое место оставалось обычно за ней, хотя 18-я школа гораздо меньше 55-й.

Юрий Аркадьевич Хармелин – человек замечательный. Я его хорошо знал. То, что он сделал, – настоящее чудо. В чем-то этот человек сильнее моей мамы: он практичный. Он всегда умел добиваться своего, не поступаясь достоинством и независимостью творческого человека.

Мама не была практичной. Но как режиссёр она сильнее него.

Она любила сатиру и юмор, была наблюдательной и остроумной. К тому же школьный драмкружок, а дети любят посмеяться. Поэтому почти все постановки у нее были юмористические и сатирические. Лучшие из них – «Мещанин во дворянстве» Мольера (господина Журдена играл Костя Федотов, редкий комический талант), «Ничевошек» (Бог весть какого автора пьеса, кажется, по мотивам русских сказок), «Баня» Маяковского (Победоносикова играл Вадик Носач, вот он, собственно – как раз в этой роли), «Дениска, Мишка и другие» по Драгунскому (Дениска – Юра Мунтян).

Это были отличные спектакли, умело и тщательно поставленные. Такого качества, что сейчас даже трудно поверить: в таких условиях, с актерами-школьниками – и такие постановки. Но так было.

Как режиссёр она отделяла каждую деталь, каждый штришок, каждый жест и интонацию у каждого актера – а работали они с удовольствием, с увлечением. Наташа Константинова и Саша Сивак (одноклассники Вадика Носача и Лены Шибалкиной) не были самыми яркими звездами сцены, но в своем письме (я его привел выше) вспоминают именно о драмкружке как о лучшем времени своей школьной жизни.

Эту сложнейшую работу, требующую редкого сочетания разнообразных талантов (актерского, организаторского, педагогического) и высокого мастерства, огромного труда, времени и сил – мама делала всегда бесплатно – и это было для нее счастьем. Только в Ваду-луй-Водском клубе, где она играла в любительских спектаклях, им иногда платили: по 10–15 рублей за спектакль. Больше ничего она этим никогда не заработала. Никто никогда ей ничем не помогал. А качество ее работы было уникальное.

Но она, очень скромная, никогда ничего и не ждала и ни от кого не требовала, радуясь просто тому, что занимается любимым делом.



Драмкружок (они фотографировались в школьном саду). В центре – ближе к правому краю кадра – главные звезды того состава драмкружка (под ручку друг с другом): Сильва Левит и Костя Федотов.

Забегая далеко вперед, скажу, что в 2007 г. я по собственной инициативе создал в Петрозаводске литературный клуб для школьников, издававший свой журнал. Нужно было искать талантливых детей и подростков, работать с ними, сделать эту работу увлекательной для них – и в то же время развивать их. А журнал издавался серьезный – для чтения. И мы выпустили 10 номеров очень хорошего качества. Сейчас я сам с трудом могу поверить, что это удалось – но это так. Я издавал этот журнал на свои средства, за работу с литературным клубом мне никто не платил. Все это я сам задумал, сам сделал: мне никто не помогал – да я и не ждал ни от кого никакой помощи.

Да, я действительно ее сын.

Она начала играть «на сцене» (в собственном дворе) совсем маленькой девочкой: ей было лет 8–9 – а закончила свою режиссёрскую работу в 60 лет. Полвека театрального стажа.

Я написал свое первое произведение в 10 лет. Тогда мама со своим классом (это тот самый класс, где училась моя покровительница Наташа Добында) ездила в Киев, и я ездил с ними. Класс у нее был 8-й, я был в 4-м. Посетили мы и Киево-Печерскую лавру: кто не знает, это такие катакомбы, где был когда-то пещерный монастырь, а сейчас хранятся кости святых мучеников. Под впечатлением от лавры я и написал повесть: прямо там в Киеве – и в поезде по дороге домой. Исписал толстую тетрадь. Сюжет был авантюрный и очень лихо закручен: герой заблудился в пещерном монастыре – я читал свою повесть маминим ученикам, им она понравилась.

Когда мама уже умирала, мы с ней как-то вспомнили об этой повести: она сказала, что повесть была неплохая, с острым сюжетом. Даже пожалела, что та тетрадь пропала.

И если я доживу до 60 лет, то у меня тоже будет 50 лет стажа. Только писательского. Так что я ее сын. Хорошо ли это или плохо – но это так.

Она была очень сильным человеком. А сильный человек и должен сильно влиять на своего ребенка, – тем более такого, каким был я.

Но странно, очень странно были в ее жизни перемешаны добро и зло.

Что для нее – именно для нее – было бы главным благом? Ведь нет одного добра для всех, добро всегда индивидуально. Ей нужно было выйти из тьмы одиночества. Это добро, это благо.

Но она так и не нашла этого пути.

А в то же время – жизнь была насыщена творчеством. Педагогическое творчество. Дети. Литература. Театр. Это заполняло всю жизнь, в этом она чувствовала себя сильной – и она верила, что это добро, это благо ее жизни.

Но именно это уводило ее от решения главной проблемы ее жизни, скрывало эту проблему – и от других, и от нее самой. Заполняло всё время, забирало всё внимание – отвлекая, не давая возможности задуматься, создавая ощущение успеха, своей полноценности – во многом, ложное ощущение.

Это главное добро ее жизни, смысл, свет, счастье всей ее жизни. Это и главное зло ее жизни, помешавшее ей осознать свою проблему и найти выход. Это спасало – и это губило. Свет уводил всё дальше во тьму.

Но как было ей в этом разобраться? За всю свою жизнь мама никогда не говорила ни с одним психологом или психотерапевтом. Она считала себя образцово здоровым человеком. Но если бы и говорила, то никогда бы не поверила в это. Исключительно цельной и сильной, ей не свойственны были сомнения. Она верила в правильность своего пути.

Как понять это? Зачем нужны эти страшные ловушки в нашей жизни?

И кто же это так нехорошо пошутил, назвав Создателя всего этого «милостивым и милосердным»?

Как могла она в этом разобраться? Величайшее добро – было одновременно величайшим злом. Это зло, запутавшее ее, несло в то же время добро и свет.

Обитатели чудовищной тоталитарной империи Джорджа Оруэлла знали, что «Свобода – это рабство», а «Война – это мир». Они правы. Добро – это зло, а зло – это добро. И мы никогда не можем быть уверены, что понимаем до конца, где кончается черное и начинается белое, перемешавшиеся, перепутавшиеся в нашей жизни до того, что часто нам уже не различить, где одно, а где другое.

Не менее странно то, что даже внешне ее жизненный путь напоминает не движение вперед, а кружение, блуждание – с возвращением в конце к тому, что было вначале. Это касается даже бытовой стороны жизни.

Я описывал уже ее первую в жизни комнату в Тирасполе, где она родилась и жила с родителями и старшей сестрой Ривой. Потом – недол-

го – была симпатичная квартирка в Кишиневе. Потом – эвакуация. Потом – зал в центре Кишинева, где они все спали вповалку. Потом – Вадуй-Воды. Там она большую часть времени жила у тети Катинки: мерзла зимой, носила воду из колодца, ходила в туалет во дворе.

Потом – квартира на улице Котовского, где давно уже поселились ее мама и Ива. Большой двор, где были и хорошие каменные дома с хорошими квартирами. Их квартира – в бывшей конюшне, с низкими потолками. Одна комнатка – 6 м квадратных, другая – 12. Первая служила кухней. Только много времени спустя отец Арона, мужа Ивы, – прекрасный столяр и плотник – пристроил небольшой тамбур, служивший кухней, и тогда эта шестиметровая комнатка стала использоваться по назначению. Удобства там были тоже во дворе, там же – колонка, из которой носили воду, там же, во дворе, – помойная яма. В этой квартире первые годы жил и я, хотя совершенно этого не помню. Обитали там одновременно пять человек: моя бабушка, Ива, Арон, Фая (их дочь), моя мама. Потом Ива, Арон и Фая получили квартиру, и жильцов стало меньше: бабушка, моя мама, ее муж и я.

Только в середине 60-х гг муж мамы получил большую современную однокомнатную квартиру на улице Федыко. Которую я тоже не помню, хотя мне было почти 7 лет, когда мы оттуда ушли. Там мама прожила недолго – и из-за отношений с мужем ее жизнь тоже не была спокойной и благополучной, несмотря на «все удобства».

Потом была квартира на Димо – чужая, в общем-то, квартира, хотя в то время мама и Ива уже очень дружили, а муж Ивы, Арон, просто очень хороший, добрый человек – и он никогда не возражал против нашего вселения, даже охотно помогал маме, присматривал за мной. Это маленькая, узенькая комнатка моей бабушки, тогда уже старой и больной. Проходить туда надо было через большую комнату Ивы и Арона.

Наконец, в 45 лет мама купила кооперативную квартиру, однокомнатную, но хорошую, с большой лоджией, на Новых Боюканах. Купила сама, на свои деньги, никто ей не помогал. Чего ей это стоило, нетрудно себе представить: сколько часов она брала – и это при своей добросовестности, привычке тщательнейшим образом готовиться к каждому уроку. Она почти не спала ночами: проверяла тетради, готовилась.

И это ее первая приличная квартира за всю жизнь.

Потом была еще другая – двухкомнатная, в том же доме (ул. Энгельса 1 в Кишиневе), большую комнату она отдала мне и моей жене – а сама жила в маленькой, куда надо было проходить через кухню (квартира была со смежными комнатами, пришлось ее переделывать, чем, конечно, тоже занималась мама).

15 лет она прожила в человеческих условиях.

Потом я принял безумное решение уехать в Россию. Она поехала со мной.

Село Павловка Липецкой области: там мы прожили год. Жили в бывшем кабинете автодела. Напротив, через коридор, туалет, там – холодная вода. Ни библиотеки, ни магазина. Кроме меня она общалась только с детьми из интерната, учила девочек вязать. Я питался в интернатской столовой, а что ела она – не знаю. Что-то я приносил, но что я мог приносить?

Потом – Приозерск, Ленинградской области. 5 лет мы там прожили. Один год снимали однокомнатную благоустроенную квартиру. Чужая мебель. Но это было еще ничего. Потом – комнатка в коммуналке, то есть трехкомнатной квартире, где жила другая семья. Старый деревянный дом. Удобства – во дворе. А это север, зимой – мороз до 25 градусов. Ей было уже больше 60 лет. Водопровода не было, воду приносили из колонки и наливали в ведро, стоявшее на большом кухонном столе. Сливали в другое ведро.

Потом Петрозаводск. Первый год – снимали: комнатка 8 метров, в панельной многоэтажке, на первом этаже. Зимой + 8 градусов при включенном обогревателе. Потом купили свою квартиру. Деревянный дом постройки 1937 года, первый этаж, угловая квартира. Печное отопление. В кухне и маленькой комнате зимой – жуткий холод, в кухне на полу, а иногда и в раковине замерзает вода. Правда, есть холодная вода и туалет. Но мама была уже старая, и ее очень мучил холод. А еще она страдала от того, что негде помыться (я никогда не страдал от этого – и даже не замечал).

В этой квартире она прожила 13 лет, в ней умерла.

Даже в этом смысле она не шла вперед – а словно возвращалась назад, в свое прошлое.

Но она хотела быть со мной на любых условиях – а я не умел заботиться о ней. И она смирилась с этим возвращением, похожим на блуждание по кругу.



Это мамина комната. Здесь всё так, как было при ней. Этим старым зеленым, заштопанным посередине одеялом она всегда накрывала свою постель. На этой кровати она умерла. Так она положила подушки во время своей последней болезни, чтобы видеть небо. А раньше ложилась головой к окну. Возле телевизора стоит чашка с водой: маму давно по ночам мучила жажда, но я не догадывался, в чем дело. Покрывала на кресле и стуле связала она сама. Красивое деревце – это мандарин, мама его вырастила из косточки и любила. А вот ядовито-зеленые шторы она терпеть не могла, но я их так и забыл поменять. На столе лежат книги, сверху – «Человек, который смеётся» Гюго: это последняя книга, которую я прочел ей, когда она уже не могла читать сама. Она тогда уже знала, чем больна, знала, что скоро умрет. На столе стоят хризантемы: я всегда дарил ей цветы на 1 сентября – и теперь, когда ее уже нет, купил и поставил на ее столе. Снимок сделан 2 сентября 2011 года.

ГЛАВА 9.

Мама и я. Ее сила и слабость

Почему мы так любим детей и животных? Есть, конечно, множество причин. Одна из них: нам очень приятно чувствовать себя Сильными и Добрыми. Животные и дети слабые, о них нужно заботиться. Мы покупаем и готовим им еду, кормим, лечим, когда они больны, гладим и целуем – и нам это непосредственно приятно. Эти приятные ощущения вызываются не результатом нашей заботы – а самим процессом, самими нашими действиями.

Насколько же острее должна чувствовать эту радость, это наслаждение женщина, уже немолодая, всю свою жизнь совершенно одинокая, страшно изголодавшаяся по родному, близкому существу. Притом по натуре сильная, энергичная, деятельная.

И эта радость, это наслаждение затопили душу моей мамы. Это было так же сильно в ней, как любовь к своей работе.

Раньше своя комната была местом подготовки к урокам, чтения книг – но не была наполнена теплом. Теперь, с рождением сына, всё изменилось. У нее, такой одинокой, появился ребенок. Свой. Бесконечно дорогой и родной. Теперь не только в школу, но и домой она шла с радостью. Часто с беспокойством: сын постоянно болел – но и беспокойство было смешано с радостью

Во время последней её болезни мы много вспоминали, и она рассказала, что дети Софы – той самой ее родственницы и приятельницы послевоенных лет – почти не болели.

– Хорошо, когда дети не болеют! – вздохнула она.

Сказала совершенно искренне.

Однако она сама, вынужденная постоянно возиться с больным ребенком, научилась находить в этом своеобразное удовлетворение. Ведь это трудно – и тем приятнее не просто заботиться, а спасать, много раз подряд спасать, не жалея сил: это тоже особая сладость.

Конечно, мама искренне хотела, чтобы я не болел. Даже пыталась робко, очень осторожно меня закалывать. Но при этом привыкла получать удовольствие, самоотверженно заботясь обо мне. Она почувствовала вкус к роли Самоотверженной Мамы.

Когда я, уже взрослым, вспоминая о своем детстве, говорил, что оно было довольно-таки несчастным, она недоумевала. Она не понимала, по-

чему несчастным. Она ни о чем не догадывалась. Потому что ЕЙ было хорошо. И того, что МНЕ плохо, она не замечала.

Забегая далеко вперед, расскажу один характерный эпизод. Мне было 33 года. Жили мы в Приозерске Ленинградской области, я работал в школе. Кроме этой работы, ничего в моей жизни не было. Зимой, в 25-тиградусный мороз, я поехал с детьми в Петербург, в Этнографический и Зоологический музеи. Детей – мало. Я простудился, мне не следовало ехать. Но я поехал. Я страстно хотел жить, здесь и сейчас: это была моя жизнь, единственная, другой я не знал.

В Петербурге мы много ходили: из музея в музей. Задувал порывами ледяной норд. Помню, на Дворцовой площади я обратился с вопросом к пожилой женщине в шубе с пышным меховым воротником; она быстро шла, пытаясь защититься от ветра рукой в перчатке. Но женщина оказалась иностранкой. Она что-то ответила по-английски, тут же опять прикрыла рот перчаткой, почти бегом спеша куда – и исчезла в толпе.

Пока мы были там, я еще держался. Но на обратном пути, в электричке, мне стало совсем плохо. Однако я был с детьми. Это помогло продержаться до Приозерска. Там они вышли. И я один, в сумерки, пошел по темным пустым улицам с вокзала домой.

Как я дошел, не знаю. Но дошел. Мама, как всегда веселая, жизнерадостная, топила печку. Я упал возле дверцы печки. Мама о чем-то весело разговаривала с соседкой. ОНА НИЧЕГО НЕ ЗАМЕТИЛА. Я почти закричал на нее – насколько еще был в силах кричать – только тогда она обратила внимание на мое состояние. У меня оказалась температура больше 39-ти.

В каком-то смысле моя мама совсем не была похожа на мою бабушку.

Бабушка моя из-за неудавшейся женской судьбы, одиночества ушла в себя, как улитка в раковину, окуклилась, закрылась от всего мира. Мама в этом смысле была человеком прямо противоположным: открытая, жизнерадостная, обращенная к миру и людям, любознательная, теплая, всегда готовая и любившая отдавать. Она была сильная, очень сильная. То, что сломало ее мать, ее не сломало, наоборот, – она стала еще сильнее.

Но было у них и что-то общее. Моя мама так же, как и ее мама, самоотверженно и преданно заботилась о своем ребенке. Но контакта, душевного единения – не было: как не было его и у нее самой в детстве.

Правда, любовь ее грела, она была жаркой, как огонь сухих березовых дров. Этим она отличалась от своей закрытой мамы, моей бабушки. Та тоже очень любила своих детей, но не умела так согревать любовью.

И все-таки чего-то едва уловимого – но самого-самого главного – не хватало.

Если бы она приняла предложение Алексея Ивановича Шведова – она бы стала другой. Но этого не случилось. И душа ее осталась нераскрытой, бутонем. Она не догадывалась об этом, потому что не знала ни-

чего другого. Ей не приходило в голову, что она ведет себя по отношению к своему ребенку почти так, как ее мама вела себя по отношению к ней самой.

И я об этом тоже очень долго не догадывался. Я ведь тоже не знал ничего другого. Я любил маму. Но и рядом с ней – был страшно одинок.

В 10 лет я серьезно заболел в очередной раз, меня положили в инфекционную больницу с подозрением на дизентерию. Оказалось очередное (6-е или 7-е) воспаление легких, сопровождавшееся на сей раз какими-то кишечными явлениями.

Однако меня не выписали. Маме сказали: по их правилам должен пройти 21 день – тогда выпишут.

Это было страшное место. Даже сейчас у меня всё внутри сжимается при воспоминании о нем. Я еще не мог тогда долго жить без мамы. Страшно тосковал, жил от одного ее посещения до другого. Пытался цепляться за книги, это плохо удавалось.

Меня держали в боксе, крошечном, как шкаф, на 3-м или 4-м этаже. Там не было посещения больных, и даже на территорию больницы никого не пускали. Мама и бабушка пролезали в дыру в заборе, я спускал им на веревке записки, а они привязывали мне свои.

Представьте себе эту сцену: мрачное, казенное здание больницы, с потеками сырости на стенах. Зима, кое-где пятнами лежит грязный снег. Пусто, ни души, сыро и холодно. Две женщины, одна из них пожилая, стоят под окнами, оглядываясь, чтобы их не заметили. В окне наверху – тощий, взлохмаченный, бледный мальчик: он спускает веревку – и записка летит, как белый голубь – прямо в руки маме. И мама снимает ее и прикрепляет своего голубя: несколько ободряющих, бессмысленных, ласковых и нежных слов – непонятных никому, кроме этого мальчика – глоток воздуха, луч солнца для него.

Так мы жили несколько дней.

Потом мама пробралась в больницу через черный ход, с моей одеждой, – и выкрала меня. И в очередной раз меня спасла, потому что я вряд ли выдержал бы 21 день этого ада.

В том же году, летом, мы отдохали в Ваду-луй-Водах. Вечером пошли гулять на Днестр. И вдруг что-то случилось со мной. Я словно провалился в черную яму: потерял память, сознание. Очнулся в руках у мамы: она крепко держала меня. Оказалось, я бежал прямо в воду; сломя голову, как безумный. Она успела перехватить меня. Плавать я тогда еще не умел.

Сколько раз она спасала меня?!

Месяца за два до смерти я хотел почитать ей главу «Антуанетта» из нашего любимого «Жан-Кристофа» Ромена Роллана. Она спросила, почему именно это. Я ответил: потому что я похож на Оливье, а ты – на Антуа-

нетту. Она засмеялась. Она тогда еще могла смеяться. Но это правда: она похожа на Антуанетту. Сильная, преданная, самоотверженная.

Я помню маму в больнице. Я в ужасном состоянии. Мне сделали сложную операцию, но может понадобится еще одна. Врач говорит об этом при мне, я кричу, плачу, бью руками, как птица. Но мама всегда сохраняла идеальное самообладание, более того – была энергична, бодр. Мои болезни никогда не угнетали ее, – наоборот, будто вливали в нее новые силы.

Чем слабее был я – тем сильнее становилась она.

Силу берут у слабых, заботясь о них. Я сам узнал об этом, когда начал работать с детьми.

Но что же делать слабому? Ему ведь тоже надо становиться сильнее.

Каждому из нас нужен тот, кто заботится о нем, на кого он может опереться, – и тот, о ком он сам заботится, кто опирается на него. Каждому – независимо от возраста! Но особенно это нужно ребенку.

Моя мама привыкла жить одна, всё делать сама. Сильная и гордая, она получала от этого удовлетворение. Ощущать свою силу, свою способность в одиночку со всем справиться – тоже приятно.

Хотя любой женщине хочется на кого-то опереться – но не на кого было. И она уже не рассчитывала, что появится в ее жизни близкий мужчина. Она сама исключила для себя такую возможность.

Но нужно же было ей найти замену – мужа, любви, которых не было и уже не могло быть. И она нашла: любовь к ребенку. Забота о нем. Она опиралась на меня. Я стал ее точкой опоры, ее якорем, ее источником жизни.

И именно то, что я был слабым и болезненным, усиливало это в ней, укрепляло. И она не чувствовала пустоты, она жила, дышала полной грудью. У нее есть любимая работа – и у нее есть сын!

Но я – задыхался. Она этого не замечала.



Я помню один очень редкий – и именно этим запомнившийся – эпизод.

Мне – лет 11–12. Мама задержалась в школе. Ей пора было возвращаться – и тут хлынул бурный кишиневский ливень. Меня осенило, я схватил зонтик и побежал в школу. Я успел, мама еще не ушла.

И вот, я провожал её до дому – и держал над ней зонтик! Какое это было счастье!

И сейчас, вспоминая об этом, я чувствую огромную радость, которая тогда заливала меня всего. Только от того, что я держал над ней зонтик. Дождь, кстати, на полпути к дому кончился. Но я продолжал высоко держать зонтик над ее головой, сам наполовину мокрый, как губка. Я был счастлив!

Увы, такое случалось очень редко. Она была сильной, ей нравилось самой заботиться обо мне. А мне почти не удавалось заботиться о ней. И в конце концов я к этому привык.

Мне не нравилось это, я даже пытался бунтовать. Но это были отдельные вспышки: она была сильней, последовательней. И почти всегда побеждала.

За столом она подкладывала мне лучшие куски. Я возмущался, отказывался есть. Но часто забывал об этом, и машинально съедал то, что она положила мне на тарелку. Ей нравилось быть самоотверженной, отказывать себе во всем – ради меня.

Если я просил оставить мне помыть посуду, а сам на минуту выходил из кухни, посуда неизменно оказывалась уже помытой.

Она не покупала себе нового пальто, но купила мне пианино. В 7 лет: она только что ушла от мужа. Но в 10 лет я совершенно спокойно заявил, что играть на пианино больше не хочу. И не подходил к инструменту 4 года.

А потом начал играть – сам. Потому что музыку любил: и мама ее очень любила. Так – сам – я научился играть довольно сложные вещи: сонаты Бетховена, органнне прелюдии Баха, даже 1-ю часть 1-го концерта для фортепиано с оркестром Шопена (в переложении для двух фортепиано: я играл то партию оркестра, то фортепиано).

Так я играл – для себя – до 47 лет. Мама очень любила музыку и с удовольствием слушала: особенно ей нравилась «Лунная соната» Бетховена.

Но это потом. В детстве я хотел играть в футбол, быть таким, как все мальчишки. А она купила пианино. Это была очень серьезная трата для нее. Потому и приятная: доказывавшая ей самой ее самоотверженность.

Но под маской самоотверженности прятался эгоизм.

Она сама так его и не распознала – до конца своих дней. Она совсем не умела разбираться в себе.

Странно: она была таким прекрасным учителем – и таким никудышным воспитателем.

Впрочем, не стоит представлять себе мое детство только в мрачных красках. Я, конечно, много и с увлечением играл с футбол. Запоем читал: это у нас семейная страсть. Все в нашей семье: и прапрадеды, и прапрабабушки мои – любили книги. Мы ведь евреи, а евреев так и называют – «Народ Книги». Я читал необычно: совершенно уходя в мир книги, проживая, пропуская его через себя. У меня необычайно мощное воображение: оно осталось таким по сей день. Читая, я всё видел, слышал, ощущал. Герои книг были для меня живее и реальнее, чем окружавшие меня люди.

Житейски слабый, неприспособленный – я уходил, прятался в этот мир, где чувствовал себя сильным. Я общался здесь с великими людьми, великими писателями. Я жил, чувствовал, мечтал, думал. Уже в детстве я был очень талантливым читателем.

И, конечно, я очень любил маму. Очень!

Когда совсем уже старая, она решила остричь свои прекрасные волосы, потому что ей трудно стало их расчесывать и заплетать, – это была душевная травма для меня. Я не мог возражать: но с болью смотрел, как она режет их ножницами. Я и в 80 лет считал ее красивой – и относился к ней как влюбленный мальчик.

Я не знал, не видел маму в молодости. Молодую, я знаю ее только по фотографиям. Но мне кажется, никто так, как я, не видел ее. Ей было 80 лет – а для меня она оставалась прекрасной. Это иллюзия любви. Может быть, – более реальная, чем любая реальность.

Я помню: мама на кухне читает стихи. Мне – 14 лет. Какая она красивая! Ей – 48 лет. Да, именно так: она ведь родила меня почти в 34 года. Я тогда – благодаря ее чтению – полюбил стихи. А прежде читал только прозу.

Меня страстно интересовали люди, хотя я не умел общаться: был страшно застенчив и неуверен в себе. Я обожал наблюдать за людьми: рассматривать исподтишка их лица – на рынке, на остановке, в троллейбусе. Мне казалось это увлекательным занятием. Прирожденный психолог, я каким-то непонятным мне самому образом догадывался, что это за человек, что он сейчас чувствует. Мне никто не был безразличен: я не просто изучал людей – а как бы прикасался к ним, к их жизни.

Это сохранилось во мне до сих пор.

Я десятки раз покупал что-то – не для себя, а для продавца. Цветы – у старой женщины: я невольно, по своей привычке, посмотрел на нее – и увидел: она устала, давно сидит тут, ей тяжело сидеть, а никто ничего не покупает. Я подошел и купил у нее букет. А потом стал думать, что с ним делать, кому подарить.

Совсем недавно, 2–3 дня тому назад, я купил на рынке баночку черники, которую не очень люблю, у маленькой деревенской девочки. Что она из деревни, ясно было по ее лицу и одежде. Она походила на взрослую женщину, когда серьезно, ссутулившись, посматривала из-под своей челочки на прохожих. И во всей ее тоненькой фигурке заметно было разочарование. Вот, приехала в город – а никто не хочет покупать.

И я подошел и купил у нее баночку черники за 100 рублей. И она улыбнулась – и стала похожа на маленькую девочку. И мне это было приятно, хотя я никогда ее раньше не видел.

В детстве я ничего не покупал: все покупала мама. Я никогда ничего не делал дома, у меня не было никаких обязанностей. Но наблюдать за людьми любил – и так я как бы приобщался к их жизни, преодолевая свое одиночество.

Скучно мне не было. Никогда. И уже очень рано появилось ощущение своего призвания, своей Миссии, своей нужности и обязательности в этой жизни. Правда, я тогда еще не знал, в чем эта миссия состоит. Но уже смутно мечтал стать Писателем.

И была страстная жажда жизни, огромный интерес к ней. Но – без силы, без умения жить, без возможности удовлетворить эту страсть.

Я был как слабое, хиленькое растение без корней. Ни братьев, ни сестер, мама всегда увлечена работой. Один, всегда один! Я пытался зацепиться за книги, за свои мечты. Только в мечтах я и умел быть С собой.

Одно из самых ярких переживаний моего детства – хомячок Ляпа, мое первое домашнее животное. Мне было 8 лет, когда он погиб: его на прогулке загрызла собака. Я отпустил его побегать – и не уследил.

Тогда я впервые почувствовал, как хорошо заботиться о живом существе, любить. Но и то, как страшно терять того, к кому привязался. Очень одинокий, с нежной, ранимой душой, я болезненно привязчив – до сих пор.

Помню себя на берегу озера, вскоре после похорон Ляпы (он зарыт под окном Олега Домбровского: оказавшись в Кишиневе, я без труда нашел бы это место). Меня тянула к себе вода, не хотелось жить. Была не только боль от потери – но и мучительное чувство вины: тот, кто был на моем попечении, погиб из-за меня.

Да, это страшно: переживание разорванности с любимым существом – когда душа истекает кровью и не хочется жить.

Как я относился к девочкам?

Вот, посмотрите на эту фотографию. На переднем плане – я, а девочку, с которой я танцую, зовут Юля. Она мне очень нравилась. Поэтому так мучительно было с ней танцевать.



Иногда я думаю, что сила дается матери и ребенку одна на двоих. И если она вся у матери – ребенку ничего не остается. Иногда и взрослому человеку надо побыть слабым – чтобы дать возможность ребенку стать сильным.

Но мама моя была сильной всегда. В этом была ее слабость.

Знаете, какое мое главное самоощущение в детстве? Я на САМОМ ДЕЛЕ совсем не такой. Я не настоящий. Это не я, я – другой.

И так продолжалось до 20 лет.

ГЛАВА 10.

Свежий ветер. Миша и Лена

Ну вот, мама. Я продолжаю идти с тобой по дорогам твоей жизни. Нашей общей жизни, потому что мы всегда жили вместе, хотя дело даже не в этом. Я ведь из тех, кто так и не смог отделить себя от матери. Только сейчас, когда тебя уже нет на Земле, я впервые по-настоящему ощущаю себя отдельным существом – начинаю ощущать. И ты не смогла отделить меня от себя. И в этом смысле это не твоя и моя – а наша жизнь. Она у нас одна.

Где же ты теперь, когда мы, наконец, отделились друг от друга? Неужели нигде? Как страшно даже подумать об этом.

Но лучше отложить разговор о самом главном – до последней главы этой книги.

А пока – пойдём дальше. Скоро снова пробьют часы нашей жизни – для меня, но тем самым и для тебя.

В 17 лет я перестал ходить в школу. Сидел дома, не одетый, непричесанный. Даже не знаю, чем я занимался. Потом неожиданно для себя самого уехал в Одессу.

Отъезду предшествовал тяжёлый разговор с мамой. Она, всегда бодрая, жизнерадостная, даже заплакала.

– Ты перечеркнул всю мою жизнь! – сказала она с горечью и болью.

Что я говорил ей тогда? Не помню. Обвинял в том, что она неправильно жила? Что мои проблемы – результат ее неправильной жизни? Совсем не помню, что я тогда говорил.

Но нужно же слабому подростку кого-то обвинить в своих неудачах.

И я уехал. Не хочу больше жить с тобой, мама! Ты на меня дурно влияешь.

Но это был детский бунт – и продолжался он недолго. Я не способен был жить один.

Я снял какую-то комнатку недалеко от моря, и, кажется, именно потому ее снял, что она была недалеко от моря. Вроде бы читал газеты, искал работу – а на самом деле находился в какой-то прострации, слонялся по городу и по пляжам, рассматривал лица людей, о чем-то мечтал.

На что я жил? На мамины деньги. Она присылала их до востребования, не зная моего адреса.

Иногда я звонил ей. Ни слова упрёка. Только огромная любовь и беспокойство обо мне, о моем здоровье. Никаких просьб вернуться.

Она была сильная. Вела себя идеально – именно так, как надо было, чтобы поскорей меня вернуть. Я не мог жить без нее и, конечно, через 2 или 3 месяца пустого времяпрепровождения, смертельно мне надоевшего, вернулся домой. Собственно, я приехал бы и раньше: мешала глупая гордость.

Мама и Ива встречали меня на вокзале. Мама заплакала, обняла меня. Мне было страшно стыдно. Именно чувство острого стыда перед ней больше всего и запомнилось от дурацкой истории с бегством в Одессу.

Вскоре после этого я попал в больницу, мне сделали операцию. Называется такая операция «ревизия органов брюшной полости», делают ее в связи с проникающим ранением брюшной полости.

Ранение я получил при, мягко говоря, очень своеобразных и характерных для меня обстоятельствах.

Я уже упоминал о своем мощном, необычайно развитом воображении. Оно до сих пор такое, хотя сейчас я лучше его контролирую, в гораздо большей степени им владею. Тогда я как человек был очень слабым, – а воображение – уже очень сильное, могучее. Образы, создаваемые им, полностью захватывали меня, подчиняя себе, совершенно вытесняя реальность. Я часто находился в галлюцинаторном состоянии.

И вот я, придя из школы (я учился в выпускном классе), играл в комнате с мячом. Я любил футбол. Сейчас очень охладел к нему, хотя не могу сказать, что совсем. Я воображал себя в тот момент каким-то знаменитым футболистом. Шёл футбольный матч, видимо, финальный. Все эти создаваемые моим воображением картины были настолько осязаемы, реальны (именно таково свойство развитого воображения), что я был полностью захвачен ими. Жонглируя мячом, я чуть поскользнулся на гладком полу, упустил мяч – рванулся за ним – и налетел всем телом на балконную дверь.

Мама очень добросовестно мыла стекла: вообще она всю домашнюю работу всегда делала исключительно добросовестно. Стекол, идеально промытых, как бы не было: такие они были прозрачные. Я забыл, что это дверь.

Дверь – деревянная, с большими двойными рамами, нижняя часть которых – примерно на уровне моего живота или чуть ниже. И я с разлёту налетел на стекло, разбил его, провалился на ту сторону – и животом с силой, сверху, навалился на частокол из только что разбитых стёкол.

Не думаю, что такой несчастный случай еще с кем-то когда-нибудь мог произойти.

Я не сразу понял, что случилось. Потом увидел раны у себя на животе. Они были очень страшные. В некоторых местах вырваны целые клоки мяса. Я в полной прострации позвонил в квартиру соседки, Людмилы Семеновны. Это молдаванка, очень добрая женщина. Она позвонила в «Скорую». Меня увезли еще до прихода мамы: она появилась уже в больнице.

Операцию сделали сразу. Не очень удачно. Была угроза повторной. Но я так плакал, мне было так плохо, что это отменили. Мама, как всегда бодрая и энергичная, дежурила в больнице по ночам. Вообще по моим ощущениям, она была рядом всё время, хотя это, конечно, не могло быть так.

После этой операции у меня появилась спаечная болезнь: это такое заболевание, когда стенки кишечника в тех местах, где они повреждены, утолщаются – и могут образовать «спайки» – пробки, что приводит к кишечной непроходимости.

В 25 лет это случилось со мной, и была сделана еще одна операция: разбили спайки. Уже в Петрозаводске также не раз я был в состоянии, близком к тому, которое привело к повторной операции, однажды лежал в больнице. Пока обошлось. Но не исключено, что именно этой болезни суждено прекратить мой земной путь в конце концов: операция эта тяжелая – и то, что я выдержал ее в 25 лет, не значит, что выдержу и в 55 или в 60.

И все-таки приближалось такое время, когда я почувствовал близость жизни вокруг себя, когда впервые вздохнул полной грудью. Это случилось в 20 лет, когда я начал работать с детьми.

С ними я почувствовал себя сильным. Я легко разбирался в их характерах, мне было интересно с ними. Быстро научился держать себя, быть решительным и энергичным.

Помню, как в летнем лагере при 18-й школе (которую я закончил, а мама там по-прежнему работала) мне дали группу спортсменомальчишек, некоторым – по 15–16 лет, а мне 20. После еды нужно убирать со стола: один хамоватый парень открыто отказался это делать – и мы с учительницей английского языка Сильвой Петровной вывели его из-за стола. Раньше я не мог себе представить, что смогу так себя вести.

Я быстро научился общаться, стал более раскованным.

В 20 лет у меня появился первый Настоящий Друг – Миша Ургуяну. Миша – молдаванин, сын актера Молдавского драмтеатра и учительницы физики. Родился он в селе, в 4 года вместе с родителями переехал в город.

Он физически крепкий и уверенный в себе, со всеми теми мужскими качествами, которых не хватало мне. Меня он немножко опекал, как взрослый ребенка. Когда мы куда-то шли, спрашивал, не забыл ли я надеть шарф. Он очень добрый человек.



Миша – как и я – единственный ребенок, тоже внутренне одинокий. И мы с ним очень привязались друг к другу, были как братья. Я не умею любить мужчин: у меня ведь не было отца (я считаю, что не было: я его никогда не воспринимал как отца, как близкого человека). Миша – единственный мужчина, которого я по-настоящему любил.



Он очень любил книги, поступил на молдавский филфак. Был, как и я, психологически и педагогически одаренным. Так что у нас много общих интересов.

Внешне я оставался все еще слегка женоподобным – а у Миши очень мужественная внешность: как у героя Джека Лондона. Вот он, примерно года в 22.

Он ничего не боялся, с ним я бывал в таких местах, куда никогда бы не пошел сам.

С ним можно было обо всем говорить.

Благодаря Мише я полюбил птиц: Миша был птицелов. Вот фотография: Миша – и рядом клетка-заподка (в такую ловили птичек). Я тоже очень полюбил птиц: одно время у нас жили 13 птичек – и мама ничего не говорила. Она всегда мне всё позволяла. Птички свободно летали по комнате, какали на ковёр, на карнизы, на люстру. Чечики (чечётки) – ночные птички – не давали нам спать: ночью они лазили по клетке, стуча коготками и мелодично что-то напевая.

Благодаря Мише я увлекся фотографией. У него это увлечение далеко не зашло, а я в 21 год стал членом фотоклуба и оставался им до 27 лет. Стал хорошим художественным фотографом. Это занимало большую часть моего времени и приносило много радости. Как и мама, я типичный творческий человек. В 21 год я впервые, на выставке, увидел снимки членов фотоклуба «Контраст» – и сам захотел научиться так снимать. И это мне удалось.

В 21 год я написал первую педагогическую статью.

Я стал очень общительным, уверенно чувствовал себя с самыми разными людьми. «Каким общительным человеком ты стал, Вадим!» – восхищенно сказал мне как-то мой детский друг Сережа Антимонов (мы с ним когда-то сидели за одной партой, потом некоторое время общались после школы).

Но лучше всего я чувствовал себя рядом с детьми. Силу берут у слабых. Дети вливали в меня силу. Я был уверен, что сам открыл для себя

детей и педагогику. Мне совершенно не приходило в голову, что я вступаю на путь, предначертанный для меня моей мамой.

Вспоминается одна забавная сценка, хорошо иллюстрирующая нашу дружбу с Мишей. Он очень увлекающийся, азартный (я тоже очень увлекающийся, но совершенно не азартный). Любил рыбалку. Ему нравилось **ПОЙМАТЬ КАК МОЖНО БОЛЬШЕ**, – и в особенности – больше, чем в прошлый раз. Это был для него спорт.

Я никогда не умел и не любил ловить рыбу.

И вот мы вместе на тихом, небольшом озере – ловим. То есть ловит Миша – вот он, с удочкой. А я сижу рядом, гляжу на воду, мечтаю. Но вот Миша поймал рыбку, посчитал ее (какая она по счёту), снял с крючка и положил рядом на траву. Я тут же беру рыбку – и поскорей отпускаю ее в воду. Мне рыбок было всегда жалко: особенно когда я видел их разорванные крючком рты. А что же Миша? Ничего – продолжает ловить.



Вот так мы с ним рыбачили. Как видите, мы действительно неплохо дополняли друг друга.

Помню, мы как-то оказались в компании редкостных подонков, напавших на беззащитного парнишку – и Миша вступился за него. Я, совершенно не умея драться, ничем не мог ему помочь. Их было, кажется, 12 человек. Драка закончилась вничью: паренька удалось отбить. Миша занимался боксом, вырос на улице, славившейся своими хулиганами, и сам был в детстве хулиганом. Кроме того, он высокий, очень сильный, с прекрасной реакцией – отличался в этом смысле немалыми талантами.

Вспоминается почему-то еще один, вроде бы совершенно незначительный, эпизод из наших походов. Миша любил приключения и физическую опасность. Я – только приключения. Как-то мы за городом наткнулись на высокую стену колючих кустарников: они росли ровной линией, ограждая какие-то поля. Обходить было долго и далеко – и Миша полез прямо под эти колючки, по земле. Мне ничего не оставалось, как последовать за ним.

Я помню странное ощущение: я знал, что это не очень широкая полоса – несколько метров. Но в какой-то момент уже не видно было, откуда мы ползём, куда – везде колючие ветки, без просвета. И мне показалось, что так теперь будет всегда: мы будем ползти через колючки, цепляющиеся за одежду, раздирающие в кровь кожу, скрюченные, прижатые к земле – это никогда не кончится.

Наверное, я так запомнил этот случай потому, что моя российская жизнь действительно напоминает это движение ползком через колючий

кустарник – без надежды когда-нибудь из него выбраться. Потому так за село это в памяти.

А Миша тогда получил большое удовольствие – в том числе и глядя на мою исцарапанную и несколько растерянную физиономию. Я не получил такого большого удовольствия, как он, но промолчал об этом.

Интересная деталь: у нас с ним никогда не было отдельных денег, моих и его. Только общие. Так было у меня всегда и с мамой, кстати. Все деньги, находившиеся в его и моих карманах (у него обычно больше), считались общими. Иногда я даже сразу отдавал их ему, потому что он очень практичный и умел тратить деньги – а я нет.

Миша нравился многим девушкам. Однако я кое-что знал о нем, чего не знал никто – да и он сам это едва ли видел в себе. Он был тонким, ранимым, очень привязчивым человеком – и внутренне одиноким – как я. Это, в конце концов, его и погубило.

Незадолго до смерти мамы мы вспомнили с ней о Мише. «Он был добрый. Я его любила! – сказала она. – а ты его тогда просто выгнал!»

Да, она любила его. Но мне не приходило в голову с ней считаться.

В 17–18 лет я остро осознавал, что ТАКОЙ не нужен никому – даже себе самому. Был страшно недоволен собой. Хотел измениться. Но, конечно, смутно представлял себе, в каком направлении нужно меняться. Главными недостатками казались мне застенчивость, некоммуникабельность.

И вот я стал очень общительным, я педагог, имею авторитет у детей. У меня прекрасный друг. Я художественный фотограф, член фотоклуба. Жизнь распахивала передо мной одну дверь за другой, я несся вперед, как на крыльях.

Помню один момент, буквально минуту – которую никогда не забуду. Мне чуть больше 20-ти. Я где-то далеко за городом, среди полей. На другом берегу реки – молдавское село. Я один. Когда это было, где? На планете Земля – вот всё, что можно сказать. Вокруг открывался широкий вид. Рассвет. Солнце поднималось над землей.

И мою душу охватило ощущение восторга, упоения жизнью – и веры в себя. В то, что я не напрасно пришел сюда, что я что-то обязательно сделаю на этой Земле, оставлю на ней свой след. Радость жизни, вера в жизнь. Это было как озарение, как необыкновенное счастье.

А я просто шел куда-то и смотрел на реку, деревья, на крыши домиков, освещенные солнцем.

Откуда это сошло на меня?

Тогда или чуть позже я написал стихотворение (хотя не поэт и стихов не пишу):

Все проходит. В пурге всё иду и иду.

Всё проходит? Не я! Не пройду! Не пройду!

Очень юношеское стихотворение: такие обычно пишут в 17–18 лет – но мое настоящее развитие ведь началось в 20.

Я шёл вперед, чувствовал это, было много надежд, планов, жизнь захватывала. И мне казалось, что я уже изменился, стал другим.

И тогда-то колокол времени пробил для меня. Для нас с мамой.

В 18 лет у меня была девушка, Катя Жосан, но ничего серьезного между нами так и не возникло. Катя была у нас дома один раз. Мама очень напряженно задавала ей один вопрос за другим: Откуда она? Как учится? Кто ее родители? «Допрос!» – сказала потом Катя. Мама всегда очень ревновала ко всем девушкам, которые мне нравились. Но с Катей ничего серьезного не вышло.

А в 24 года я полюбил по-настоящему. Мою любовь, так и оставшуюся единственной за всю жизнь, зовут Лена Шибалкина. Я уже упоминал ее имя: она – одна из главных звезд мамино драмкружка, ее выпускница, 6 лет училась у нее, мама – ее классный руководитель. Но в школе мы не интересовались друг другом.

Всё началось тогда, когда ей было 20, а мне 23.

Вот фото с нашего первого свидания. На озере. Что-то щемяще грустное и милое есть в маленькой фигурке Лены, глядящей на закат. Я хорошо помню ее, как она стояла, грустная, задумчивая. Такая чудесная. Я тогда понял, что меня тянет к ней, что я мог бы ее полюбить. Так и случилось.



Но что же мама? Для нее ничего не изменилось. Она тогда работала в школе, и это были хорошие годы для нее, хотя ей уже больше 55-ти. Так же любила свою работу. И меня. Так же заботилась обо мне, кормила и лечила. Для нее всё было по-прежнему: две основы ее жизни стояли пока прочно. Она отдавала себя своим ученикам – и сыну. Ей было все равно, что со мной происходит: она всегда готова была поддержать меня, что бы со мной ни случилось. Покупала мне фотоаппараты, объективы. А нового пальто у нее всё так же не было. Она по-прежнему всегда рядом, когда мне плохо. Я жив, она жива, мы вместе. Значит, все хорошо, все по-прежнему.

ГЛАВА 11. Лена

Иногда бывает, что подлинная суть человека скрыта, завуалирована его именем, фамилией, даже его внешностью.

Фамилия Лены – Шибалкина. Однако она по национальности полуармянка-полуиспанка. Мама ее – чистая армянка. Отец – из тех испанских детей, которых привезли в СССР во время гражданской войны в Испании. Ему было 5 лет. Конечно, он не помнил ни своей родины, ни родителей, ни испанского языка. Его отдали в семью Шибалкиных: кто они, не знаю. Им просто навязали ребенка – в порядке партийного поручения. И они не любили этого ребенка.

Русское имя отца Лены – Борис. Как его звали на самом деле, не знаю. Это человек очень маленького роста, крепкого телосложения, сухой, довольно темнокожий, действительно внешне похожий на испанца. Маму ее зовут Роза.

Он влюбился в нее за красоту: она, кстати, тоже небольшого роста. Очень закомплексованный, непременно хотел добиться ее, вплоть до того, что грозился покончить с собой, если она не выйдет за него. И она вышла. Первый их ребенок умер, вторым стала Лена.

Но брак не вышел, любви не было. Добившись своего, «испанец» сильно охладил к жене, много времени проводил вне дома, они скандалили. И мама Лены нашла отдушину – ребенок, дочка.

В детстве Лена была «в меру упитанная»: мама ее закармливала. Дочь от этого очень страдала: она особо чувствительная, типичный творческий человек.

Индивидуальность Лены передалась ей не от отца и не от мамы – а от бабушки. Это самый ее любимый и близкий человек в семье. Звали его Сергей Мисакович Геворгян. Военный летчик, художник, исключительно интересный собеседник, блестящий рассказчик, сапожник-индивидуал. Также небольшого роста, но обладал огромной физической силой. Ему было за 70, когда он приехал из Кисловодска на нашу свадьбу. Я – после операции. Других молодых мужчин в тот момент в квартире не было. Недавно привезли мебель: почему-то ее в Кишиневе делали из прессованных опилок. Такая мебель очень тяжелая. Нужно было поднять верхнюю часть



шкафа, поставить на нижнюю. Он спокойно, без напряжения поднял, поставил. Даже не вспотел. Он – бывший чемпион Вооруженных Сил СССР по тяжелой атлетике.

Лена обожала дедушку, готова была часами слушать его рассказы. И она построила себя с него, стала такой, как он.

Очень тонкая, чувствительная, чрезвычайно эмоциональная и живая, она прирожденная актриса – как моя мама. Прекрасно играла в драмкружке.

Мама ее – сама человек абсолютно нетворческий – всячески поощряла увлечения дочери: ее учили играть на пианино, покупали кучу книг, альбомов репродукций. Маме было приятно, что у нее такая развитая дочь.

Сама Роза Сергеевна абсолютно нечувствительна к искусству: что-то читать, смотреть, слушать для нее – чистая потеря времени. По профессии она строитель. Когда во время очередного скандала она посылала дочь мамом, а та плакала, Роза Сергеевна говорила: «Я строитель! Я всегда с мужиками!»

Но, как ни странно, в своем отношении к дочери, в воспитании – эта грубая, примитивная женщина была очень похожа на мою маму, такую интеллигентную, идеально выдержанную, умную, творческую. И для нее – как и для моей мамы – ребенок компенсировал отсутствие любви, близкого мужчины.

Мама Лены – эмоционально, биологически сильная, энергичная женщина. Лена нет. Очень ранимой, обидчивой, ей было трудно с самой собой. У нее тоже в 16–17 лет оставалось немало комплексов: в том числе из-за своей внешности, склонности к полноте.

Но в 18 лет она начала бегать, стала стройнее. Очень обаятельная, артистичная, умная, живая, с необычной внешностью креолки: шоколадная во всякое время года кожа, пышные каштановые волосы, глаза и зубы блестят – она нравилась мужчинам. И это было – как и для меня – время роста ее уверенности, силы.

Тут мы и начали встречаться.

Чуть больше года – это время нашей любви. Ей 21–22, мне 24–25 лет. Мы действительно полюбили друг друга, по-настоящему. «Родной мой... Ведь ты мой родной, правда?» – я помню, как она сказала это, когда мы поднимались к ней в квартиру. Я называл ее «Ленуся», «Ленуша», – она меня «Вадюша».

Помню, как вскоре после переезда к нам, после свадьбы, мы вместе, взявшись за руки, ходили выносить мусор: нам не хотелось расставаться.

Вспоминается кишиневский вокзал: мы куда-то едем, наверное, в Одессу. Мы сидим рядом. Просто сидим рядом. Я помню это ощущение огромного счастья, наполненности жизни, ее осмысленности – просто от того, что она рядом, что мы вместе. Каждое самое простое слово, поступок, каждая минута жизни наполнились смыслом и счастьем – от того, что мы были вместе.

Не только я ее, и она меня любила. И это непереносимое свойство Настоящей Любви. Она всегда взаимна. Подлинный Свет не может не загореться и в душе того, кого любят: он всегда порождает ответную любовь. Бесплодной, безответной Настоящая Любовь быть не может – любовь ли это к ребенку или к женщине.

Но все хорошо у нас было только до того, как мы поженились.

Можно ли было предвидеть, как нам будет трудно? Да, и очень легко.

Но никто, ни один человек нас об этом не предупредил.

Оба особо чувствительные, избалованные своими мамами и слабые, мы не знали семьи, не имели никаких обязанностей. Ни я, ни она не привыкли заботиться о близких. Полностью обращенные к внешнему миру, очень активные и творческие, мы хотели добиваться чего-то вне своего дома – а близкого человека воспринимали как условие своего эмоционального благополучия. Мы не были эгоистами по отношению ко всем людям, но мы были эгоистами по отношению к своим близким. Так воспитали нас наши мамы.

Помню, как однажды Лена заболела. Я был у нее. Потом пришла Роза Сергеевна. Она бросилась к дочери, стала ее целовать: «Ленушенька!» Мне почему-то стало страшно. Будто крокодил кинулся на мою Лену, – а я не могу двинуться, не могу ничего сделать.

Но самое ужасное: она сама мгновенно изменилась. Только что передо мной была взрослая девушка – она превратилась в маленькую девочку, расслабленно, с наслаждением купавшуюся в жарких лучах материнской любви.

Этот свой детский мирок она очень любила. Ничего не нужно делать, никем не надо быть – просто любимой, обожаемой маминой куколкой. И за это получать любовь и заботу. Погружаться в это родное тепло, как в материнское лоно, ни о чем не думая, ничего не желая.

Забегая вперед, скажу, что через год после свадьбы мы летом отдыхали у бабушки и дедушки Лены, Сергея Мисаковича и Тамары Николаевны (Такуш Нагапетовны), в Кисловодске. Как-то деду Серго попалась в руки фотография дочери, Розы. «Розаночка!» – умильным тоном заворковал он, глядя фотографию. И Тамара Николаевна, обычно скептическая и ироничная, тоже смотрела на фото умиленным взглядом.

Эта была какая-то секунда, несколько секунд, может быть. Но как при вспышке яркого света я понял, как они воспитывали свою дочь. Роза Сергеевна просто повторяла то, что делали с ней в детстве ее родители.



Это мы с Леной. Снимок сделал я сам: фотоаппарат висел у меня на шее.

В любви же ко мне моей мамы была какая-то детская нежность, сделавшая меня беззащитным перед женской любовью. Она никогда ничего не требовала от меня, никогда не ждала ничего для себя. Всегда я видел обращенный на себя ее взгляд, сиявший любовью. Мне ничего не нужно было делать, чтобы эту любовь заслужить.

Конечно, безусловная материнская любовь и должна быть такой. Но у меня не было отца. Не было требовательной отцовской любви. Мне не с кем было себя отождествить, кроме как с мамой. И поэтому были в моем характере черты не мужские: привязчивость, нежность, эмоциональная импульсивность. В работе с детьми они не мешали, скорее, помогали. Импульсивность, вообще очень мне свойственная, также не проявлялась в школе, где я всегда рационален, хорошо владею собой. А я уже судил по себе именно по своей работе. Это было ошибкой.

Поразительно, насколько мы были совершенно не подготовлены к тому, чтобы строить семью. Будто специально предназначенные – разрушить, искалечить жизнь друг другу. У нас были мамы, другие близкие родственники. Друзья, умные, талантливые люди.

Этого никто не замечал. Никто не сказал нам ни слова.

Наши мамы увлеченно занимались квартирой, где нам предстояло жить. Моя мама добилась обмена нашей однокомнатной квартиры с большой лоджией на двухкомнатную, с маленькими комнатками и балконом, в том же доме. Комнаты были смежные, пришлось делать перепланировку, закладывать дверной проём, пробивать дверь в маленькую комнату из кухни. Я – после операции – ничего не делал. Всем занималась мама.

Потом они обставляли квартиру, стараясь перещеголять друг друга. Роза Сергеевна доказала, что она богаче: купила роскошную мебель для нашей комнаты – а мама – довольно скромную кухню. Этой кухонной мебелью я пользуюсь до сих пор, спустя почти 25 лет.

Вот этим они были заняты так, что не поднять головы. Это было очень важно.

Наши приятельницы Лена и Инна Кушнир (дочери Сусанны Гандельман, университетской приятельницы моей мамы), чрезвычайно интеллектуальные девушки, готовили какую-то театральную сценку для нашей свадьбы. Лене шили подвенечное платье.

Все были заняты. Все при деле. Мы сами: я и Лена – тоже ничего не предчувствовали и не предвидели.

ГЛАВА 12.

О Лан и моя мама. Я и девушки. Катастрофа

Есть такое замечательное произведение американской писательницы Перл Бак – роман «Земля». Перл Бак детство и юность провела в Китае, любила эту страну и хорошо знала. И эта книга – о китайском крестьянине Ван Луне. И его жене – О Лан.

Ван Лун – бедный крестьянин. Он взял в жены рабыню из богатого дома. Очень работающая, неутомимая, преданная, как собака, она напоминала ребенка. Она искренне считала свою жизнь ничтожной, себя – не стоящей внимания. Она не умела и не пыталась нравиться, и ее отношение к мужу было именно как у преданной собачки. Ван Лун был доволен ею, но не замечал её и не считался с ней.

Во время китайской революции они от засухи и голода ушли в город. Там бедняки бунтовали, врываются в богатые дома. И так Ван Лун разбогател: О Лан нашла в богатом доме мешочек с драгоценностями и унесла его. На эти деньги Ван Лун купил много земли.

Но потом ему захотелось купить еще. У О Лан остались 2–3 маленьких жемчужины. Она оставила их себе, как ребенок игрушку: единственные красивые, дорогие вещи, принадлежавшие ей за всю жизнь. Она просила мужа оставить их ей, но он грубо отобрал их у нее.

А потом он разбогател, взял в дом вторую жену, красивую и изнеженную. А О Лан продолжала безотказно работать, всё так же носила старую одежду. И Ван Лун не замечал ее. Потом она заболела, и хотя было видно, что ей очень плохо, Ван Луну не приходило в голову позвать врача.

И О Лан умерла. Она просила не тратить много денег на ее погребение, потому что «ее жалкая жизнь» того не стоит.

Для чего я все это рассказал?

Как это ни дико и странно, в моей маме – такой гордой, с таким чувством собственного достоинства, такой умной, талантливой, успешной в своей профессии – было что-то от О Лан. Да, да, – от этой забитой темной униженной китайской крестьянки. Только этого никто не знал, кроме меня, потому что проявлялось это только в отношениях со мной.

Она всегда старалась экономить на себе – и всё купить мне. Если я что-то делал для нее, какую-то мелочь: подавал ужин или – редчайший

случай – сам его готовил – она всегда благодарила как за исключительную услугу. Хотя сама всю жизнь меня обслуживала – и я никогда не благодарил ее, вставая из-за стола. Всегда я видел ее глаза, обращенные ко мне с какой-то детской преданностью.

Почти никогда она не спорила со мной, никогда не вмешивалась в то, что я считал своей жизнью, предоставляя мне полную внешнюю свободу.

И в ее ласках было что-то не женское, а детское. Я говорил уже о ее детской нежности, робкой, чистой, какой-то беззащитно-одинокой.

Бедная! Я был ее единственным близким человеком – за всю жизнь. Всё это так естественно, так понятно.

Но на меня влияло очень дурно.

Я привык заниматься своими делами и увлечениями, не обращая на нее внимания. Когда я болел, она всегда была рядом: не ела, не спала – и это воспринималось и ею, и мной как нечто само собой разумеющееся. Когда болела она, я совершенно не интересовался ее болезнями – и если что-то и делал для нее, то только по особой просьбе. А просила она редко, только в случае крайней необходимости.

И эта бесконечная преданность, эта полная самоотверженность ради меня, это тепло, эта ласка, эта огромная нежность – как свет солнца, как воздух, давались мне даром. Зачем задумываться, почему это всё есть и существует именно для меня? Это моя мама. О чем тут еще говорить?

От меня она не ждала ничего, не требовала ничего, ничего не хотела – даже любви. Только бы я был с ней, только бы мы были вместе. Я был условием ее жизни, ее душевного равновесия. У нее был ребенок – и она не чувствовала своего одиночества.

А она была условием моей жизни. И я привык не замечать ее – как не замечал солнца. Я жил – благодаря тому, что существовала она. Но не умел и не пытался научиться жить и ДЛЯ НЕЕ, заботиться О НЕЙ. Мне не приходило это в голову.

Я знал, что мама любит меня, всегда будет любить. Что я ее тоже люблю, и так будет всегда. Что ей ничего больше не нужно от меня.

И я был прирожденным творческим человеком, увлеченным, уходившим с головой в то, что меня увлекало.

При этом я не был эгоистом – в отношении других людей. Я всех старался понять. Я любил отдавать и заботиться. О ком угодно. Но не о маме. А она была моим единственным близким человеком.

Точно такая же обращенность к внешнему миру – открытость, желание отдавать себя другим, формально чужим, людям – была свойственна и Лене. И точно такой же эгоизм – в отношении близкого, того, кто рядом, кто предназначен персонально для меня, для обеспечения моего существования. И это тоже воспитала в ней мама, ее мама.

Но мы не знали ничего другого и ни на минуту не задумались: что же нас ждет, когда ее близким стану я – а моей близкой – она? Мы любили друг друга. Нам было хорошо вдвоем.

Брошенные будто на растерзание друг другу – мы собирались жить вместе до конца дней и не сомневались в своем счастье.

Два слепых ребенка, окруженные не менее слепыми родственниками и друзьями, мы были обречены. Но откуда нам было это знать?

Я уже говорил, что в детстве очень боялся и стеснялся девочек.

Конечно, мне нравились некоторые девочки, а потом – девушки, но преодолеть внутренний барьер – обнять, поцеловать девушку – я не мог. Я вел с девушками бесконечные разговоры, но не мог отважиться на решительные действия.

Во время своей последней болезни мама много вспоминала. Она рассказала об учителе Ваду-луй-Водской школы, с которым играла на сцене. Фронтвик, красавец-мужчина. Но неудачно женился, а дети рождались чуть не каждый год. Жена – некрасивая, скандалистка. И он, русский человек, стал пить. Даже не гнушался, пропив все деньги, ходить по селу, напрашиваясь на угощение в домах своих учеников.

Это был очень способный, умный человек. Артистически одаренный. В том самом спектакле «Платон Кречет», где маму впервые увидел Алексей Иванович Шведов, ее партнером был именно он. К сожалению, имя его я забыл.

Так вот, мама рассказывала, как они порой долго гуляли по берегу Днестра, беседуя на разные темы – и он, восхищаясь ее суждениями, называл ее «умнейшей женщиной в мире».

Это очень напомнило мне мои отношения с девушками.

Она, красивая молодая женщина, гуляла с этим красавцем, своим сценическим партнером-любовником, в пустынных местах – а он не любил свою жену. Однако они только разговаривали. И очень умно разговаривали! Точно так же вел себя и я. Хотя мне хотелось не только разговаривать – но я не мог преодолеть свою неуверенность, которая, как стена, стояла между мной и девушкой.

Когда я в первый раз поцеловал Лену (забавно: это было на Днестре и в Ваду-луй-Водах, куда мы вместе поехали на целый день), я предварительно спросил ее напряженным голосом:

– Что бы ты сделала, если бы я тебя поцеловал?!

Какого ответа я ждал? «Я тебя убью!» – наверное, такого. Но она совершенно спокойно сказала:

– Знаешь, тогда я, наверное, сама тебя поцелую.

Очень привязчивый по натуре, я, конечно, страшно боялся ее потерять. Ведь я у нее был не первый.

Хотя в каком-то смысле я был у нее первым: первым, кто настоящему полюбил ее.

Оказавшись вместе, в одной комнате, мы сразу стали отдаляться друг от друга.

И она, и я были устроены как радары, предназначенные для обнаружения самолетов на дальнем расстоянии: они замечают птицу, летящую высоко в небе, но не способны видеть то, что происходит рядом. Все наше внимание предназначалось внешнему миру. Лена, дефектолог по профессии, только что начала работать. Я также работал первый год учителем. И мы были очень увлечены своей работой, отдавая ей все силы и время.

Наша комната ни ею, ни мной не воспринималась как своя. Это был Музей имени Розы Сергеевны. Напомню: именно она ее обставила. Но вкус Розы Сергеевны – и вкус Лены, и мой вкус – это три очень-очень большие разницы. Пошлая роскошь обстановки претила и ей, и мне. Мы чувствовали себя словно в каком-то чужом и чуждом нам месте. Однако оба плохо понимали, в чем дело.

Нужно было купить нам раскладушки и стол с парой простых стульев – и дать возможность самим заработать и самим обставить свою комнату. И у нас была бы цель – и комната стала бы своей. Но кому бы это пришло в голову?

Лена не могла работать на кухне: мама с присущей ей железной последовательностью ее оттуда тихо вытесняла. Моя мама – классный руководитель Лены. Для нее она была – и остается до сих пор – любимой учительницей и огромным авторитетом. И это стало гигантской проблемой: мешало не только спорить, бороться – но даже осознать, что Людмила Ильинична вообще может вести себя как-то не так.

Тем более, что мама умела великолепно владеть собой и внешне держалась идеально, исключительно доброжелательно. Они часто и подолгу дружески беседовали на той самой кухне, которую мама отвоевала для себя.

Я всё это как-то краем глаза замечал, но значения не придавал – и маме ничего так и не сказал. Впрочем, это вряд ли помогло бы: она отличалась редким упорством, да и упрямством. А тут речь шла об отстаивании своего жизненного пространства – что было очень важно для нее. Она бы со мной согласилась на словах – но продолжала гнуть свою линию. Хотя я в любом случае должен был забеспокоиться и попытаться что-то сделать – но не пошевелил и пальцем. Я с головой ушёл в свою работу: первое классное руководство, первый – свой собственный – класс.

Лена чувствовала, что я стал каким-то другим. Нет уже того восторженного влюбленного, который только ее одну фотографировал, только ею жил. Сделать вывод, что это вполне естественно, она не смогла: ее это обижало. Ведь я теперь уже был её собственностью, её близким – значит, предназначался только для неё. И вдруг я на нее почти не обращаю внимания.

Но я не понимал, что ДЛЯ НЕЁ стал другим: я чувствовал себя тем же, прежним. Я достиг своей цели: она вышла за меня. Теперь она моя – и можно спокойно заняться другими делами. И всё это совершенно не осознавалось.

Я чувствовал, что какой-то другой стала она. Раньше ей хотелось мне нравиться, и она инстинктивно, как всякая женщина, поворачивалась ко мне наиболее привлекательной стороной. Хотя и прежде я замечал, что в ней будто два человека: один – «моя Лена», умная, тонкая, глубокая, человечная; другой – что-то вроде клона Розы Сергеевны, ее мамы, только в ухудшенном варианте. Слепая жадная эгоистка.

Этот второй человек – Роза Сергеевна № 2 – искренне верил, что цель жизни – своё удовольствие, и ради своего удовольствия разрешается всё что угодно. Когда-то она, гуляя по городу, ела вишни под дождем. В Кишиневе вишни растут прямо на улицах – и их можно срывать и есть. Вот эти «ВИШНИ ПОД ДОЖДЁМ» стали для Лены № 2 неким символом чувственных удовольствий – и представлялись главным содержанием жизни.

И после свадьбы на первый план всё чаще стал выходить этот, второй, человек в ней. Я не догадывался, что сам виноват в этом. Мне просто не приходило в голову вести себя иначе.

Лена в семье своих родителей привыкла к диким скандалам. Не только отец и мать так выясняли отношения. Когда ее мама бывала недовольна своей «Ленусенькой», она также не стеснялась в выражениях, а дочь, страшно обидчивая и зависимая от мамы, от этого очень страдала. Но сама тоже не привыкла сдерживаться. Иным способом разрядки отрицательных эмоций она не владела.

Когда я впервые увидел это – у нас в комнате – я был в шоке. Она не похожа на себя, как безумная. Выбрасывала вещи из шкафа, топтала их. Ничего не видела, не слышала.

Моя мама, когда о чем-то меня просила, всегда говорила «пожалуйста». Она ни разу за всю жизнь не повысила на меня голос. Для меня это было страшной дикостью – и что делать, я не знал.

Ложное понимание чувства собственного достоинства, чистая и искренняя детская обида и просто растерянность – приводили к тому, что я уходил на кухню и сидел там. Вместо того, чтобы обнять ее, поцеловать и успокоить.

Она на это страшно обижалась, так как воспринимала моё бегство как уход ОТ НЕЁ к МАМЕ. И была совершенно права. Да, я не заходил в мамину комнату и ничего ей не говорил – и она мне ничего не говорила, хотя, несомненно, многое слышала и о многом догадывалась. Но такова была ее тактика: не вмешиваться. Однако я уходил – от ценностей семьи Лены – к ценностям своей семьи, к ценностям своей мамы. То есть – от жены к маме: так она это понимала. И, повторяю, была права. Но я был уверен, что прав: она ведь ведет себя неприлично – а я прилично.

Кстати, свой первый скандал в нашем доме Лена закатила из-за ножа, который куда-то делся, и она почему-то была уверена, что виноват в этом я. А я его и не видел. Разумеется, такая ужасная несправедливость не могла не вызывать у меня опять же чистого и искреннего детского возмущения.

Что Лена – мой самый близкий человек на всю жизнь, и я должен научиться жить с ней – такой, какая она есть – это мне не приходило в голову.

Впрочем, если бы я вел себя минимально разумно: пусть не обнял и не поцеловал – но хотя бы не уходил, а имел мужество выдержать всё до конца, оставался бы с ней – она бы очень быстро изменилась. Очень соvestливая и порядочная, глубоко меня любившая – она и сама понимала, что ведет себя неправильно, но пока не умела иначе. Нужно было просто потерпеть – но даже на это я не был способен.

Иногда бывали у нас светлые часы: Лена такая хорошая, теплая, милая. Однажды – после такого вечера – мама сказала мне:

– Иногда она бывает хорошая!

Оценить всю силу и тонкость этой фразы мне тогда было не под силу. Если ИНОГДА бывает хорошей, то КАК ПРАВИЛО – плохой. Это очевидно. Хотя мама и сама не осознавала того, что сказала. Но это была очень острая и тонкая шпилька. Именно потому, что она подчеркнута не вмешивалась в наши отношения, никогда ничего о ней и о нас не говорила, на меня эта фраза очень подействовала. Я всё ещё оставался во многом зависимым от нее.

А Лена очень зависима от своей мамы. Когда мы поженились, Роза Сергеевна была довольна. Она устала от дочери, от постоянных ссор – ей хотелось отдохнуть. Но потом ей стало скучно без любимой игрушки. И Лена тут же стала уходить – к маме.

Иногда она убегала среди ночи. Из-за чего – не могу вспомнить. Ни из-за чего. Просто так. Иногда просто не приходила домой.

Это стало привычным. У меня вроде бы была жена – но ее не было. Она чаще всего оставалась у мамы.

Лена, в отличие от меня самого, видела мои главные недостатки: редкую непрактичность, житейскую никчёмность, инфантильность и ненадежность, из-за которой она не могла почувствовать во мне прочной опоры. Она видела, что я пока еще не Мужчина – скорее талантливый и интересный мальчик, подросток. И именно она могла бы многое сделать, чтобы я изменился. Но для этого ей нужно было быть надежной самой.

Уверенность, что она всегда будет со мной, для меня имела решающее значение. Я больше всего боялся ее потерять. Этого она не поняла. Живя у мамы – вроде бы моя жена – она продолжала встречаться со своим прежним любовником, Колей, хотя у нее не было с ним никакой духовной близости – их только физически влекло друг к другу. Ходила к нему домой. И сообщала об этом мне – уверенная, что имеет на это право. Так думал второй человек в ней, который всё больше брал верх.

Как-то в шутку она сказала, что ей нужно 4 мужа: один будет зарабатывать, другой убирать, стирать и готовить, третий будет возлюбленным, четвертый – для духовного общения. Это была не совсем шутка. Она ис-

кренне верила – второй человек в ней верил – что муж должен быть идеальным персонально для нее и притом сразу. И не собиралась ждать.

Мы оба страдали. Оба не знали, что делать. Обе наши мамы вели себя самым безумным образом, будто радовались разрушению нашей толком еще не возникшей семьи.

Приближался Новый год, 1989. Мы поженились в 87-м. Лена уже три месяца не показывалась у нас, жила у мамы. Я давно не видел ее, страшно измучился. Что делать, я не знал. 31 декабря она позвонила и веселым детским голосом спросила, есть ли у меня елочка. Я сказал, что есть. Она сообщила, что из Бельц (Лена родилась в этом городе) приехала ее подруга Надя, и они придут КО МНЕ встречать Новый год. Я был этим совершенно потрясён. И вдруг – неожиданно для меня самого – у меня вырвалась безумная фраза. Я сказал: «Может быть, нам лучше развестись?»

Именно этого я боялся больше всего: больше смерти, больше любого самого ужасного несчастья. Как я мог это сказать? Не знаю.

Она страшно обиделась и положила трубку. Через два часа я звонил ей, извинялся, кажется, даже плакал. Она не хотела ничего слушать.

Я по-прежнему не видел ее. Звонить Розе Сергеевне, узнавать, как там моя жена, считал для себя унижительным. Ночами я не спал, бродил по городу, разговаривая сам с собой.

Это должно было плохо кончиться – и кончилось очень плохо. Ночью я пришёл к ней, она была у своей мамы. Меня не хотели пускать – но я так колотил в дверь, что мог ее выбить: мне открыли. Я оказался в комнате. Лена спросонья обняла меня: «Вадошенька, милый!» но я уже ничего не понимал, не воспринимал. Я скомандовал ей одеваться и идти со мной. Она оскорбилась, заявила, что, если я буду так себя вести, она пожалуется отцу. Это было феноменально нелепо: отец ее давно жил в Нижневартовске. И тогда я ее ударил.

Потом какие-то женщины, видимо, соседки, отрывали меня от нее. Потом приехала милиция. Когда она приехала, в голове у меня прояснилось. Но я все-таки плохо помнил свои собственные действия. Насколько пострадала Лена, я не знаю до сих пор.

Они подали на развод. То есть – Лена и ее мама. Никаких имущественных споров не было, детей не было – но развод происходил в суде. Лена, с каким-то странно гладким, будто пластмассовым, лицом, сказала судье: «Я не хочу с ним жить!»

А я понимал, что не могу жить без нее. Но что я мог сделать?

Но что же моя мама? Ничего. Она по-прежнему ни во что вмешивалась. Только однажды она сказала:

– Теперь она тебя боится!

И мне почудилось в ее голосе какое-то странное удовлетворение, даже торжество.

На меня всегда действовали ее слова. Боится?! Я так виноват перед ней! Значит, надо сделать, чтобы не боялась. Надо уехать.

СВЕДЕНИЯ				О РАБОТЕ		
№ записи	Дата			Сведения о приеме на работу и увольнении	работу, перемещения по (с указанием причин)	На основании чего выписана запись (документ, его дата и номер)
	Год	Месяц	Число			
9	1889	09	01	Обоимеро- дринской уездной м.р. с.и.ч. Приозерская	от замещения в с.с.и.с. м.р.с. м.р.с. средняя школа	№ 264 от 26.08.89
10	1942	09	10	Принята учителем по контракту Триполье - 13 разряд (Технопарк, 7-е здание - м.р.с. учитель)	русского языка и литературы (Технопарк, 7-е здание - м.р.с. учитель)	Приказ № 483 от 10.09.1942.
11	1996	02	09	Уволена по собственному желанию Директор школы	на пенсию Ф.И. Рязань	Приказ № 1 от 9.02.1996.

Это был чистый импульс. Сбежать оттуда, где у меня ничего не получилось. Начать на новом месте, с чистого листа.

Это было безумие. Я очень любил Кишинев, свой родной город. Мама его тоже очень любила. Там были все ее ученики, коллеги. Там все было пронизано воспоминаниями, всё помогало и поддерживало.

Но я и не думал об этом.

Лена! С ней были связаны все надежды, вся жизнь. Она ушла – и всё оборвалось. Захлопнулись двери моего счастья.

Что оставалось мне? Чем теперь жить? Только любимой работой, только школой, детьми. Я учитель русского языка. Значит, надо ехать в Россию.

И я стал посылать письма в отделы образования по всей России. Мама видела это, видела мое состояние. Но не вмешивалась. Ни слова не сказала она, не возразила ни единым звуком против моих безумных планов.

Такой всегда была ее позиция: соглашаться со всем. Никогда не спорить. Быть всегда с любимым сыном. Следовать за ним куда угодно: хоть в Дантов Ад – если мне вздумается туда спуститься. Да, кстати, Россия оказалась очень похожа именно на Дантов Ад. «Оставь надежду всяк сюда входящий» – очень подходящий девиз для этой чудовищной страны.

Но что я тогда знал о России? Я читал Чехова, Салтыкова-Щедрина. Так это ведь всё было еще при царе. Я совершенно не понимал, куда еду, что меня ждет, ничего не предвидел. Я хотел убежать: от этой боли, от этой страшной душевной раны.

Нужен был кто-то, кто остановил бы меня. Но никого не было. Некому было сказать разумного слова.

И я нашел-таки работу в России. Я сказал маме, что работа есть в городе Приозерске Ленинградской области. И я решил, что мы едем туда. Она не спорила, она готова была на что угодно, лишь бы быть вместе со мной.

Был конец лета. Мы уже готовились к отъезду.

Мама пошла на рынок.

Она уже уволилась с работы. Кончилось то, что было главной радостью, главным смыслом ее жизни. В ее трудовой книжке появилась запись: уволена в связи с уходом на пенсию. Ей предстояло бросить всё, что она любила, к чему была привязана: квартиру с милой, маленькой комнаткой. Близких, знакомых, учеников. Этот ставший дорогим и родным город, с которым столько связано, где прошли лучшие годы. Ехать в полную неизвестность, в маленький городок, где ни одного знакомого. Ей 60 лет.

Я вышел из подъезда, собираясь на почту, отправить телеграмму в Приозерск о своем приезде. И увидел ее. Она возвращалась с рынка, с полной сумкой. Был ясный, солнечный день. Она жмурилась от солнца, она улыбалась. Она не оглядывалась назад, ничего не боялась. Она радовалась этому солнцу, ясному дню, тому, что она здорова, идет по улице, видит деревья, людей.

Она ехала СО МНОЙ. Ей ничего больше не нужно было.

Кончилось одно из двух главных дел ее жизни – любимая работа, школа. И она не пожалела ни на минуту об этом. Ну что ж! Зато осталась вторая радость – мой сын. Он снова со мной. Больше никто не стоит между нами, соперница ушла. Мы снова вместе. Так не всё ли равно, где жить, куда ехать.

И она – как и я – даже не задумывалась о том, что нас ждет.

А я стоял и смотрел на нее. 60 лет! Это было уже заметно в ней. Она всегда слегка сутулилась, но сейчас согнулась, неся тяжелую сумку. Моя мама стареет. Я впервые так ясно увидел это.

Одаренный в высшей степени способностью эмпатии, я совершенно ясно почувствовал ее внутреннее состояние: эту чистую детскую радость – я иду по улице, я свободна, солнышко светит, жизнь продолжается – на что же мне жаловаться? Мне хорошо, я счастлива!

Такой она оставалась до самого конца. Когда она умирала, переложив подушки так, чтобы можно было смотреть в окно, она легла и тихо, радостно улыбнулась: «Небо чистое!» Оно было чистым в тот момент: ведь она умирала тоже летом – только спустя 22 года после того кишиневского ясного дня, когда она шла с рынка.



И чувство острой жалости и любви, как током, пронизало меня всего. «Мамочка моя! Мы всегда будем вместе. Я люблю тебя. Я никогда не оставлю тебя».

Нет, не было такой ясной, четкой мысли – было только чувство, мгновенное, острое, как боль. Мы будем вместе с тобой, мама. Раз ты так хочешь – пусть будет так. До самого конца.

И это сбылось.

ГЛАВА 13.

Наш Кишинев.

Георгий Иванович и Миша. Лена Кушнир

Очень трудно объяснить, что такое для человека «родина». Обычно мы понимаем это слово формально – как место, где родились.

Я родился и прожил первые 28 лет в Кишиневе. Мама жила в Кишиневе в 1940–41 гг., несколько месяцев. И потом с 1960 по 1989 годы: 30 лет. Тридцать лучших лет ее жизни, наполненных любимой работой. И в эти годы у нее родился сын.

Я говорил уже, что Кишинев расположен на семи огромных холмах. Я всегда любил старые кварталы Кишинева, где каждый дом, каждый дворик имел собственный облик.

Мы иногда с мамой заходили к дяде Грише – тому самому, который «Сюня». У него была очень странная квартира в старом доме. Крошечный дворик, куда нужно подниматься с улицы, как на гору: через узкие ворота и по такой же узкой, вдоль стены дома, тропинке – наверх. Во дворике – скамейка, беседка и одна вишня, – но было ей, наверное, 50 лет. Дядя Гриша – доктор наук – лазил по своей вишне несколько воскресений подряд, для чего во дворе у стены дома, под окнами, валялась длиннейшая лестница. Тётя Фира варила варенье на всю зиму. Моя мама тоже варила варенье, и тоже на всю зиму. Другие родственники тоже варили варенье, ели, угощали своих знакомых. Однако дядя Гриша всё равно очень переживал: он не знал, куда девать оставшуюся вишню. Она портилась, гнила. Это была проблема! Кроме того, значительная часть ягод оставалась на дереве, потому что дяде Грише все-таки было далеко до Маугли: он не мог их достать.

Квартира его располагалась в полуподвале: ступеньки со двора вели довольно глубоко вниз. Коридор, кухня, две комнаты. Сначала вы попадали в длинный и узкий, как кишка, коридор. В одну сторону шло ответвление кишки, плавно переходившее в довольно большую кухню. Она находилась почему-то почти на метр выше коридора, так что надо было снова подниматься по ступенькам. Большая комната, по коридору направо, наоборот, – еще ниже коридора, совсем подвальная. Огромных размеров – метров 50 квадратных, как зал. По всем стенам – полки с книгами. Дядя Гриша был книголюб: он выписывал всё, что выходило в СССР, все пол-

ные собрания сочинений. Одно из них, Романа Роллана, до сих пор стоит у меня на полке: это его подарок.

Маленькая комната – налево, в другом конце коридора-кишки – совсем крошечная, метров 6–7. Там живет тетя Фири. И это рабочий кабинет дядя Гриши. Тут он по ночам читает, пишет, выпивая литры черного, как заварка, чая, и выкуривая по несколько пачек сигарет. Здесь тоже полки – до потолка: они забиты справочниками и журналами, в основном, на английском языке.

В таком примерно доме – только в гораздо худшей квартире – жил и мой дедушка.

Мы жили в современных домах, сначала на Рышкановке, на улице Димо, в низком месте, в ложбине между холмами. Потом – на Новых Боюканах, на улице Энгельса, на самой вершине холма.



*Наша улица – Энгельса,
возле нашего дома*

Возле нашего дома, со стороны улицы, кто-то посадил один куст винограда, бахмута. Когда мы переехали из однокомнатной в двухкомнатную квартиру, виноградные ветки уже добрались до нашего балкона и вились дальше, на четвертый этаж. Всё лето мы пили сок из этого бахмута, туда только надо было класть много сахара, потому что он страшно кислый.

Недалеко – Старые Боюканы, с обшарпанными одно и двухэтажными домиками, где прямо на улицах росли вишни, абрикосы, шелковицы.

Мама очень любила Кишинев. И я его очень люблю до сих пор. Там всё пронизано, пропитано нашей жизнью. Комсомольское озеро. Сейчас его нет, его засыпали. Но тогда, когда мы уезжали, оно еще было. Его вырыли лопатами комсомольцы, в их числе – моя мама. Сколько связано у меня – и у нее – с этим красивейшим озером. В парке, окружавшем его, мы когда-то встречались с Леной. Там, в Летнем театре, мы сидели рядом, слушая молодого Розенбаума.

Центральный парк, тот самый, где мама гуляла в 17–18 лет с Софией. Рышкановка. Наш двор. Дворец культуры профсоюзов, где был наш фотоклуб. Ботаника. Театр Юрия Аркадьевича Хармелина, где мы с мамой столько раз бывали. Юрий Аркадьевич, маленький, какой-то очень домаш-

ний, всегда встречал зрителей у входа в театр и всех своих знакомых, даже шапочных, сам провожал и рассаживал на удобные места.

18-я школа. Сад, где мама фотографировалась с драмкружковцами. Прямая, как стрела, улица Энгельса, по которой мы столько раз гуляли вечерами. Сколько говорящих, особых – только нам понятных и близких – мест и названий.

И эти улицы, эти дома, знакомые с детства – незаметно для нас подерживали, укрепляли внутреннее чувство постоянства, длительности своей жизни, связи с землей, на которой мы родились. Наш город. Наше место на Земле. Где и деревья, и жаркое солнце, и летние ливни, когда узкий проход под нашей лоджией превращался в бешеный горный поток в полметра глубиной – всё помогало жить и дышать. Мы привыкли к этому. Как привыкает человек к чистому воздуху и ясному небу.

И забыли, как это важно – не потерять родину. Мы сами отказались от нее.

С тех пор мы жили в двух городах: Приозерске и Петрозаводске. Но полюбить их по-настоящему так и не смогли.

Но многое, слишком многое подталкивало меня к отъезду. Не только страшная боль от разрыва с Леной.

Именно тогда – в первые годы перестройки – в Кишиневе началось нравственное разложение, всегда сопровождающее все «социальные революции». Одной из первых его жертв стал Георгий Иванович Унгуряну, отец моего друга Миши Унгуряну.

Георгий Иванович имел обманчивую внешность. Среднего роста, казавшийся приземистым из-за могучего телосложения, широких плеч, с большой головой, тяжелым массивным подбородком, маленькими глазками – этаким медведь. Он долгие годы проработал актером в молдавском драматическом театре и играл, главным образом, кулаков и бандитов. Внешность его вызывала почтительность, даже некоторый страх.

На самом деле это был простой, очень добрый и даже чрезмерно мягкий человек. Он родился в деревне. Очень тянулся к культуре. Женился на молодой учительнице. Сам работал в местном клубе. И там его нашли рекруты из ГИТИСа, ездившие по стране в поисках «национальных кадров»: такая была тогда кампания в СССР. Он – то, что актеры и режиссеры называют «хороший типаж». К тому же директор клуба, рвался к культуре. Георгий Иванович – потомок многих поколений молдавских крестьян. Образованность казалась ему путеводной звездой, символом счастья и успеха.

И он закончил ГИТИС, уже в довольно солидном, под 30 лет, возрасте. И, вернувшись на родину, стал актером академического театра в центре Кишинева. Долгое время возглавлял профсоюзную организацию этого театра. Снимался в кино. Жена его, учительница физики, работала в одной

из лучших молдавских школ. Сын, Миша, закончил молдавскую школу № 1 с преподаванием ряда предметов на французском языке.

Какая блестящая карьера! Какой жизненный успех! Но Георгий Иванович был глубоко несчастным человеком.

У него не оказалось ни малейших актерских способностей, никакого призвания к сцене. Он это скоро понял, – но семья: жена, сын – это для него было святое. Бросить всё? Вернуться в село? Невозможно. И он тянул лямку, всю жизнь.

Как-то мы сидели у них за столом, ели, кажется, чоламу – молдавское блюдо из утиного мяса, невероятно калорийное – с мамалыгой. Вообще в этом доме любили покушать. Я спрашивал Георгия Ивановича о репетициях нового спектакля, он отвечал неохотно. Я спросил, чего хочет режиссер, каков его замысел. Георгий Иванович мрачно вздохнул:

– Он сам не знает, чего хочет.

Прожевал изрядный кусок мяса, какого мне хватило бы дня на три, и добавил:

– Он хочет показать, что он самый умный.

Он не любил свою работу. Эта тяга к культуре, к образованию – оказалась миражом. По призванию он был крестьянин, агроном. Обожал землю и всё, что растёт на земле. Но даже огорода у них долго не было.

И с женой его, которую он выбрал за ее культурность и образованность, – вышло тоже типичное не то. Суевливая, вечно погруженная в домашние хлопоты, она старалась делать всё идеально, как положено – убеждая себя в своей добродетельности. Но не замечала своих близких. Что-то чудилось в ней мистически ужасное, какая-то внутренняя пустота. Словно это не человек, а робот. Хотя внешне она симпатичная. Георгий Иванович не только не любил ее, но и не уважал, порой в его тоне при обращении к жене проскальзывало довольно явное презрение.

В 45 лет он заболел раком, но могучий организм выдержал, он выжил. А потом началась перестройка, у них появилась дача. То есть просто участки земли за городом. И Георгий Иванович стал пропадать там. Он ездил туда на велосипеде, часто оставался ночевать во времянке.

Как-то я зашел к Мише, его не оказалось дома. Георгий Иванович, стоя в дверях, рассказывал о своем огороде. Совсем другим тоном, чем о театре – улыбаясь, что при его внешности выглядело странно.

Потом он сказал:

– Вот так! Буду стараться пожить подольше!

То есть – огород поможет пожить подольше. Что еще ему оставалось в жизни? Сына он любил, но он уже был взрослый, женился и жил отдельно от родителей.

Я хорошо понимал его. Мне хотелось зайти, поговорить с ним, как-то согреть. Но я не решился: мы прежде не были близки. Он солидный человек, уже немолодой. И я решил: в следующий раз. Некуда спешить.

Я вижу душу этого человека, я сочувствую ему – и рано или поздно мы обязательно поговорим по-настоящему.

И я попрощался и ушел.

Спустя несколько дней Георгий Иванович погиб. Он возвращался с «фазенды» на велосипеде, поздно вечером. Ехал вниз по склону холма, по асфальтовому шоссе. И сзади на него налетел тяжело груженный фургон. Съехать с дороги в том месте невозможно: по сторонам – довольно глубокие канавы.

Водитель не остановился, уехал. Георгий Иванович, весь окровавленный, с залитой кровью головой, встал и пошел к городу. По дороге ему встретилось множество людей. Мимо проезжали машины. Но никто не остановился и не пришел ему на помощь.

Он был физически очень сильный, могучий человек. Он дошел до ближайшего телефона-автомата и позвонил Мише. Дома была его жена, Лена. Она вызвала «Скорую». Но когда «Скорая» приехала, спасти его уже было невозможно.

Если бы сразу после наезда его кто-то подобрал и отвёз прямо в больницу, он мог бы выжить. Почти час он шёл, истекая кровью, с пробитой головой – до первого городского автомата. Шёл по оживленному пригородному шоссе. Сотни водителей видели это. Но ни один не затормозил. Он шёл словно в пустыне.

Я помню странное чувство, возникшее у меня, когда я узнал об этом. Мне почудилась рука, протянутая с Неба. Слишком мягкий, слабый человек, он совсем запутался в этой жизни. Ему давно следовало вернуться в село. Там было его настоящее место. Но он не мог решиться оставить городскую квартиру, престижную работу, нелюбимую жену. И вот – рука протянулась – и всё распутала, разрубила узел его жизни.

А он собирался «пожить подольше» – благодаря даче. Эта дача его и убила.

Нет, конечно, я понимаю: Он, который там, на Небесах, не вмешивается в людские дела. Всё произошло естественным путём. Водитель фургона был, наверное, пьян. Ведь молдаване – самый пьющий народ в мире. Когда он сбил человека, испугался и удрал. Тоже в порядке вещей. Почему никто не остановился? Георгий Иванович молчал, не просил помощи. Он просто шёл. Да, шатаясь. Да, было видно, вот-вот упадет. Наверное, думали, что пьяный. Он был залит кровью? В сумерки можно не заметить, тем более, проезжая на машине. Всё вполне естественно.

Но очень явственно я тогда почувствовал эту руку. Было ощущение какой-то несомненной уверенности: да, это так. Не случайно он погиб. И огромной жалости – и стыда. За то, что я тогда ничего не сказал ему, не преодолел себя, не смог – и вот, его нет. Я не сказал то, что обязательно должен был сказать, не сделал того, что должен был сделать. И этого уже нельзя исправить.

Вскоре после смерти Георгия Ивановича я потерял и Мишу.

Нет, он не умер физически и, надеюсь, жив до сих пор и проживет еще долго. Но то, что с ним случилось тогда, можно назвать смертью духовной.

Миша очень привязчивый, ранимый и внутренне одинокий человек. Кроме меня, об этом никто не знал. Кажется, не знал и он сам.

Он расстался со своей первой девушкой, Раей, потому, что она, властная и деспотичная, хотела иметь мужа-слугу, из которого можно веревки вить. Это была очень красивая и умная девушка. Миша к ней очень привязался, но пережил разрыв сравнительно легко.

Сломала его вторая любовь, вторая его девушка – Радика. Милая, смешная, инфантильная, как маленькая девочка. Миша опекал ее как ребенка: он вообще любил опекать, заботиться. И страшно к ней привязался. Вот Миша с Радикой: посмотрите внимательно. Всё написано на его лице.



Почему они расстались? Не знаю. Она по детскому легкомыслию не понимала, какая огромная ценность – такая привязанность, такая исключительная преданность.

И это его сломало. Он перестал верить в любовь, в счастье. И вскоре женился без любви. Жену его все звали «Ленуца» (Леночка). Она тогда только что поступила в пединститут, где Миша уже работал преподавателем. Была хорошенькая, писала стихи. Он не любил ее, но увлекся сначала. Вскоре она забеременела. Деваться было некуда: она из села, из большой семьи.

Но то, что любви нет и не будет, скоро стало понятно и ей. Нужен был сильный характер, чтобы порвать, уйти. Она не решилась на это. И смирилась.

И Миша очень опустил. Он ушел из пединститута, где хорошо и интересно работал. Занимался какой-то мышшиной возней: работал на курсах молдавского языка для «русскоязычных» – бессмысленная работа только ради денег. Страшно растолстел, стал со спины похож на беременную женщину. У него появилось равнодушие ко всему, какая-то эмоциональная тупость, которая ему самому, видимо, представлялась зрелостью. Он видел, как гибнет наша с Леной любовь, наша семья – но не пошевелил и пальцем. А он был свидетелем на нашей свадьбе, моим лучшим другом.

И тогда я действительно – как потом сказала мама – «выгнал» его. Иначе мне трудно было оторвать его от своего сердца. Я тоже очень привязчивый. И не очень сильный, увы.

Сейчас я думаю, что это очень некрасивый поступок. Да, он опустил. Но сам не догадывался об этом. Не понимал, что с ним происходит. Я не

попытался ему помочь – а просто выгнал. А он ведь не сделал мне ничего плохого. И был моим лучшим другом.

Это была тоже очень тяжелая потеря для меня.

Другой свидетель на нашей свадьбе – Лена Кушнир. Она дочь Сусанны Гандельман, маминой университетской приятельницы.

Лена Кушнир появилась у нас дома, когда мне исполнилось 20 лет. Она тогда только что закончила ВГИК (Высший государственный институт кинематографии в Москве), вернулась домой, в Кишинев. Собиралась устроить в городе серию «хэппенингов» (я, конечно, не знал, что это такое) и искала людей для этого благого дела.

Лена Кушнир поражала своей напористостью. Говорила она, как на митинге, слова выскакивали из нее, как из пулемёта. Высокая, красивая, с типично семитскими миндалевидными глазами, но какая-то холодная: невозможно представить себе, что такую девушку можно обнимать, целовать.

Не могу сказать, что она мне понравилась. Но я был заинтригован: что она такое затевает? И так мы на долгие годы стали приятелями. Потом я свел с Леной и ее верным оруженосцем и сестрой Инной и мою Лену. Потом в нашей бесшабашной компании появился Володя Шиманский, интеллигентный мальчик. Он чем-то напоминал меня самого – лет в 17.

Первый «хэппенинг» Лены Кушнир был такой. Из фанерных щитов сделали длиннейший «стол», на котором стояла всякая всячина: посуда, чемоданы, валялась какая-то одежда, там же сидела собачка Альмочка, черная, кудлатая, как овца, очень интеллигентная. Перед показом фильма в кинотеатре этот стол вносили в зрительный зал и медленно, очень медленно, с деловым видом, несли через него. Я тоже нес, а кто были остальные, не знаю: их всех где-то «надыбала» (ее любимое словечко) Лена Кушнир. И вот в какой-то момент один конец стола уже скрывался в дверях, а другой – еще не вылез с другой стороны, и стол казался бесконечным. В этом именно и заключалась вся соль «хэппенинга», который, как объяснила нам Лена Кушнир, неизбежно должен был вывести зрителей из их обычного совкового состояния и ввести в такое состояние, в котором они будут способны воспринять новые веяния в искусстве.

Потом было еще много других «хэппенингов». После одного из них – в вестибюле университета, того самого, который окончила моя мама – нас даже арестовали и доставили в КГБ. Это была редкая честь. В КГБ Лена Кушнир произнесла длиннейшую речь о сущности «хэппенингов» и их роли в современном искусстве, никому из «чекистов» не дав вставить слова – в общем, они были страшно рады, когда Лена выговорилась и решила попрощаться. Мы все были тоже рады, но по другой причине, и отклонялись вместе с ней.

Потом нас, каждого по отдельности, вызывали в это симпатичное учреждение, но, кажется, никто туда не пошел. Что, безусловно, было не очень вежливо с нашей стороны.

Вот такая она была – Лена Кушнир.

В моем интеллектуальном развитии она сыграла почти ту же роль, как ее мама, Сусанна, в интеллектуальном развитии моей мамы.

И кончилась наша дружба так же, как у моей мамы с Сусанной. В какой-то момент я почувствовал: этот этап моего развития исчерпан. Лена и Инна Кушнир не пришли ко мне в больницу, ни разу. Они были заняты интеллектуальными развлечениями, им было не до того.

Как-то мы с Леной Кушнир встретились на Комсомольском озере: ей хотелось покататься на лодке. Она тогда вдруг располнела, стала похожа на свою маму. И куда-то пропал ее напор, ее холодная энергия, уверенность в себе. Появилась детская растерянность, и голос стал детским.

Я смотрел на нее, отвечал ей – и думал: «Этого человека я вижу в первый раз». Увидев ее такой, какой она была на самом деле, я пожалел ее – и внутренне попрощался с ней.

Так ее воспитали. Очень способная, энергичная, она привыкла первенствовать, доминировать в общении. И от этого – как вампир – получала удовольствие.

Помню, как на улице, незадолго до отъезда из Кишинева, я увидел Лену и Инну с Володей Шиманским, нашим юным соратником. Он потом стал мужем Лены, которая старше его на несколько лет. Они вели его за собой, как ягненка: и он шел покорно, как на заклатие. Да, ей нужен был именно такой муж.

Она тоже ушла из моей жизни, навсегда.



Этот снимок я сделал, когда моя Лена окончательно ушла от меня. Он так и называется «Зачем ты ушла?»

И так одно тяжелое впечатление наслаивалось на другое, одна потеря – на другую.

Все рушилось, осыпалось вокруг меня – вся прежняя жизнь.

Из Кишинева уезжали знакомые. Сожгли школьный театр Ильи Иосифовича Харьковского (дети называли его «Илья-Ощщщ»), чудесного человека, которого мы с мамой хорошо знали, любили и уважали. Люди стали безумными и злыми. В магазинах продавщицы отказывались обслуживать покупателей, обращавшихся к ним по-русски. Улицы, даже в центре города, перестали убирать, ветер мел по ним мусор: бумажки, грязные мокрые листья, какие-то тряпки.

Прямо под нашим окном открылось ночное кафе. Там всю ночь крутили пошлые песенки, спать было невозможно. Однажды я вышел на балкон: внизу, на асфальтовой площадке, стояли несколько столиков, между ними танцевала пара. Он, обритый наголо, коренастый, в костюме, словно покрытом лаком. Она в вечернем платье декольте, с глубоким, почти до трусов, вырезом внизу. Облапив ее, словно ощупывая, он по-медвежьи топтался на месте. Она, визгливо хохоча, задирала юбку, показывая всем сидящим за столиками кружевные трусики. Все молча сидели и смотрели.

В этом было что-то ужасно противное – и в то же время притягивающее. Будто не наяву – а во сне.

Помню, мы с мамой даже подавали какое-то заявление в примэрию Кишинева, но нам ответили, что всё правильно: кафе работает на полном законном основании.

Наш Кишинёв умирал, исчезал на глазах. Вместо него возникал другой, чужой, город.

Нужна была сила, большая человеческая сила, чтобы перетерпеть, переждать – с верой и надеждой в душе: ради того, чтобы не потерять родину. Но у меня не было такой силы.

И мы уехали.

Я никогда не умел принимать таких решений. Мужчина должен заниматься стратегией, женщина – тактикой. Но Лены уже не было. А мама не вмешивалась, предоставляя решать мне.

Так мы оказались в России.

ГЛАВА 14.

Договор. Два дерева. Русские казни: Приозерск

Итак, мы приняли важнейшее решение. Вернее, я принял, а мама, как всегда, самоустранилась, предоставив решать мне. Мы уезжаем.

С кем мы советовались? С кем обсуждали свои планы? Ни с кем. Ни мне, ни ей даже не пришло это в голову. Не было никакого предварительного обдумывания, попытки предвидеть, к чему приведет наш отъезд.

Странное дело: мама была такая общительная. Я тоже стал общительным человеком. Но решая главные вопросы своей жизни, мы даже не пытались ни к кому обратиться. Мы чувствовали себя как в пустыне.

Друг с другом мы тоже ни о чем не говорили.

Но мы заключили соглашение друг с другом. Негласное и даже неосознанное.

Я отказался от личного счастья, возможности иметь свою семью – ради того, чтобы быть всегда с ней. И стать Настоящим Педагогом.

Это не была жертва с моей стороны. Я понимал, что люблю Лену и буду любить всегда. Что не смогу оторвать ее от своего сердца: оно течет кровью. И что жениться без любви тоже не смогу.

Я понимал: у Лены есть иллюзия, что всё еще поправимо. Что у нее еще будет семья. Она эффектная молодая женщина, нравится мужчинам. Я был у нее не первый, а третий. Значит, возможен и четвертый, и пятый. Она не учитывала, что я все-таки был первым: первым, кто ее полюбил по-настоящему. Не учитывала и того, что сама любит меня и не сможет разлюбить, потому что таково свойство настоящей любви.

И я тогда уже знал: она еще долго не сможет понять, что так же связана на всю жизнь неразрывной связью со мной, как я с ней. Долгие годы пройдут, пока она поймет. А, может быть, не поймет никогда.

И, значит, мне не на что надеяться. Я потерял свою любовь и уже не верил, что она вернется. У меня оставалась только мама. И любимая работа. И цель, которой хотелось достичь: стать Настоящим Педагогом.

Вместо того, чтобы попытаться осмыслить то, что произошло, извлечь из этого урок: или дожидаться, когда Лена меня простит, или попробовать создать новую семью с другой женщиной – я внутренне исключил для себя возможность любви, счастья, возможность иметь свою семью. Это казалось мне неизбежным – и самостоятельным решением.

Я не заметил, что в точности повторяю мамин путь. Ведь она тоже оказалась от любви и счастья – и жила только своей работой. И я решил жить только своей работой, и это тоже казалось мне самостоятельным решением.

Итак, я взял на себя обязательство всегда быть с ней, до конца. А она отказывалась от всего, что было у нее в жизни: от любимого города, от своей, с таким трудом купленной, квартиры, от знакомых и родных – чтобы быть со мной. Она считала себя в выигрыше: раз я по-прежнему с ней – ей ничего не жалко. Кто знает, может быть, где-то в самой глубине души она чувствовала, что сама хотела нашего разрыва с Леной – и ей казалось это искупительной жертвой?

Она выиграла главное – меня. Любимая работа кончилась. Ради чего теперь жить? Только ради сына. Жить без цели, без смысла – она не могла. Это был второй смысл ее жизни. И он сохранялся. Только это и было для нее важно. Все остальное – плата за сохранение главного. Она не казалась ей слишком большой.

Может быть, она – неосознанно – даже радовалась, что мы уезжаем. Значит, будет трудно. Значит, она будет нужна мне! Больше ничего она не ждала, не хотела от жизни.

Соратница Януша Корчака по Дому Сирот Стефания Вильчинская в начале Второй мировой войны записала в своем дневнике: «Снова война! Снова будут голод, чесотка, вши. Значит я снова буду нужна детям!» Пани Стефа – тоже еврейка.

Я не могу сказать, что мама отличалась полным равнодушием к комфорту, удобствам. Она была женщиной. Ей хотелось жить в человеческих условиях. Но это не было для нее главным.

Она не собиралась «выходить на заслуженный отдых». Не могла себе представить такого. Ни к чему не стремиться. Смотреть телевизор, читать книги, есть, спать. Она так не смогла бы. Она хотела жить. Хотела так же сильно, как в 12 лет, когда прыгала на ходу с машины и бежала, задыхаясь, в поле, падала на землю, закрывая голову руками, чтобы не слышать воя и свиста пуль. Жить! Жить можно только ради чего-то или кого-то. Ей нужна была задача, трудная и достойная. Жить ради сына – это была достойная задача.

Я помню, как буквально за месяц до увольнения – уже зная, что ей осталось работать несколько дней – она продолжала искать, совершенствуя какая-то метод преподавания. И с удовлетворением сказала мне, что довольна результатом.

Зачем она это делала? Ей уже не работать в школе. Ей 60 лет. Это последний учебный год, последние дни.

Но она оставалась собой до конца. Творчество радовало ее – даже в последний день. «Хоть еще пять минут/ Постою на краю!» Это была ее жизнь, и она любила ее.

Она была гордая и сильная. Она и не думала унывать.

Главное дело ее жизни кончилось. Но оставался сын. Еще один свет, еще один смысл ее жизни. Нет, она не собиралась грустить. Ей по-прежнему есть для чего жить. У нее есть дело на Земле.

Казалось бы, не только моя мама – даже моя бабушка – совершенно отошли от еврейства. Однако обе они оставались еврейками. Маме нужно было Служение, Трудное Служение. В этом смысле она походила на своего отца. Ее отношение к своей работе было именно еврейским отношением, было Святым Служением. И сын был для нее тоже Служением. И она радовалась, что оно есть, что жизнь все так же осмысленна и полна. Есть свет в ее жизни. Она по-прежнему несет этот свет.

В той самой книге, которая почти вся, от корки до корки, написана евреями, сказано: «Неси свет – и не оглядывайся назад». Мама была членом КПСС – и не читала эту книгу. Но жила именно так.

Теперь она будет нести свет не многим – а только одному, зато самому близкому человеку. Что ж – я по-прежнему нужна! Я живу, я живая!

Так она понимала жизнь. И не умела по-другому.

Но я тоже еврей. И мне тоже нужно было Служение. Я нашел его в своей работе. И еще у меня была мама, которой я был нужен, а она была нужна мне. И я решил, что этого мне будет достаточно – если не для счастья, то для достойной жизни.

В Петрозаводске, где я теперь живу, рядом с нашим домом, через дорогу, – старое заброшенное кладбище. Уже много лет мы с Гошей (моим псом) там гуляем.

Однажды я наткнулся там на два необычных дерева. Две черемухи: большая и маленькая. Маленькая – наверняка «дочка» большой: ее отросток или выросла из косточки, упавшей с большого дерева.

Дерево-мать, от ветра ли, плохой почвы или от старости, упало – как падают высокие сосны и ели в лесу. Но упало оно не на землю – а на маленькое деревце. Оба сломались: маленькое – пополам, ствол расщеплен надвое – две половинки ствола связывала вместе лишь узкая полоска коры. У большого отломилась вершина, а с другой стороны торчали высоко над землей перепутанные корни. Но оба дерева жили – и оба пышно цвели!

Я остановился, пораженный. Почему они живут? Почему давно не засохли? Обошел вокруг: с одной стороны, с другой. Гоша, ничего не понимая, наклонив голову набок и вывалив язык, с удивлением смотрел на меня.

Большое дерево, конечно, погибло бы, если бы не маленькое. Оно подперло собой дерево-мату, не дало ему упасть. Поэтому часть корней всё еще оставалась в земле – и они питали ствол. И он жил. Но как выжило маленькое дерево, расщепленное, сломанное пополам? Я внимательно

рассмотрел то место, где большой ствол, тоже сломанный, без верхушки, с содранной во многих местах корой, плотно лежал на маленьком стволе. И увидел, что они срослись! Маленькое дерево получало соки из большого ствола, еще державшегося в земле частью своих корней. И оно тоже жило.

Два дерева: мать и дитя – не смогли бы пережить катастрофу, если бы странным образом не помогли друг другу. Дерево-мать упало на своего ребенка и навсегда искалечило его. Но все-таки тем самым спасло себя от окончательной гибели. Дерево-дитя тоже погибло бы, сломанное пополам невысоко над землей, если бы дерево-мать не срослось с ним, образовав из двух отдельных стволов один – и не питало маленькое дерево своими соками.

Я очень долго стоял возле этих искалеченных деревьев. Хотя и сам не сознавал тогда, чем они меня привлекают.

Сейчас я думаю, что эти деревья похожи на нас с мамой. Ее страшное одиночество толкнуло ее на отчаянный шаг: опереться на меня, своего ребенка. Это позволило ей сохранить жизнь, но искалечило меня. Но я тоже хотел жить – и оперся на нее. И так наши жизни замкнулись друг на друге, слились. Как у этих бедных деревьев.

Одно, почти упавшее, и другое, задавленное и сломанное, они все-таки страстно хотели жить – и жили. И странное дело, молодое деревце с расщепленным и переломленным надвое стволом цвело пышнее, красивее, чем старое. Наверное, старое дерево отдавало ему большую часть своих соков.

Городок Приозерск, Ленинградской области. Примерно 30 тыс. жителей. Три школы. Мы с мамой работали в школе № 1. Мне дали два пятых класса и классное руководство. Она работала по контракту, заменяла заболевших и ушедших в декрет учителей.

Той радости, что прежде, работа ей уже не доставляла.

Чтобы получать удовлетворение от своей работы, учитель должен вести долгое время одни и те же классы. Почувствовать их своими, и чтобы дети считали учителя своим. В Приозерске у нее этого не было. Классы менялись. Она была уже не в той форме: у нее ухудшились зрение и слух. Собственно, видела она всегда неважно – с детства. Но слух стал портиться именно тогда. Это очень неприятно для такого человека, как она – а в классе, с детьми, особенно. Не было уже прежнего желания: уезжая из Кишинева, она внутренне настроилась отдать оставшееся ей на Земле время, оставшиеся силы – только мне.

Она уже не так хорошо выглядела, стали заметны в ней признаки старости.

В молодости мама любила путешествовать, бывала в разных курортных местах, с удовольствием загорала – хоть и знала, что ей нельзя, у нее особо чувствительная кожа. После 50 лет это сказало: у нее начался рак

кожи. Это заболевание не угрожает жизни, но очень неприятно, особенно для женщины. На коже появляются уродливые болячки – базалиомы, они кровоточат, покрываются корками. Такие болячки у мамы были и на шее, и даже на лице. А ведь учитель в классе – как на сцене.

И все-таки она проработала в Приозерске три с половиной года. Столько же, сколько и я. Работала так же хорошо, добросовестно, как прежде. Иначе она не умела. По-прежнему давала открытые уроки.

Директора приозерской школы № 1 зовут Фаина Ивановна Федорова. По специальности она учитель английского языка. Плохой учитель. Дети ее не уважали, не слушались. На уроках у нее творилось черти что. Сама она не готовилась к урокам и не интересовалась своими учениками. Управлять школой тоже не могла: не хватало практической цепкости, способностей к такой работе. Распоряжения ее никто не выполнял. Школа фактически была неуправляемой. По коридорам во время уроков бродили прогульщики и хулиганы, открывали двери классов, что-то кричали. Иногда подпирали двери снаружи скамейками, чтобы нельзя было выйти.

Но я не обращал на это внимания: я очень увлекся работой, своим классом. Уходить с головой в то, что занимает в данный момент, мне очень свойственно. Это и особенность творческого человека, и результат неправильного воспитания, житейской беззаботности.

Кишиневскую квартиру мы пока сдавали. Лето провели в Кишинёве.

Когда вернулись, оказалось, что я уволен. Фаина Ивановна обиделась на мою статью в «Учительской газете», опубликованную во время каникул. Она очень хотела как-то выделиться, затевала странные эксперименты. Вдруг классы разделили на «группы», протестировав детей на IQ: первая группа – самые умные, вторая – просто умные – и т.д. Пятая – дурачки. Почему-то на группы детей разделили только на математике, русском и иностранном языках. На других уроках все оставалось по-прежнему. Зачем это нужно, никто ни учителям, ни родителям не объяснил, никто не спрашивал их согласия.

В конце учебного года я выступил на педсовете с критикой этого «эксперимента». А потом написал статью «Экспериментомания», не назвав школу и фамилию директора, но под статьей стояла моя подпись: учитель такой-то школы, такого-то города. И вот из-за этой статьи Фаина Ивановна решила избавиться от меня. Но сделала это слишком поспешно, на живую нитку, безграмотно юридически – и суд меня восстановил еще до начала учебного года. Мои дети ничего не узнали.

И мы продолжали работать. Я привязался к своему классу. Очень хотел довести его до выпуска. Второй год прошел относительно спокойно: неудача с моим увольнением, видимо, остудила пыл Фаины Ивановны. Но с другой стороны – и раззадорила. Как директор она в школе ничего не делала, делать не умела и не хотела – и у нее оставалось много свободного времени. Не умея работать, она далеко не глупа и, подобно многим такого

рода людям, умеет плести интриги, даже талантлива в этом. И она стала подкапываться под меня.



Приозерск. Моя ученица Катя Никитина.

А я работал, не обращая внимания ни на что. Мне выносили замечания, выговоры. Все-таки на третий год это стало мешать. Я нервничал, потому что дети, мой класс – были главным содержанием моей жизни. Я боялся их потерять. Почти так же, как прежде боялся потерять Лену.

И кончилось это так же, как с Леной.

Как я уже сказал, в этой школе не было порядка. Хулиганы чувствовали себя очень вольготно.

Как-то я шёл по коридору на свой урок. Вдруг на меня налетел мой ученик Сережа Белоусов: «Там Кожина бьют!» Андрей Кожин – самый трудный в моем классе – сам был хулиганом. Но это мой ребенок. Я быстро пошёл за Сережей и увидел такую картину. На мраморном полу в рекреации перед моим кабинетом лежал Андрей. Лежал он на животе, закрыв голову руками. А над ним стояли трое парней, значительно старше него, и били его ногами.

Будь я в нормальном состоянии, я смог бы сдержаться. Но я к тому времени очень изнервничался из-за постоянных придинок и угрозы увольнения.

При моем появлении двое из трех избивавших Андрея отошли, а один так и остался с занесенной ногой. Высокий, красивый, физически крепкий парень. Как впоследствии выяснилось, зовут его Саша Леденцов, он сын офицера милиции. Я спросил: «Что здесь происходит?» Ему, видимо, хотелось показать себя перед приятелями и многочисленными зрителями, и он ответил подчеркнуто нагло: «А ТЕБЕ какое дело?»

И я его – нет, не ударил, оттолкнул. Но так, что он упал. В руке у меня была пачка бумаг: какие-то карточки – и ручка. Этой ручкой я слегка оцарапал ему кожу на лице.

Поднялся на ноги он значительно присмирившим – и спокойно ушёл.

Но Фаине Ивановне об этом доложили – и вскоре на меня было подано заявление: директору школы – и в милицию. О том, что я избил ученика «на почве внезапно возникших неприязненных отношений».

Мама моей ученицы и учитель той же школы Елена Андреевна Мозгалевская потом говорила мне, что никогда прежде не видела Фаину Ивановну такой счастливой. Радость ее понятна: я сам вложил ей в руки козырную карту. И был бит ею.

Меня уволили. Это была середина 8-го класса. Я так мечтал довести их до выпуска. Но восстановиться мне не удалось. В то время суды работали плохо, дела не рассматривались годами. Дело об увольнении зависело от уголовного дела, окончательно развалившегося только в областном суде, в Петербурге. Но к тому времени уже прошло полтора года, мои дети закончили 9 класс.

К тому же на меня завели еще одно уголовное дело: за нападение на саму Фаину Ивановну. Она отказывалась со мной встречаться и разговаривать в школе. Тогда я поймал ее в подъезде ее дома, утром, когда она шла на работу. Это, конечно, было сущим безумием. Фаина Ивановна при виде меня взвизгнула и с поразившей меня быстротой скрылась в своей квартире. Я никак не ожидал от нее, немолодой уже женщины, такой прыти. И в тот же день она подала заявление о том, что я напал на нее.

Меня арестовали. 7 дней я провел в КПЗ (камере предварительного задержания) местной милиции. Интересно, что в городскую прокуратуру при этом поступили 2 взаимоисключающих заявления. Авторы одного из них настаивали, чтобы меня держали под арестом как можно дольше, так как я представляю большую общественную опасность. Подписей под этой бумагой было много – но все неразборчивые. Было и другое заявление: о том, что я очень хороший учитель и порядочный человек – и меня ни в коем случае нельзя арестовывать, а нужно отпустить. Подписи под этим заявлением были разборчивые, с фамилиями, именами, отчествами и даже должностями. Подписались почти все родители моих учеников – и три учителя нашей школы.

Помню, как нам с мамой дали свидание в этом КПЗ. Мы были так рады друг другу, обнялись, разговаривали, держась за руки. А нас охранял молодой парень – милиционер. Он чувствовал себя ужасно, ему хотелось провалиться сквозь землю. Ощущал себя тюремщиком – именно из-за того, что мы с мамой так любили друг друга. Бедный, я так жалел его! Я хорошо его понимал.

В КПЗ, хотя я беспокоился о маме, мне было легче, чем дома. Вокруг люди. Я учил их играть в «Страны. Города. Растения. Животные». Рассказывал какие-то книги. Узнал всё об их жизни. Двое моих сокамерников были рецидивисты со стажем, каждый имел по 6 отсидок; и еще один – 15-летний мальчик, на которого хотели повесить какое-то убийство. Я ему отдал свое одеяло, принесенное мне мамой, а сам укрывался курткой.

Стекло в окне камеры оказалось разбитым, как мне объяснили, для проветривания. Было это в конце октября – начале ноября. Север, холодно. Я простудился. Но не унывал, по утрам делал зарядку.

Один из рецидивистов оказался очень симпатичным человеком, звали его Григорий Потемкин. Я любил слушать его рассказы. Ко мне все хорошо относились: когда нам приносили еду, сокамерники брали ее и для себя, и для меня – и ставили рядом. Еду давали оригинальную: например, четверть буханки черного хлеба и стакан кипятка.

В КПЗ заключенные помогают друг другу: если получают из дома посылку, делятся со всеми. Таких человеческих отношений, как там, я не видел больше нигде в России, за все прожитые в этой стране 20 с лишним лет.

Мою маму – да и меня – очень характеризует одна любопытная деталь. Как я уже сказал, я отдал принесенное мне мамой одеяло своему товарищу по несчастью, 15-летнему Алеше. Он жил не в Приозерске, в каком-то поселке. У него не было ничего, кроме легкой короткой курточки. Он тоже простудился, в камере холодно.

И вот мама обратилась к адвокату, и он добился через суд моего освобождения. Надо было забрать в КПЗ свои вещи. Нам вынесли всё, что там было, и мы уже пошли домой – как вдруг мама остановилась прямо посреди улицы.

– Одеяло зачем забрали?!

Она знала об Алеше: я рассказал ей на свидании. Я ее мгновенно понял. Отнес одеяло назад – но его отказались принять. И мне, и ей было очень неприятно: надо было оставить одеяло этому мальчику. А мы унесли его. Чем он теперь будет укрываться?

Одеяло это в Приозерске у меня было единственное. Оно из верблюжьей шерсти, старое, зеленое – мы его привезли из Кишинева. Потом, когда оно совсем протерлось и посредине образовалась почти дыра, мама заштопала его и использовала как покрывало для своей кровати. Она его клала так, что штопку нельзя было заметить.

До сих пор это одеяло лежит на ее кровати. Его можно видеть на фото ее комнаты.

И сейчас, когда прошло 15 лет, мне жаль, что я тогда забыл оставить одеяло Алеше. Мы с мамой были так рады, что меня освободили, и совсем забыли про него.

Эти три с половиной года в Приозерске в творческом, профессиональном плане были все-таки для меня хорошим временем. Я рос – и чувствовал это. И мама это тоже видела и радовалась за меня.

И я хотел продолжать расти, хотел оставаться Русским Учителем.

Да и деваться нам было уже некуда. На третье лето, вернувшись на каникулы в Кишинева, мы продали свою квартиру. Нам просто надоело каждый раз ее сдавать, каждое лето возвращаться. Страшно непрактичные, мы продали её именно тогда, когда из Кишинева массово уезжали «русскоязычные», и квартиры поэтому сильно упали в цене. Спустя 5 лет они стоили в 2–3 раза дороже. За хорошую двухкомнатную квартиру, на кото-



рую мама столько лет копила деньги, отказывая себе во всем, мы получили 5,5 тыс. долларов. Трудно поверить – но вот такие мы люди.

И возвращаться поэтому нам было уже некуда. Мы сожгли мосты.

И хотя я знал уже в то время об Алексее Ивановиче Шведове, мне не пришло в голову, что я иду по стопам моей мамы и повторяю ее ошибки. Мы благополучно избавились от своей кишиневской квартиры. А через полгода меня уволили с работы. Мама тоже уволилась.

Она работала до 67 лет.

Полтора года я был безработным. Помню, как бродил за городом в лесу, разговаривая сам с собой. Был очень близок к неврозу. Писать я тогда тоже не мог.

Когда мы уезжали из Кишинева, у меня еще не было законченного высшего образования. Хотя уже была опубликованная московским издательством «Просвещение» книга – «Элементарная педагогика». Я написал ее в 27 лет. До сих пор эта книга довольно популярна, особенно на вузовских кафедрах педагогики (хотя я ее писал для учителей). Фрагменты из нее неоднократно включались в различные хрестоматии по педагогике, и был забавный случай, когда в одной такой хрестоматии оказались 3 фрагмента из моей книги, 2 – из Макаренко, 2 – из Сухомлинского, 2 – из Коменского, а остальные авторы удостоились только одного фрагмента. Это казус. Но есть только одна педагогическая книга, изданная в 90-е гг., которая цитировалась чаще: «Человек открывает мир» Е.В. Субботского. Е.В. Субботский – доктор наук, профессор Ланкастерского университета в Англии, ученик знаменитого московского мэтра научной психологии А.Н. Леонтьева. И он действительно написал прекрасную книгу, я ее очень

люблю. Но моя – на 2-м месте. А мне было 27 лет, я только 2 года работал учителем, не имея диплома о высшем образовании.

Я чувствовал, как много мог бы сделать в педагогике. И действительно, в смысле педагогического таланта и мастерства я едва ли слабее своих кумиров: А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинского, Януша Корчака. Я мог бы работать не хуже них.

Поэтому мне так хотелось остаться с детьми, продолжать работать в школе.

Можно было уехать в Израиль. И одно время мы серьезно рассматривали такую возможность. Но любовь к детям победила.

Живя в Приозерске, я заочно закончил Петрозаводский университет. Петрозаводск мне чем-то нравился: думаю, тем, что он немного похож на Кишинев. И мы решили перебраться в Петрозаводск.

Я уже хорошо понимал тогда, что за страна Россия. Но иллюзии оставались. Приозерск – маленький городок, где некуда пойти, не с кем общаться. И мне, и маме это было тяжело. Петрозаводск – намного больше. Это столица, где много театров, музеев, выставочных залов. Много школ.

Я получил диплом в 1997 году, в 35 лет. Нашел работу. Мне дали 28 часов в школе № 45, в спальном районе Древлянка. Я снял крошечную комнатку у школьной технички, Раисы Ивановны.

Я всегда любил слушать мамины рассказы и знал, что в Ваду-луй-Водах она сначала сняла угол именно у школьной технички. Но никаких сопоставлений с ее жизнью мне в голову не приходило. Я по-прежнему был уверен в своей самостоятельности, считал, что иду в жизни собственным путем.

Мама не могла сразу приехать ко мне: вся мебель, вещи, книги, фотографии оставались в нашей комнатке в Приозерске. Она писала мне письма, и я ждал их почти так, как в детстве, в инфекционной больнице, ждал ее записок, подцепленных на веревочку. В письмах она, в основном, спрашивала, как я себя чувствую, что мне прислать.

Однажды она позвонила, и снова заговорила о том же: о работе, что я ем, о моем здоровье. Я почти возмутился, потому что хотел говорить только о ней, о нас, о том, как я скучаю по ней.

– Какое это всё имеет значение?! Если ты мой самый близкий человек, и я не видел тебя два месяца?!

Ей было приятно, что я так сказал.

Но редко, очень редко я говорил ей о своей любви. Она знала, как я к ней привязан. Но говорить об этом нужно было чаще. Я говорил редко. Слишком редко.

Поздней осенью мама, наконец, приехала ко мне, в 8-метровую комнатку, где зимой, в мороз, температура не поднималась выше 10 градусов тепла. И сразу заболела дифтерией. Это детская болезнь, и взрослые ее переносят тяжело. Заразилась она наверняка от меня, я ведь работал в шко-

ле – хотя сам не заболел. И мама была тогда самой сложной пациенткой в инфекционной больнице Петрозаводска.

Зима в тот год выдалась снежная, с метелями, с сильными морозами. У окон первого этажа намело сугробы до половины стекол. Мама лежала в крошечном боксе: кровать, тумбочка, два стула – больше там ничего не было. Я приносил ей еду, книги. Она встречала меня такая же весёлая, как всегда, говорила:

– Как я тебя подвела! Вместо того, чтобы тебе помочь...

Я всегда не терпел этого самоуничужения. Не хотел её слушать.

И сейчас перед моими глазами стоит эта крошечная белая комнатка, мама в халате, оживленная, бодрая – и белый свет от чистого снега за окном. Какие мы были счастливые тогда! Ей не было еще и 70-ти лет, а мне – только 36.

Как мама жила в Приозерске? Ей было нелегко. Маленькая комнатка. Единственное наше окно выходило во двор: кроме деревянных сараев, ничего почти не было видно. Общая кухня. Печка. Туалет во дворе.

Но она хорошо понимала, что мне нужно работать, расти как учителю. Она так же когда-то работала в непростых условиях: в Ваду-луй-Водах, в 42-й школе. И была счастлива. И она понимала меня. Видела, как я привязался к детям, как увлечен своей работой. Чувствовала, что все так же нужна мне, что я не могу без нее обойтись. Это было для нее главным.

И действительно: я не мог без нее жить. Я мало обращал на нее внимания, почти не думал о ней. Но то, что она рядом, успокаивало, давало устойчивость, надежность моей жизни. Мама верила в меня, в то, что я хороший учитель. Всегда поддерживала. Это было для меня очень важно.

Мне в голову не приходило, что моя главная проблема – как раз в том, что я не отделил себя от нее, не умею жить без нее. Слабый, с нежной, ранимой душой, я не мог себе представить, как можно жить одному. Уехать от мамы?! Но она мой единственный близкий человек! Как жить без тепла, без ласки, без любви? Приходить в пустую холодную комнату. Зачем?

Все силы были отданы творчеству, педагогическому росту, детям. Мама была условием, фундаментом этого творчества. И она принимала такую роль, ей это было близко и понятно. Так что и ей, и мне – казалось это естественным и нормальным.



Мой приозерский класс. Фото 1994 года. Верхний ряд (слева направо): Юра Обносов, Сережа Белоусов, Денис Левин, Максим Язев, Олег Карепов, Саша Дзекун; средний ряд: Стас Войтович, Андрей Беляев, Инга Бельчикова, Наташа Дулова, Саша Лаврентьева, Вика Белинина, Вова Урванцев, Лёва (забыл фамилию, увы!); нижний ряд: Женя Шелестенко, Юля Намазова, я, Саша Гуляева, Вика Котова, Катя Никитина, Аня Петрова. Шестеро из тех, кого мы здесь видим, стали героями книги «Мои дорогие дети»: пожалуй, лучшей из всех моих книг, и самой моей любимой.

ГЛАВА 15.

Хрупкая сила. Спор двух Богов. Русские казни: Петрозаводск

Моя мама часто болела. И в детстве, и потом. Была тоненькая, изящная. Несколько раз на моей памяти лежала в больнице.

Значит ли это, что у нее был слабый организм? Нет.

Энергичная и выносливая, она в лучшие годы делала очень много. Брала огромное количество часов, чтобы заработать на квартиру. Готовила, убирала, стирала – всегда очень тщательно и добросовестно. Спала по 4 часа в сутки. Конечно, очень уставала, но серьезно это не сказывалось на ней.

И с болезнями она умела бороться. Никогда ничего не боялась, не унывала, не сдавалась. И организм у нее был – хоть и хрупкий, но сильный. Заболеть она могла легко, но всегда побеждала все болезни. Кроме последней, которую победить было невозможно.

У меня такая же тонкая кость, как у мамы. Я такой же хрупкий. Но силы такой у меня нет. Я быстро устаю, любое физическое недомогание действует на меня угнетающе.

Да, она была хрупкая, но сильная. Привыкла бороться с болезнями и побеждать в этой борьбе. И организм ее привык бороться до конца. Это стало одной из причин ее страшных мучений, когда она умирала. Но до поры до времени помогало продлить жизнь.

На первый взгляд это кажется парадоксальным. Многочисленные и часто тяжелые болезни, казалось бы, должны подрывать силы человека, а не укреплять их. Но никакого парадокса здесь нет.

Известно, что бывшие узники ГУЛАГа и гитлеровских концлагерей, выжившие в нечеловеческих условиях, затем, как правило, жили очень долго. Д.С.Лихачёв, В.П.Эфроимсон, А.И.Солженицын, Анатолий Гуревич (Кент из «Красной капеллы»), Бруно Беттельгейм – много таких примеров. Их организм научился преодолевать такое, что обычные заболевания были ему уже не страшны. Эти люди не были какими-то феноменально здоровыми сами по себе. Но они научились бороться и побеждать.

Такой же была моя мама. Многочисленные болезни до поры до времени не ослабляли её, а делали сильнее. Потому что она никогда не сдавалась. И сама так говорила про себя: «Коммунисты не сдаются!» Она ведь была членом КПСС почти 40 лет.

Расскажу в этой связи один случай из моей жизни.

В 19 лет я начал бегать по утрам. И бегаю – с некоторыми перерывами – до сих пор. Однажды я загнал под большой палец правой ноги жуткую занозу. Огромную, вошла она глубоко, так что вытащить ее оказалось невозможно. Палец вспух, нарыв сильно болел. Я с трудом ходил даже по квартире: прыгал на одной ноге. Занозу эту я загнал прямо в кедах: она прошла сквозь тонкую резиновую подошву.

И вот так я три-четыре дня промучился: мама настаивала, чтобы я шёл к врачу, я не хотел. И как-то утром надел те самые кеды (правый еле налез) и отправился бегать! Хотя не мог даже ходить.

Сначала я прыгал, как подбитая утка, почти не двигаясь с места; потом просто хромал; потом побежал ровней. Было очень больно – но я упорно бежал. И странное дело: становилось всё легче и легче. Примерно на третьем километре заноза вышла сама. Я почувствовал это, снял правый кед: он был внутри испачкан кровью и гноем. Выбросил занозу. И побежал дальше.

Этот случай произвёл на меня сильное впечатление. Я понял, что часто не в тяжести болезни дело, а в том, как мы к ней относимся.

Так вот, мама оставалась такой всегда.

Противоположного типа человеком был мой двоюродный дядя, Гриша (который «Сюня»). Он никогда ничем не болел до 62 или 63 лет. Вообще! Много курил. Работал по ночам, пил при этом ведрами крепчайший чай. И ничего. Такой он был здоровый.

В 60 с чем-то он впервые серьезно заболел. И от этой болезни умер. Они тогда собирались уезжать в Америку. И он уехать не успел. Его организм не умел бороться – и оказался бит первым же опасным недугом.

Мама болела часто. Но всегда всё кончалось благополучно.

К сожалению, у меня в результате выработалось легкомысленное отношение к ее здоровью. Когда она болела, я волновался. Но как только выздоравливала, переставал думать о ней, уходя с головой в свои дела. Это стало одной из причин ее последней болезни и смерти.

Мы все созданы двумя Богами.

Первый Бог – это Бог. Он создал Вселенную, все эти мириады звезд и планет. Нашу Землю. Растения, животных. И нас, людей. И у него есть определенный Замысел относительно нас, каждого из нас.

Мы не можем этот замысел точно знать, потому что тогда мы бы не были свободны. Свобода предполагает неясный прогноз, неопределенность. Если всё заранее известно, свободы нет.

Но догадываться мы можем.

Человек начинает свою жизнь в утробе матери. Там ему хорошо. Тепло, мягко, мать дышит и ест за него. И плод (его еще называют «фetus», потому что он плавает в околоплодной жидкости – как в невесомости) на-

слаждается этими комфортными условиями. Ему ничего не нужно делать, ему хорошо.

Но потом его мир начинает сжиматься. Стискивает его своими стенками. Ребенок ведь не знает, что это он сам растет, и не в силах этого понять. Он ощущает, переживает, но, находясь в материнской утробе, еще не может думать.

И вот начинаются роды. Как переживает их ребенок? Его мир взрывается, раскалывается, выталкивает его из себя. Это катастрофа!

Конечно, у новорожденного нет представления о том, что такое «смерть» – как и о том, что такое «рождение». Но все-таки можно, пожалуй, предположить, что ребенок переживает своё рождение как смерть.

Но это не смерть – это рождение. Теперь ему предстоит совсем другая жизнь, значительно более интересная и трудная, и она в среднем раз в 100 продолжительнее его существования в материнской утробе.

Всё вполне логично. Тело человека – биологический организм – формируется в особо комфортных условиях, в утробе матери. Зачем? Чтобы родиться и жить, здесь, на Земле.

Правда, бывают настолько недоношенные, физиологически незрелые дети – что они жить не могут. И для них рождение – это действительно смерть.

Что же дальше? Телесно мы формируемся годам к 20. После 40 уже начинается увядание, потом старость. Но духовно человек призван расти всю жизнь. Становиться всё более духовно сильным, зрелым.

И если это так – то зачем это нужно? То, что созревает, растет – не может расти для уничтожения, для смерти. Это было бы абсурдно, бессмысленно. Так может быть, то, что мы называем «смертью», – это тоже рождение?

Правда, не для всех. А только для духовно зрелых, взрослых.

Конечно, находясь здесь, на Земле, мы не можем себе представить, к какой форме существования можем перейти, когда «умрём» – то есть родимся. Так же, как ребенок в утробе матери не может себе представить наш, земной, мир, где ему предстоит жить 70 или 80 лет.

Но можно предположить, что это – третье (после материнской утробы и «материнской утробы земной») существование – также примерно в 100 раз более длительное: то есть это несколько тысяч лет. А может быть, там вообще какое-то другое время.

Зачем это всё Ему нужно? Трудно сказать. Может, он страдает от одиночества? Ему хочется иметь друзей, соратников? Ведь он один, совсем один. Может быть, для завершения Творения нужно именно такое существо, которое само себя создаёт – и тем самым становится действительно подобным Ему, Творцу.

Но если это так – какой страшный вопрос поставлен перед каждым из нас! Именно этот вопрос в некоторых религиях называется «спасением».

Если мы успеем стать такими, какими должны стать, здесь, на Земле, – то будем жить и после «смерти». Если нет – смерть для нас будет действительно смертью, уничтожением.

Такова, по-видимому, задача человеческой жизни. Таков Его Замысел о Человеке. Он дает возможность человеку спасти себя самого, создав себя, став зрелым, взрослым. И на выполнение этой задачи дается срок. Один-единственный. И совсем не большой.

Да, страшные условия. А если не успеешь? Рано умрешь? В детстве или в юности. А если не сможешь стать таким, каким должен стать? Не поймешь свою задачу. Что-то не сложится, не получится.

Да, если всё так, то не очень-то он «милостивый» и уж точно не «милосердный».

Но, может быть, по-другому нельзя? Чтобы «спастись», нужна свобода, а раз она дана, приходится отвечать за свои ошибки.

Что же это значит – стать Взрослым? Видимо, это значит – найти в жизни свой путь, именно свой, не повторяющий буквально жизненный путь других людей (родителей). Свое дело, где ты можешь быть полезен. Создать свою семью: соединиться душой и телом с любимым человеком, мужчиной или женщиной – стать целостным существом. Ведь «пол» – это «половинка». Каждый из нас до тех пор, пока не нашел свою Настоящую Любовь, – это только половина человека. Вырастить и воспитать детей.

И тогда Замысел о Человеке окажется осуществлен в этой конкретной человеческой жизни. И наградой, видимо, должно стать продолжение жизни.

Но у каждого из нас есть и другой Бог. Это наша мама.

Мама – человек. Свободное существо. И у нее может быть свой собственный Замысел о своем ребенке. Совсем не такой, как у Первого Бога.

И вот тогда может случиться страшное. Потому что люди сами создают себя. Именно в этом состоит «дар свободы». Свобода – это возможность спасения. Но ею можно и не воспользоваться, упустить свой шанс.

Если Замысел Второго Бога – мамы – не соответствует Замыслу Первого Бога – то создать себя такой ребенок должен сам. Мама его родила не для того, чтобы он стал взрослым, полноценным человеком, прожил свою жизнь. Она родила ребенка ДЛЯ СЕБЯ. Для своего утешения. Чтобы спастись от одиночества. У нее другой замысел.

Победить Первого Бога она может. Так сильно ее влияние. Но эта победа будет означать, что ее ребенок не станет таким, каким должен стать, и не спасется.

Замысел о человеке того, кто его воспитывает, должен быть таким же, как у того, кто создал всех нас. Замыслы Первого и Второго Бога должна совпадать. Но так бывает далеко не всегда.

И всегда ли, всякая ли мать в состоянии разобраться в себе, понять, зачем она родила ребенка и чего хочет от него?

Прекрасная это роль в жизни – быть Матерью. И очень страшная. Трудно себе представить что-то страшнее. Потому что непомерно велика цена ошибки.

Моя мама родила меня – мальчика, который вообще не должен был родиться – чтобы вырваться из тисков одиночества. То есть для себя. Кто может ее осудить? Но этот замысел не соответствовал Замыслу обо мне Бога.

Понимал ли я это? Да, лет с 17–18 смутно догадывался, что что-то со мной не так. Но надежда на счастье, на полноценную человеческую жизнь рухнула, когда я потерял Лену. И тогда – хотя я сам этого не заметил – я внутренне принял мамин Замысел о себе. Пусть я буду для нее. Раз ей так хочется. Зато и она будет всегда со мной. А я оправдаю свою жизнь хорошей работой с детьми.

Конечно, всё это было тоже очень смутно. Я не смог бы это чётко сформулировать. Но для того, чтобы принять решение, выбрать путь – и не требуется участия сознания. Мы почти всегда движемся по жизни ощупью, как слепые с картины Питера Брейгеля. И я тоже был таким слепым.

Я забыл о Замысле Первого Бога – Главного Бога. И следовал только Замыслу Бога Второго – моей мамы. А она хотела, чтобы я всегда был с ней и чтобы стал хорошим учителем. Хотя и не осознавала первую часть своего Замысла.

И поскольку я сам принял его – это осуществилось.



Моя мама и ее старшая сестра Ива со своим отцом, моим дедушкой. Это единственное его сохранившееся фото: религиозным евреям нельзя фотографироваться.

Петрозаводск. 45-я школа. Мне дали 28 часов: иначе трудно было прожить. Это очень много. Два пятых класса: проверять тетради нужно было постоянно. Мама, только выписавшись из больницы, занималась проверкой тетрадей вместе со мной. Она никогда не пропускала ошибок, а я иногда пропускал. А еще у меня были восьмой и десятый классы плюс классное руководство в десятом.

Десятых классов было два: в один собрали детей учителей и вообще «чистую публику»: тех, кто лучше учится, кто поуверенней в себе. В другой – всех остальных. Это и был мой класс. Очень аморфный, без лидеров. Даже вечера проводить без «ашников» не получалось: мои не приходили.

Там были интересные и хорошие люди. Но чтобы создать коллектив из этой инертной массы, нужно было затратить много труда. Но ни сил, ни времени у меня не оставалось. Мама болела дифтерией: я страшно волновался, каждый день ездил в больницу. Много занимался пятыми классами, восьмым. Жили мы тогда на квартире, вся методическая библиотека, собранная в значительной мере еще мамой, оставалась в Приозерске.

У директора этой школы, Артемьевой Светланы Станиславовны, была установка: не ставить двоек. Чтобы не портить «имидж школы». Так как в России раболепие очень распространено, и всегда лучше перекланяться, чем недокланяться, то многие учителя вообще исключили эту оценку из своего арсенала: не только в качестве годовой и четвертной, но и текущей. Директору это нравилось. Но некоторых детей развращало: они переставали учиться. Если нет больших запросов, нет интереса к учебе – то зачем пыхтеть, тужиться, раз «госocenка» всё равно обеспечена? Это же не наша проблема, а учителей, – так считали эти ребята.

И в восьмом классе таких было несколько человек.

В пятых проблем тоже хватало.

В общем, я достаточно эффективно и хорошо поработал в тот год как учитель, сумел подлечить многие «болячки», возникшие до меня. Как всегда, у меня появилось много друзей среди моих учеников. Но как классный руководитель я ничего не добился.

И, конечно, надеялся это исправить в следующем учебном году. Я их хорошо узнал, у меня и в своем классе появились друзья: уже было на кого опереться. Но в конце августа мне объявили, что мой класс у меня забирают. Это нарушение закона: учителя должны предупреждать об уменьшении учебной нагрузки за 2 месяца. Меня никто не предупредил. Зачем директор это сделала? Чтобы поставить меня на место: я же ставил «двойки». Правда, только текущие, не годовые. Но это было непослушанием. И она решила меня приструнить.

Я подал на профком. И профком, особенно его председатель, Гайдай Мария Ивановна, встал на мою сторону. Это крайне неприятная ситуация для директора.

И тогда она меня уволила. Я работал по контракту, на время декретного отпуска основного работника, Фокиной Любови Евгеньевны. Правда, когда я оформлялся, меня заверили, что она собирается провести все 3 года в декрете, а ребенок у нее только что родился. Прошёл год – но она подала заявление, что хочет выйти на работу. И меня уволили. Через 2 дня Фокина Любовь Евгеньевна подала заявление, что хочет продолжить пребывание в декретном отпуске. Но я был уже уволен. А вскоре уволилась и Мария Ивановна Гайдай.

Это случилось перед самым началом учебного года.

Помню, как я, страшно расстроенный, шел по Березовой аллее, мне навстречу – Светлана Станиславовна Артемьева. Увидела меня, скольз-

нула по мне взглядом, как по стене, и, не здороваясь, прошла мимо. Я для нее уже не существовал.

Конечно, она нарушила закон. Факт сговора между нею и Фокиной был юридически недоказуем. Мало ли, вздумалось учительнице подать одно заявление – потом другое, противоположное по содержанию! Имеет право. А директор обязан удовлетворять законные требования работника. Но дело в том, что раз Фокина опять вышла в декрет, то меня обязаны были известить и снова пригласить работать. А этого, конечно, не сделали.

Да и я прямо в день увольнения нашел другую работу: в соседнем 1-м лицее. До него от 45-й школы минут 5 ходьбы.

Там мне предложили тоже контракт: по замене уроков. Это огромное учебное заведение, больше 2000 учеников. Два месяца я действительно проводил замены, иногда по 8–9 в день. Потом мне дали два класса на постоянной основе, в одном – классное руководство. Класс этот разваливался, стоял даже вопрос о его расформировании. Я люблю трудные задачи – и взялся его спасти. Сформирован класс был своеобразно: три четверти мальчишек – только 5–6 девочек. Но девочки эти были похлеще любого мальчишки. Однако совсем не плохие, а только очень активные и энергичные. Через два месяца у меня был коллектив, они побеждали в олимпиадах, почувствовали вкус к учебе. Я подружился с детьми, со многими родителями.

Но после Нового года был уволен «в связи с прекращением контракта».

Я тогда только что познакомился с замечательным педагогом Исааком Самойловичем Фрадковым. Он занимался общественной деятельностью, писал письма, статьи. Было ему уже 70 лет, из-за больных ног он не выходил из квартиры. Я крайне прагматичный и непрактичный человек. Рассуждение, что Исааку Самойловичу нечего терять: он всё равно пенсионер – а я потерять могу многое – мне просто не пришло в голову. И я подписал одно из писем вместе с ним. Он раньше тоже работал в 1-м лицее, завучем. Всё хорошее, что там было, создано им. Но потом директору – человеку очень ничтожному – стало обидно, что лавры достаются не ему, и он сумел Исаака Самойловича выжить. И в письме упоминалось о «неуправляемости» некоторых учебных заведений, в том числе и 1-го лицея. Я возражать не стал, потому что это правда.

Директор лицея, Шабанов (за глаза его звали «Шабанчик»), прежде всегда меня хвалил и даже перевозносил. У меня все дети учатся, я решаю трудные задачи – и прочее, и тому подобное. Он большой болтун. У этого человека странная внешность: он маленького роста, кругленький, жирненький, совершенно лысый. С резкими, быстрыми движениями, отрывистой речью. Похож на ребенка, но противенького, неприятного ребенка. Когда он пожил мне руку (у него такая привычка), всегда хотелось поскорее ее вымыть. Меня он немного побаивался, а Исаака Самойловича откровенно боялся.

Конечно, это увольнение тоже было незаконным. Я уже работал на постоянной основе с двумя классами, у меня было классное руководство.

Контракт же был рассчитан только на замены. Меня просто не оформили на постоянную работу.

Но в суд я не пошел.

Это была очень тяжелая зима для нас с мамой. Мы осенью переехали в свою квартиру, купленную у бывшего заключенного, недавно освободившегося. Она была очень дешевая, и на нее хватило денег. Но и очень запущенная. Ремонт делал я сам: нанимать было не на что. Печное отопление. Мы поздно купили дрова, они оказались сырые. Всю зиму мы с мамой мучились с этими дровами. В квартире было страшно холодно.

В этой квартире мама умерла, спустя 13 с лишним лет. Старый деревянный дом. Первый этаж. Угловая квартира. Печи. Крысы, вечно прогрызающие плинтусы. Страшный холод зимой. В сильные морозы в кухне на полу замерзала вода. А если мороз держался долго, то замерзали и трубы, и даже канализация. Это особенно мучительно. Такое в первые годы жизни в Петрозаводске случалось у нас не раз.

А в Кишиневе у нас была симпатичная квартирка, в новом доме из белого ракушечника, со всеми удобствами.

Все эти 13 лет мама не могла нормально помыться, потому что в квартире нет ни ванной, ни душа, ни горячей воды. Она и в этом смысле вернулась в прошлое, в свое детство, когда и дети, и взрослые и мылись, и стирали в жестяных корытах. И мы купили такое корыто, и мылись, и стирали в нём. Я иногда ходил в баню. Она нет.

А она была болезненно чистоплотной, как многие женщины. Ей это было тяжело.

Когда она уже умирала, очень плохо себя чувствовала, не могла сама встать, я последний раз помыл ей голову. Ей было тяжело сидеть на стуле, но когда я расчесал ей волосы, она легла, вздохнула и сказала: «Хорошо, что мы это сделали!»

Стыдно, очень стыдно перед ней.

Итак, я не пошёл в суд. Работать в 1-м лицее я бы не смог. Шабанов все равно меня не оставил бы в покое.

Скажу несколько слов о судьбе Артемьевой и Шабанова. Артемьева разваливала свою школу еще несколько лет, так что родители не хотели уже туда отдавать своих детей. И когда в школе, рассчитанной на 800–1000 учеников, оказалось их только 400, городские власти её закрыли. Сейчас такой школы уже нет.

Шабанов же давно не педагог, даже формально. Он – как и Артемьева – сел в руководящее кресло благодаря дружбе с Катанандовым, одно время мэром Петрозаводска, а потом председателем карельского правительства. Шабанов довольно красноречивый человек, с подвешенным языком, неглупый от природы, поверхностно начитанный. Он трудился в предвыборном штабе Катанандова, и тот решил, что должен чем-то за это

заплатить. И предложил соратнику хлебное место – заместителя директора ликеро-водочного завода. Шабанову, очень плохому учителю биологии, нравилось быть директором лицея. Но он побоялся отказать. Ликеро-водочный завод потом чуть не обанкротился. Шабанов работал директором в полиграфической фирме «Петропресс», принадлежащей городским властям. Потом стал депутатом Законодательного собрания.

Ну а я больше не встречался ни с ним, ни с бывшим директором 45-й школы.

После 1-го лицея я какое-то время пытался сотрудничать с карельским союзом защиты детей, но убедился, что детей он не защищает. Работал на почте – почтальоном по доставке пенсий. Эта работа мне нравилась, потому что я люблю людей, мне интересны разные люди. А почтальон заходит в квартиры, видит, кто как живёт. Это писательское начало во мне. Ко мне очень хорошо относились пенсионеры. Был случай, когда одна новенькая тысячная купюра приклеилась к другой – и я передал пенсию. У меня бы вычли из зарплаты, а зарплата моя была 3,5 тысячи. Но та пожилая женщина сама пришла на почту и вернула деньги. И сказала, что сделала это, потому что я ей понравился.

Это, конечно, педагогическое умение – держать себя с людьми.

Потом я основал общественное движение «Демократические реформы в образовании». Которое ничего не добилось, и мне пришлось объявить о его закрытии спустя 3–4 года.

В 2001 году я еще поработал в лицее № 13. Там у меня были чудесные дети. Именно им посвящена первая глава книги «Мои дорогие дети». Но в новогоднюю ночь, с 31 декабря 2001 на 1 января 2002 года, у мамы случился микроинсульт. Так это называют врачи. На самом деле, не совсем микро: мама месяц не могла вставать с постели.

Мы уже выпили «шампанское» (компот) и легли – как вдруг она позвала меня из своей комнаты. Она лежала в постели и терла себе левую ногу: нога не двигалась. Я, страшно напуганный, побежал звонить из автомата в «Скорую» (телефона у нас тогда еще не было). И это оказался инсульт. Ей было только 73 года. Она худенькая. И врач сказала, что инсульт случился, скорее всего, из-за холода в квартире. В тот год была очень суровая зима, с сильными ветрами и морозами.

С тех пор – почти 10 лет – мама не могла уже нормально ходить. Левая нога плохо слушалась ее. Прежде мы осенью гуляли по набережной, в парке. Она любила осень, любила природу. Жизнерадостная, внутренне светлая, как ребенок, она умела радоваться каждой мелочи: ясному солнечному дню, плодам рябины и боярышника, чистому воздуху, свободе.

Сейчас, когда я это пишу, тоже осень. Прямо за окном горит, как факел, крона высокого тонкого клена, который я посадил 13 лет назад. Но мама его уже не может видеть.

И я ушел с работы тогда, в начале 2002 года. Это тоже было ошибкой. Больше работы в школе в Петрозаводске я найти не мог. Меня никто не хотел брать. Фактически установлен негласный запрет на профессию для меня. Частных школ тут почти нет. И так я стал безработным учителем и остаюсь им до сих пор. С тех пор я занимаюсь репетиторством, много пишу.

В 2004 году я начал сотрудничать с самым популярным российским журналом для родителей «Мой ребенок», для которого написал уже почти 120 статей. Я продолжал писать для них даже во время маминой последней болезни. Эта работа меня увлекала, за нее прилично платили. Я стал довольно популярным автором.

Эта работа – дома, за своим письменным столом – единственная, что я делал в России свободно и с удовольствием, не опасаясь «репрессий». Мама читала все мои статьи, они ей нравились.

Она всегда радовалась, когда мне хоть что-то удавалось. Она это хорошо умела: радоваться ЗА МЕНЯ. Да и за других людей. Умела и любила.

Мы были по-прежнему вместе. И по-прежнему не хотели ничего другого. Наша привязанность друг к другу со временем только росла.

Очень трудно объяснить словами, каким огромным счастьем было для нас – просто быть вместе. Откуда бы я ни пришел – пусть даже из ближайшего магазина – мама всегда встречала меня в коридоре: она была рада мне. Если я задерживался, всегда волновалась. Я тоже волновался, когда она долго не приходила с прогулки.

Подходя к дому, видя огонь, горящий в окне нашей квартиры, я уско-рял шаг, на сердце теплело. Мама ждала меня, часто – стоя у окна. И мы радовались друг другу.

Нас радовало тепло печки. Яркие осенние листья. Мы рассказывали друг другу прочитанные книги. Мы были вместе – и каждый день был наполнен смыслом, теплом, радостью.

Мы были совершенно одиноки: лишь раз в месяц мама разговаривала по телефону со своей сестрой, Ивой, которая давно живет в Израиле. Иногда она гуляла с соседкой, тоже пожилой, Лидией Евгеньевной. Это простая женщина, медсестра по профессии. Вот и всё общение. И книги, книги. Она читала до самого конца, пока могла держать книгу. Я носил ей книги из библиотеки. Уже трудно стало их подбирать: она всё прочла за свою жизнь. А память у нее была удивительная: если книга нравилась, она помнила её всю жизнь.

Да, мы были страшно одиноки. Но именно поэтому наша привязанность друг к другу всё росла.

Иногда я приходил к ней, садился на полу возле старого кресла – ее любимого кресла, с продавленным сиденьем, мы привезли его из Кишинева – а она рассказывала очередную книгу. Я почти не слушал её. У нее не

было контакта со мной – да и с другими людьми: она не чувствовала, когда ее слушают, когда нет. Она любила рассказывать. И еще – ей не с кем было поговорить, а потребность такая была. И я не мешал ей – а просто слушал звук ее голоса.

Она говорила:

– Сядь на стул. Тебе неудобно.

И повторяла это изо дня в день, десятки и сотни раз. И я отвечал, что мне удобно. Но она на следующий день снова говорила: «Сядь на стул. Что ты сидишь на полу?»

Мы были вместе: всё остальное не имело значения.

Нас всё интересовало: быстро ли созревает смородина (у нас под окнами – 5 кустов смородины), какое сегодня небо, будет ли дождь. Я был по-прежнему полон любопытства к людям. И мама интересовалась всем, что видела, слышала, что происходило со мной, с Лидией Евгеньевной, ее сыном.

Каждый вечер, перед тем как лечь спать, мама приходила ко мне и в дверях мы обнимались, я целовал ее теплые волосы, и мы желали друг другу спокойной ночи. В наших ласках было что-то детское: и с ее, и с моей стороны. Но нам было хорошо вместе.

И она не жаловалась. Ни на бесконечные суровые зимы. Ни на холод, когда согреться можно только ночью, в постели, да и то с грелкой и навалив на себя два одеяла. Ни на холодную, как лёд, воду из крана. Ни на глухоту, ставшую в последний год почти полной. Ни на многочисленные болезни: скачущее давление, сердце, базалиомы.

Мы были вместе. И ей по-прежнему казалось, что она счастлива. И ничего она больше не требовала от жизни.

Я помню одно странное впечатление. Не знаю, когда это было. Это тоже – вне времени.

Я прижался головой к маминой груди и услышал биение ее сердца. Оно билось глухо и, как мне показалось, с натугой. Я хорошо слышал звук его гулких ударов. И я вдруг понял, что вот эта работа сердца – это и есть жизнь. Жизнь моей мамы. Если сердце остановится, мамы не станет. А ему было нелегко биться. Оно трудилось, оно уставало.

Мне кажется, с тех пор каждый день, прожитый вместе с ней, стал восприниматься как счастье, как особая удача. Ну вот, еще один день. И еще! Какое счастье. Пусть еще немного, только немного, совсем чуть-чуть.

И я тоже больше ничего уже не хотел от жизни. Пусть еще совсем немного мы побудем вместе.

А что будет потом? Об этом я не думал.

Вспоминал ли я Лену все эти годы? Почти нет. Она где-то жила в самом заветном, самом дальнем уголке моей души. В комнате у меня висели

три ее фото. Но я редко смотрел на них. Она стала прошлым. Я знал, что она где-то есть, но не пытался ее найти. Я всё равно не мог бы оставить маму. И не верил, что Лена меня простила. Но все-таки продолжал ее втайне даже от себя – любить.

Каким безумием был наш отъезд в Россию! Бегство из любимого города! Это как если бы свободный человек, живущий в собственной квартире, пошел в тюрьму и попросил его туда принять.

Я не мог жить в России, потому что не мог научиться быть рабом, и в то же время из-за своей феноменальной непрагматичности и непрактичности, житейской незрелости, инфантильности – не умел сдерживаться, не пытался предвидеть последствий своих высказываний, статей в газетах и журналах, своих поступков. Я не придерживался главного русского правила «Я начальник – ты дурак». И не умел так вести себя, чтобы начальник хотя бы не догадывался, что я не дурак и дураком себя не считаю.

Единственный мой директор школы в Кишиневе – болгарка Виктория Марковна Танасова – хоть и была вполне советским человеком, любила детей, свою работу – и ценила меня. Когда нашу русско-молдавскую школу расформировали, ее пригласили в школу-новостройку на Рышкановке, в спальном районе – и она звала меня туда. Туда же перешли некоторые мои ученики. Но класс мой перестал существовать. И я уже был настроен уехать. И отказался.

Виктория Марковна вряд ли жива, она и тогда была уже пожилой. Она единственный хороший – если не директор – то хороший человек и хороший педагог в должности директора, с кем мне довелось работать.

В России директора, вообще начальники – всегда отборная шваль. А я был очень уязвим, потому что любил свою работу, она составляла главное содержание моей жизни. Семьи, тыла – не было. Поэтому я нервничал и обязательно срывался – как в истории с Сашей Леденцовым.

Безумием было приехать сюда. Но такая уж это страна, как трясины: увязнуть легко – а вырваться почти невозможно.

Как-то весной у нас кончились дрова. Заказывать не было смысла: стоял апрель – но еще подмораживало. Мама очень мерзла, как-то надо было топить.

В парке, в пойме реки Лососинки, где я делал зарядку каждое утро, красными метками поместили засохшие деревья, подлежащие вырубке. И я взял пилу, санки – и пошел вечером спиливать березу.

Мне было лет 37–38. Я имел кучу публикаций, меня множество раз приглашали на педагогические семинары и конференции в Москву и Петербург. Посмотрели бы они на меня в этот момент!

Пилил я березу обычной ножовкой: больше ничего у меня не было. Вспотел, снял куртку. И тут подъехала машина, вышли двое – и передний, большой, солидный, спросил:

– А что это мы пилим в нашем парке?

Это был директор парка.

– На дрова? – спросил он с недоумением и в то же время с пониманием.

Я объяснил, что да, на дрова.

Он сел в машину и уехал. И я допилил березу. Распилил на поленья, связал веревкой – и повёз. И три-четыре дня мы топили этой березой.

Мама хорошо умела складывать дрова, разжигать печку. Она научилась этому не в России. Не знаю точно, когда. Наверное, в детстве. Или в эвакуации, в Акмолинске.

Она и в этом смысле вернулась в своё прошлое.

ГЛАВА 16.

Двое на холодном ветру. Выгодно ли обмануть самих себя? Чем мы жили? Наши русские соседи

У моего пса, Гоши, есть привычка утром приходить к моей постели. Он тычется влажным носом мне в живот, я глажу его мягкую теплую шерсть, а он лижет мою руку. Так он немного согревается мной – а я им. Гоша ведь тоже одинок, тем более – сейчас, когда мамы уже нет. А у него живой характер, и ему нелегко. Только на прогулке он оживает и всегда рвется из квартиры, когда бы и куда бы я ни шёл.

Вот так и мы с мамой, прижавшись друг к другу, старались согреть друг друга. Бесконечно одинокие, мы были как два путника, идущие по снежной равнине. Дул холодный безжалостный ветер. И зима никогда не кончалась. И мы прижимались друг к другу тесней и все-таки шли, не смотря ни на что. Одно, чего мы хотели: остаться вместе, не потерять друг друга. И не изменить своему Богу, своей Миссии: детям, педагогике.

Это Высокое Служение придавало смысл нашей жизни, давало силы выдержать все ее трудности, наше горькое одиночество. И то, что мы вместе, всегда будем вместе – разделяя друг с другом всё, что несет нам судьба – было счастьем. И сейчас, когда мамы уже нет на Земле, я вспоминаю о нашей дружбе, любви, нашей взаимной преданности – как о большом счастье.

Странное дело: она не любила своего отца. Но в ней было, тем не менее, что-то общее с ним. Выбрать себе Миссию – и следовать ей, несмотря ни на что. И во мне это тоже было. Это традиционно еврейская черта.

Такое отношение к жизни как к Служению совсем не типично для нашего времени. Сейчас время прагматиков. Мы с мамой – романтики. Нам всегда не хватало прагматизма, мы были непрактичными, житейски неразумными. Но что-то было в нашей жизни и хорошее. Почти утраченное современными людьми – но очень нужное человеку.

В традиционной еврейской культуре есть понятие «эмуна». Это абсолютная преданность человека Богу – или человека человеку. Полностью отдав себя, человек находит себя. Мы были очень преданы друг другу – и своей Миссии. В этом смысле мы настоящие евреи. И эта взаимная преданность, общность забот и переживаний – давали нам свет и тепло. И то, что жилось так трудно, вносило особое достоинство и свет в нашу жизнь.

Чем холоднее были ветры, задувавшие снаружи, тем сильнее грело нас тепло нашей взаимной привязанности.

Казалось бы, и я знал, и она знала, что она уже старая и скоро умрёт. Что нельзя жить вечно на Земле. Но каждый новый день вместе – всё равно был счастьем.

Это совсем не значит, что мы во всех отношениях хорошо понимали друг друга. Согреться друг другом – не значит знать друг друга. Прильнув – я к ней, а она ко мне – мы по-прежнему во многом не замечали друг друга.

Я был устремлен к своей Миссии: остаться Настоящим Педагогом, служить детям. Она к своей: быть моей опорой и поддержкой. Почему и в 40, и в 45 лет мне нужна опора, об этом она не задумывалась.

В том, что наша жизнь освещалась Высоким Служением – что мы хотели отдавать, а не брать – было много хорошего. Но был и какой-то фанатизм: и этим мы тоже похожи на моего дедушку, маминого отца. Только он был религиозный фанатик, а мы – фанатики педагогики.

Прагматизм, практичность – тоже нужны людям. В романтизме, лишенном прагматизма, есть какая-то безжалостность, даже жестокость. Революционеры начала прошлого века были романтиками, и они залили Землю кровью. Но и одним прагматизмом человек жить не может.

Мы с мамой – люди из прошлого. Мы сохранили то, что большинством современных людей утрачено. Но не смогли научиться многому, что тоже нужно человеку – и что умеют сейчас почти все.

Нас нельзя было сломать, согнуть. Но и меняться мы не умели.

Мы видели и ценили свет, добро нашей жизни. Но не замечали, как они связаны, переплетены со злом.

Мы двигались словно по бесконечной, плоской равнине: не поднимаюсь, не меняюсь.

Я понимал, что мне уже не дадут нормально работать в России. Настоящим Педагогом – о чем я мечтал когда-то – я стал. Но почти ничего не сделал в практической педагогике – из-за постоянных увольнений. У меня даже нет ни одного своего выпуска. Мой общий стаж едва дотягивает до 10 лет. И все-таки то, что я хороший педагог, меня любят дети – было моей медалью, лучшим во мне. И я отчаянно цеплялся за то единственное, что мне все-таки удалось в жизни. Так, как цеплялся за маму, единственного близкого человека. Пусть еще год, еще один.

Ничего другого мы не знали.

И ничего не менялось в нашей жизни. Ничего нового не происходило.

Живое ведь тем и отличается от неживого, что все время меняется. А мы, словно подмороженные русской зимой, оставались всё теми же. Мы только старались еще немного продлить, удержать – то, что удержать невозможно.

Был ли у меня какой-то интерес к женщинам? Да, было два увлечения: одно – в 34 года, другое – в 40 лет. Первое, вызванное увольнением из приозерской школы; второе – просто от пустоты одиночества. Обе эти женщины – учительницы. Но полюбить их я так и не смог.

Впрочем, я давно знал, что люблю Лену, буду любить всегда – и не смогу уже по-настоящему полюбить какую-то другую женщину. Так и случилось.

А думала ли мама обо мне? О том, что я один – в таком возрасте. Что мне это очень тяжело. О том, что будет со мной, когда она умрет.

Странно: но я не могу ответить наверняка. Нет, она, видимо, об этом совсем не думала. Во всяком случае, я никогда не замечал в ней таких мыслей, никогда она со мной об этом не говорила.

Но как же ей это удавалось?

Она была очень цельная – и очень советская. Она умела вытеснить из сознания всё, что могло поколебать её правоту.

«Я ведь советский человек,» – говорила она о себе. И это правда.

Хотя не потому она советский человек, что жила в Советском Союзе и состояла в партии почти 40 лет. Как и у всех советских людей, у нее не было «политических» убеждений. Умная и ироничная, она скептически, даже с насмешкой относилась к «построению коммунизма в отдельно взятой стране». Советской она была совсем в ином, сущностном, смысле. Она умела видеть то, что надо видеть, и не видеть того, что видеть не полагается.

Как-то мы говорили с ней об отношении к Сталину, и она сказала, имея в виду ГУЛАГ: «Мы ничего не знали!» Я удивился: «Ведь твой отец отсидел 8 лет!» «Мы считали, что это ошибка, случайность. И в других семьях репрессированных так было».

Конечно, она не родилась прямо такой. В детстве, в юности, как все творческие люди, отличалась независимостью. Но потом она начала работать. И всю жизнь одна содержала себя, а потом и меня. Работу свою очень любила, в ней видела свет, радость своей жизни. Ей нужно было устойчивое положение, стабильная зарплата. И постепенно, незаметно для себя она приспособилась. И стала другой.

Вполне естественно для человека – стремиться иметь работу, квартиру. Поэтому как естественное воспринималось и то, за счет чего это достигалось.

Ошибается тот, кто считает главными жертвами «советского режима» репрессированных или диссидентов. Как раз у них был шанс на определенную внутреннюю независимость. Именно потому, что социум вытолкнул их из себя – они имели возможность дистанцироваться, взглянуть на него со стороны. Нет, главные жертвы – «обычные» советские люди. Потому что в обмен на свое благополучие они отдали внутреннюю свободу. Сами того не заметив.

И мама не исключение. Она действительно была в этом смысле типичным советским человеком.

Она никогда не признавала своих ошибок. Я рассказывал уже, как, умирая, в ответ на мой вопрос об Алексее Ивановиче Шведове – не жалеет ли она, что ему отказала – мама ответила: «Нет, не жалею». И объяснила, что родственникам не понравился бы русский жених. Прошло 57 лет. Но ей и в голову не пришло пересмотреть своё прошлое.

О своём замужестве она говорила: «Мне хотелось иметь свою семью». Но как можно было иметь семью с таким человеком? О своём разводе: «Вы бы начали ссориться (т.е. я и мой отец). Поэтому я ушла от него».

И ей казалось это достаточным. Найти благовидное объяснение. Без труда подыскав его, она успокаивалась.

Нет, в этом она не была сильной, наоборот. Но именно такой, отлично отработанный, приём – давал ей редкую душевную ясность, незамутненность, какую-то кристальную чистоту сознания. Тоже очень характерную для советских людей.

Если взглянуть на фото тех лет, мы увидим открытые лица, ясные глаза, искренние улыбки. Даже какую-то зависть это вызывает. Полное отсутствие внутренних противоречий – вот, пожалуй, основная черта советского человека. Маме это было свойственно в полной мере.

В первый год работы она сняла со стены в своем классе портрет Сталина – и повесила то ли Чехова, то ли Толстого. Это не была политическая демонстрация: она просто решила, что на уроках литературы дети должны видеть писателя, а не вождя. Поступок, конечно, безумный и крайне опасный. Но у них был хороший, человечный директор – и дело замяли. А могло кончиться лагерем.

Такой она была в молодости.

Спустя почти 30 лет, в конце 70-х – начале 80-х гг., советских евреев стали понемногу выпускать в Израиль. Мама работала в школе и была секретарем партийной организации (одно время – и завучем). Евреев выпускали – но публично осуждали за предательство дела социализма. Это такой ритуал.

Одна мамина приятельница – намного моложе нее, учительница английского языка – собралась уезжать. Предварительно следовало исключить ее из партии. И вот на собрании мама выступала и говорила все те правильные слова, какие полагалось произносить в подобных случаях. И была очень удивлена, что эта женщина страшно обиделась на нее, даже заплакала, перестала с ней разговаривать.

Когда мама рассказывала мне об этом, она улыбалась: ей по-прежнему казалась странной такая болезненная реакция – не на поступок, не на подлинные чувства – а на ритуал. Да, она ритуально осудила ее намерение оставить славные ряды строителей Нового Мира – но ведь без этого нельзя было. Чтобы уехать, надо быть исключенной из КПСС. Иного пути

не существовало. Она как секретарь парторганизации помогла «отщепенке» как можно быстрее и безболезненнее пройти эту неизбежную процедуру и уехать. И на что тут обижаться? Разве она говорила то, что на самом деле думала?

Ей так же непонятна была обида этой молодой учительницы, как непонятна была бы врачу-дантисту реакция пациента, которому врач удаляет зуб – и делает это быстро и качественно, хотя и не совсем безболезненно – а пациент не только вопит от боли, но и бросается на добросовестного эскулапа с кулаками.

Да, она очень изменилась за эти 30 лет.

Но научившись обманывать себя, она потеряла возможность самостоятельно изменить свою жизнь: понять свои ошибки и исправить их, насколько это еще было возможно.

Теперь ее надежда была только во мне. Только я один в целом мире мог ей помочь очистить свою душу, увидеть свою жизнь – такой, какой она была на самом деле. Но словами это сделать нельзя было. Я должен был помочь ей своими поступками, самой своей жизнью.

Чем же мы жили все эти годы?

Я жил детьми и своей работой. Даже работу репетитора я очень любил. У меня по-прежнему были прекрасные отношения с учениками. Они звонили мне уже после поступления в институт, рассказывали о своих делах.



*Я, Саша Оситова и Кира Тароева
на Литературном клубе. 2009 год.*

Я получал письма от читателей – и особенно читательниц – благодаривших меня за статьи и книги. Видел в Интернет восторженные высказывания, вроде «Вадим Слуцкий прекрасный педагог», «педагог от Бога», «Вадим Слуцкий форева» – и пр. Прочел рецензию на книгу «Мои дорогие дети» на сайте интернет-магазина «Лабиринт» – вот она: «Более чем скромная с виду книжечка. Но это тот случай, когда внешность обманчива. Читается книжка так, что оторваться невозможно. Написано

красивым языком. Рассказы о детях-школьниках. Какими их видит учитель. Но учитель необыкновенный. Мудрый, внимательный и бесконечно добрый к детям. Ни мне, ни моим детям пока такие не попадались, к сожалению. И все-таки приятно осознавать, что такие учителя есть.

Есть рассказы веселые, есть немного грустные. Но все заставляют задуматься. О нас, о наших детях. И о воспитании. Удивительно, как автор ненавязчиво говорит в книге об этом. Легко, но в то же время глубоко. Это лучшая книга о воспитании детей школьного возраста, которую я читала. И самая интересная. Обязательно буду перечитывать».

Я видел в статистике посещений своего сайта сотни и тысячи людей, некоторые оставляли записи в гостевой книге – в том же роде, что приведена выше. Я понимал, что это всё вполне заслуженно. Понимал, что педагогика – моё призвание. Что я действительно хороший педагог.

И это было, конечно, огромным стимулом, психологическим допингом для меня. Такого житейски слабого, одинокого, травимого и преследуемого. И я всячески цеплялся за это – то единственное, что мне в жизни по-настоящему удалось.

«Педагог от Бога» – да, это так. Но не от Первого – а от Второго Бога. От мамы.

Это ей я обязан любовью к детям и школе.

Когда я был еще ребенком, я видел ее, приходившую из школы: такую красивую, весёлую, праздничную, такую загадочную. Я видел, как ее все уважают. Она рассказывала всякие случаи из школьной жизни – и это было всегда так интересно, так увлекательно. Она заразила меня любовью к этой работе. Хотя и всегда говорила, что не хочет, чтобы я стал учителем, потому что это очень трудно. Но это слова – а не словами человек влияет на человека. Во всяком случае, не только и не главным образом словами.

В то же время я шёл в профессии своим, совершенно оригинальным, путём. Мама была прекрасным преподавателем. Я – прежде всего, воспитатель. Мои статьи в журнале «Мой ребенок» – о воспитании детей дошкольного возраста. В этом я всегда был совершенно самостоятельным и сильным. И именно потому, что во всем прочем я оказался слабым, мне так важно было сохранить представление о себе – как о сильном педагоге.

«Уважаемый Вадим Ильич», – так всегда обращались ко мне мои редакторы. Это не фигура речи только – они на самом деле так ко мне относятся. Каждому из нас важно себя уважать. И это помогало мне верить в свою состоятельность. Тем более, я всегда понимал: педагогика – очень трудная деятельность. Возможно, одна из самых сложных. И я успешен – именно в ней.

Всё это было, конечно, хорошо понятно и близко моей маме. Она ведь и сама была прекрасным педагогом. И в моих профессиональных успехах она видела и смысл своей жизни. И она по-прежнему была моей поддержкой.



Научившись очень хорошо работать, я по-прежнему не умел зарабатывать – и даже тратить деньги. И она – как и всю жизнь – продолжала помогать мне. Меня всё время увольняли. Она получала большую пенсию. После 80 лет – почти 17 тысяч рублей (это примерно 600–650 долларов). Как правило, ее пенсия была больше

моего заработка. Это было для нее важно: чувствовать себя нужной мне – в том числе и в этом смысле. И она не задумывалась над тем, что это плохо: я уже немолодой человек – а не научился даже сам себя содержать и не могу обойтись без ее, старухи, материальной поддержки.

Это осталось в ней до конца. Последнюю пенсию ей принесли 5 августа – а 20-го она умерла. Она уже не могла сама повернуться в постели, уже почти не могла говорить. Она потеряла ощущение времени: не знала, день ли это, вечер или ночь. Но в середине дня 5 числа она спросила еле слышно, какое сегодня число. Я ответил. «Пенсия!» – сказала она. Я объяснил, что почтальон уже приходил, я расписался за нее.

Это был источник ее самоуважения: она продолжает помогать мне. Она моя поддержка. Она хотела оставаться сильной – до конца. И в ее представлении это ей удалось.

Она до самого конца пыталась работать на кухне. Только силой прогнав ее, можно было ее остановить. Она уже не могла – но все равно что-то пыталась делать. Это было ей совершенно необходимо психологически.

Кстати, я так и не научился готовить. Когда надо было сварить обед, я постоянно спрашивал маму: что положить, в каких пропорциях. Без ее указаний я ничего не мог сварить, несмотря на то, что и у нее, и у меня строгая диета – и ничего сложного готовить не надо было. Как я питаюсь сейчас, я лучше не буду рассказывать.

Некоторые маминь базалиомы (болячки на коже – из-за кератоза, рака кожи) надо было перевязывать, бинты прилипали, и она пользовалась разорванным на полоски полотном (от старых простыней). Их она стирала и вешала сушиться на кухне. Но веревки протянуты под потолком. И приходилось, стоя на шаткой и скользкой табуретке, подняв руки, вешать эти мокрые тряпочки. Я сто раз просил ее этого не делать, дожидаться, пока повешу я. Она не обращала внимания на мои просьбы – и до последнего продолжала всё делать сама. Чудо, что она ни разу не упала – а если бы упала, понятно, чем это могло кончиться.

Но ей важно было сохранить представление о себе, как о САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ, важно было ВСЁ ДЕЛАТЬ САМОЙ.

Чем более старой, слабой, беспомощной она становилась, тем больше я любил ее. Ей, конечно, была приятна моя – пусть неловкая, как у подростка – любовь и забота. Но она все-таки хотела всё делать сама – и сама заботиться обо мне.

Она продолжала штопать мои носки – хотя в этом не было необходимости: можно было их просто выбросить и купить новые. В последние годы у нас водились деньги: я прилично зарабатывал, она получала большую пенсию.

Бедная! У нее так и не появилось уверенности, ощущения, что она нужна мне САМА по СЕБЕ – и беспомощная, слабая, ничего не делающая по дому – нужна и дорога, потому что я ЕЁ ЛЮБЛЮ. Она настолько была в этом смысле робкой, неуверенной в себе – что не могла до самого конца поверить в это – совершенно несомненное и очевидное. Ее преданность так и осталась неразрывно связанной с самоуничижением. Чтобы ощущать свою нужность, ей обязательно нужно было стирать, варить, штопать, убирать. Как будто она служанка – а не мама, не самый мой близкий и единственный близкий человек.

Иногда это выливалось в настоящую войну. После инсульта я категорически запретил ей работать на кухне. Она, конечно, всё равно продолжала что-то делать. Однажды пошла и вымыла кучу посуды. Тогда я достал из холодильника сметану – вымазал эту чистую посуду сметаной (израсходовав ее почти всю), продемонстрировал маме – и сказал, что вот так эта посуда будет стоять до завтра, а завтра Я ЕЁ ВЫМОЮ.

Она притихла. Но, к сожалению, моя решительность – как у всех слабых людей – не держалась долго. А мама была очень упрямой, упертой. И обычно – даже в старости – добивалась своего.

Правда, мы все же никогда не ссорились. За всю жизнь у нас не было ни одной настоящей ссоры. Я, сколько могу вспомнить, повысил на нее голос 2 или 3 раза. Она – ни разу. Впрочем, даже эти немногие размолвки между нами нельзя назвать ссорами. Мама всегда внешне мне уступала. И мы были слишком привязаны друг к другу, не могли обойтись друг без друга.

Ее мир был таков: у нее есть сын, он замечательный педагог и прекрасный сын (в этом она была убеждена) – а я его поддержка и опора. И это давало ей цель, самоуважение, давало достоинство ее жизни.

Я тоже верил, что я хороший сын. И был уверен, что я хороший педагог. Понимал, что мало что сделал в практической педагогике – из-за постоянных увольнений, невозможности стабильно работать в скольконибудь человеческих условиях и с одними и теми же детьми. Но считал, что это не моя вина. Причину видел только в том, что я свободный человек, а в России нужны рабы. Даже гордился тем, что я такой свободный и независимый.

Что моя внутренняя свобода соединена с инфантильностью – из-за которой я постоянно совершал неосторожные поступки, навлекавшие на мою голову гнев высокого начальства – мне не приходило в голову. Я просто не замечал этого в себе.

Я любил Россию. Считал ее своей страной – но захваченной, оккупированной. Пусть оккупанты и были русскими – а я как раз не русский и приехал в Россию в 28 лет. Потеряв свою настоящую родину – я привязался к России как к родине: здесь были мои ученики, которых я любил, которым отдавал себя. Эта привязанность была тем сильнее, чем меньше у меня было шансов вернуться в Кишинев. А я считал, что их нет совсем. Без родины жить я не могу. И я стал считать родиной Россию. Да, безумной, жестокой, пожирающей своих детей – но все-таки родиной. Полюбил русскую природу.

И так как я научился не замечать своих проблем, а видел только свои достижения – то и свою жизнь ощущал как вполне достойную.

И так мы жили долгие-долгие годы.

Нашу соседку зовут Рябинина Лариса. На лестничной площадке тут две квартиры. Наша первая. Ее вторая.

Знакомство с ней началось с того, что она каждую неделю приходила к маме и кланчила у нее деньги на водку. Униженно кланчила. Мама знала, зачем ей десятка. А с деньгами у нас тогда было туго. Но давала. Она уверена была, что с соседями надо дружить и помогать им, какими бы они ни были.

Я в этом уверен никогда не был, поэтому мне эта история в конце концов надоела – я стал открывать двери вместо мамы и никаких денег ей не давал. Разговаривал с ней холодно, сухо.

И уже тогда она на меня очень обиделась.

Лариса Рябинина крупная, сильная, высокого роста и могла бы быть красива, если бы не крючковатый, как Бабы Яги, нос – и, главное, если бы не выражение лица: хитро-лицемерное и подлое. Подлое оно у нее всегда. Но есть две вариации: иногда оно робко-подлое (например, когда она просит денег). Иногда нагло-подлое.

На втором этаже жил ее отец (с ее матерью он был в разводе), Виктор Михайлович. Тоже пьяница. Но он любил играть на пианино, был застройщиком. Любил читать. Был добрым и весьма неглупым человеком. Да и внешне довольно симпатичным – когда не был пьян.

Как-то нам привезли дрова, и он попросил продать ему немного дров: ему нечем топить. Я удивился: «Вы же получаете пенсию. Купите себе!» Он сказал, что пенсию забирает Лариса. «Так скажите ей, чтобы купила вам дрова.» Он только махнул рукой. Дров у нас было в обрез, я ему отказал. Как он тогда прожил зиму, не знаю.

У Ларисы была мама, тоже пьяница. Часто дочь не пускала ее, пьяную, в квартиру. Тогда мать долго и нудно выламывала двери – но не могла вы-

ломать: это могло продолжаться часами, с некоторыми перерывами. Мать ее работала где-то уборщицей. Потом вышла на пенсию.

Лариса очень любит животных. Когда она завела себе черненькую кошечку, это милое создание постоянно гадило в подъезде. Иногда она удовлетворяла малую нужду в щель под нашей дверью. Я несколько раз говорил хозяйке об этом, и ее это возмущало. Она уверена, что раз мы ее соседи, то должны всё покорно терпеть от нее.

Тогда я позвонил в санэпидемстанцию – и их оштрафовали. Кошка после этого куда-то пропала.

Но Лариса очень любит животных. И она завела собаку. Звали ее Леся. Это была очень симпатичная и умная собачка, рыженькая, как Каштанка у Чехова. Но жила она фактически в подъезде. Она сучка. Так что в период течки к нам в подъезд собирались все окрестные кобели, иногда – до 10–12 штук. Среди них попадались весьма крупные звери.

Мама боялась выходить из подъезда, когда они терлись у крыльца – или даже забегали прямо в подъезд. Все они оставляли на дверях и стенах дома свои расписки – как это принято у собак – и у дома, и в самом подъезде стоял сильнейший запах собачьей мочи.

Леся постоянно таскала в подъезд объедки с помойки, какие-то газеты, пакеты. Ее пускали ночевать в дом, но почти не кормили.

Однажды Лариса, собираясь куда-то уходить и открыв дверь, увидела возле своей двери очередную мусорную кучу. А моя мама в это время тоже выходила. Лариса стала кричать на нее, что это я принес мусор и специально подбросил под их дверь. Мама что-то ей хотела возразить, как всегда, довольно мирно – но Лариса наступала на нее, мама отступала – и так они зашли в нашу квартиру. Увидев, что мама ее боится, Лариса стала ее оскорблять, материться, оскорблять меня, угрожать. Мама даже упала на пол. Лариса ей крикнула: «Вы только не умирайте!» – и убежала.

Меня в тот момент дома не было.

Как ни странно, меня – человека мягкого и интеллигентного – она боится. Прямо ссориться со мной никогда не решалась.

Потом Леся стала нападать на почтальонов – хозяев ее опять-таки оштрафовали (без моего участия: в милицию обратилась сама покусанная собакой почтальонша). И Леся тоже куда-то пропала. Лариса потом всем рассказывала, что это я ее отвёз в лес и там привязал на съедение волкам.

У Ларисы есть очень симпатичная дочь, Соня. Пока она была маленькая, у нас с ней сохранялись прекрасные отношения – как всегда у меня бывает с детьми. Но когда она выросла, ей понадобилась подлизаться к маме – и она стала мне пакостить. Она постоянно в подъезде болтала с приятелями, они грызли семечки – а шелуху бросали в наш почтовый ящик или под нашу дверь. Несколько раз ее мальчишки, часто сменявшиеся, сбивали замки на нашем дровяном сарае. Один раз даже сняли и унесли

саму дверь сарая. Залезали на крышу сарая и проламывали шифер – чтобы дрова заливали дожди. Однажды залезли внутрь сарая и всё там разбросали – но ничего не украли.

Был даже случай, когда Соня с приятелями обмазали дерьмом доски у двери нашего сарая. Этим солидным куском дерьма они обязаны были одному бомжу, остановившемуся неподалеку по нужде.

При этом Соня – очень смазливая девочка. Встречая меня, вся разублававшись, она очень вежливо и вкрадчиво здоровалась. Я ей не отвечал, но это ее только забавляло.

В 3-й квартире, над нами, жила пожилая женщина, Зоя Дмитриевна. Пенсионерка, бывшая продавщица. У нее – сын, живший отдельно. С мужем она разошлась. Сына своего она ненавидела и никогда не говорила о нем ни одного хорошего слова, а честила и в хвост, и в гриву: он и пьяница, и такой, и сякой – немазанный-сухой. Зовут его Андрей. То, что он пьяница, увы, правда. У Зои Дмитриевны в квартире не было ни одной книги, она никогда не читала и газет. Но отличалась напористостью, любила покричать.

С ней мы с мамой очень подружились. Сначала потому, что я посадил под нашими окнами «садик» (по ее определению). Перечислю всё посаженное: яблоня, верба, ольха, черемуха, два клёна, две берёзы, куст черной смородины, два куста красной, крыжовник, четыре куста сирени, куст белых роз, три куста красных (чайных) роз, два куста шиповника – ну и всякие цветы. Всё это на довольно небольшом пятачке.

Раньше на этом месте был пустырь и мусорная свалка, а еще там сосед из второго подъезда ставил свою машину. И газовал нам прямо в форточку.

И вот Зоя Дмитриевна меня хвалила, была очень довольна, что я так цивилизовал прилегающую территорию.

Потом она стала к нам заходить – мерить давление. У нас был аппарат, я мерил давление маме – и ей тоже стал. Это значительно повысило мою квалификацию в этом отношении, потому что мама была худенькая, ей мерить давление было нетрудно. А Зоя Дмитриевна, наоборот, маленькая и полная, как бочечка. Руки у нее толстые. Но я научился – и мерил ей давление. Потом она просто приходила что-то обсудить, поговорить. И мы даже с ней подружились. Когда она уезжала к родственникам, ключи от квартиры оставляла нам, и я кормил ее рыжего, толстого кота.

Но политика Зои Дмитриевны по отношению к Ларисе была соглашательская: и нашим – и вашим. Она Ларису боялась, не хотела с ней ссориться. В какой-то момент почувствовала, что Лариса уже очень гневается на нее: из-за дружбы со мной, ее главным врагом.

Случилось это так.

Мы с Зоей Дмитриевной купили замок и поставили на двери в подъезд. Не кодовый – обычный замок. Ключи отдали всем – в том числе и Ларисе. Но она очень безалаберная, ключи всё время забывала взять.

И вот как-то ночью она пришла пьяная, с Соней и еще какой-то подружкой. И стала ломиться в дверь. Стучала нам в оконное стекло, чуть не выбила его. Я встал, оделся, вышел – уже очень рассерженный – и спросил, почему она стучит в окно чужой квартиры и почему ломает не его купленный замок. Она стала хватать меня руками – но я ее оттолкнул, так, что она отлетела очень далеко и едва не упала. Лариса – русская, как и Саша Леденцов. На нее такой образ действий тоже оказал благотворное влияние. И я зашел обратно в подъезд и закрыл дверь. Открывала ее потом Зоя Дмитриевна. Перепуганная шумом, она спустилась со второго этажа, зашла к Ларисе в гости и выслушала всё, что та думала обо мне. И вот тут она почувствовала, что ей надо выбрать: или – или. Или мы с мамой – или Лариса. Быть или не быть!

И она выбрала Ларису, потому что ее боялась – а меня не боялась.

Незадолго до этого у Зои Дмитриевны случился сердечный приступ. Я – ночью – поднялся к ней, держал ее за руку, успокаивал, добился приезда «Скорой» (она сама тоже звонила, но сказала, что у нее «давление» – и «Скорая» не приехала). Потом ее положили в больницу, и я носил ей туда нужные вещи, так как сын её был занят: у него был запой. Мама много раз посещала ее в больнице.

Был даже случай, когда в больнице лежала моя мама – и Зоя Дмитриевна к ней приехала. Хотя она тоже ходила с трудом.

Но тут вдруг она резко переменялась. Стала ловить меня в подъезде и возле него, ругаться, кричать. Я не останавливался и ничего не отвечал. От этого она еще больше распалялась.

Ей хотелось вывести меня из себя. Не получалось. Она стала ломать ветки на кустах смородины. Добилась того, что спилили – по решению городских властей – одну из берез, когда-то мной посаженных, так как она якобы росла слишком близко от дома. Но, видимо, Ларисе этого было недостаточно. Зое Дмитриевне хотелось во что бы то ни стало доказать Ларисе свою преданность.

И вот как-то она забрасывала в свой сарай дрова – а сарай на втором этаже. Она залезла на кучу скользких дров (накануне прошел дождь). Ей уже было далеко за 70, она маленького роста. И она поскользнулась и упала на дрова. Упала больно. Было много синяков.

И на следующий день она подала в милицию заявление, что я напал на нее, толкнул на дрова, пытался задушить (один синяк у нее был на шее, возле уха) и угрожал ее убить. После чего она меня страшно возненавидела.

Потом было следствие, суд. В суде, перед заседанием, Зоя Дмитриевна жутко скандалила, ругала меня, визжала на весь суд. Приезжала она в суд с Ларисой, на ее машине: Лариса тогда трудилась в мини-такси. Лариса была свидетелем.

И меня, конечно, осудили – на 2 года условно.

Но успокоиться Зоя Дмитриевна не могла, и не могла уже жить рядом с нами. И вскоре она куда-то переехала, сын увез и ее, и всю мебель на машине. Квартиру продали – и теперь тут живут другие люди.

Лариса после отъезда соратницы как-то присмирела, и постоянные пакости прекратились. Перестали сбивать замки, ломать двери сарая.

Вот только мамы уже нет.

Да, я забыл сказать, что мама в последние годы не могла уже сама спускаться с крыльца, и я сделал для нее деревянные перила – которые постоянно кто-то ломал, и я их все время вынужден был чинить. Теперь и перила эти стоят, и их никто не ломает. Вот только они уже не нужны.

В Кишиневе у нас были хорошие соседи, мы помогали друг другу. Рядом жила замечательная женщина, почти столетняя учительница-молдаванка: с ней дружила еще моя бабушка. И мне она очень нравилась. У нее была дочь, тоже уже старая, Людмила Семеновна. Именно она спасала меня, когда я таким странным образом нанес сам себе рану в живот: об этом я рассказывал.

Мы и представить себе не могли, что бывают такие люди.

А это я еще не всё рассказал. В суде на стороне «потерпевшей» выступала еще одна свидетельница – тоже соседка, из другого подъезда. Муж этой соседки захватил сарай, принадлежащий нашей квартире. Это было еще до нашего приезда в Петрозаводск: хозяин квартиры сидел в тюрьме. Когда мы купили эту квартиру, я просил его освободить сарай и снять замок – он стал материться. Я спилил его замок и вынес всё, что там было, из сарая. Повесил свой замок. Потом подал в суд – и суд вынес решение в мою пользу. Вот почему эта соседка, спустя почти десять лет, считала меня очень плохим человеком. Она откровенно объяснила это судье: то есть – почему именно она уверена, что я плохой. Рассказала всю историю с сараем и сбитым замком. Также она сообщила, что видела на шее Зои Дмитриевны ДВА синяка (хотя зафиксирован был один).

Показания самой Зои Дмитриевны в том же суде были совершенно феноменальные. Лариса очень хотела, чтобы меня посадили. Она человек с воображением. Она прямой потомок знаменитого карельского сказителя, крестьянина Рябинина. О нем даже книги написаны. И поэтому придумано было по принципу «как пострашней». Зоя Дмитриевна рассказывала, что я напал на нее, толкнул на дрова, потом схватил ее за горло и стал душить изо всех сил и так душил не менее 15–20 минут, всё время громко крича «Я тебя убью!». Но ей это надоело, она «освободилась» – то есть победила меня – и УБЕЖАЛА.

Эти показания суд счел абсолютно достоверными.

Именно в то время, когда всё это происходило, я основал Литературный клуб, издавал журнал «Эльф». Это был очень интересный журнал, мы выпустили 10 номеров. У нас получился хороший клуб. И я этим жил. И мама тоже. И мы как-то всё это выдержали.

Потом я ходил отмечаться в уголовно-исполнительную инспекцию. Там сидели очень симпатичные люди, их страшно смущало, что такой человек, как я, ходит к ним отмечаться. Мне они даже понравились.

Вот такие у нас тут соседи. Так мы с мамой жили в России.



На Литературном клубе. 2008 г.

ГЛАВА 17.

У тебя не получится. Мама и мои девушки. Что такое творчество? Гоша

Даже тогда, когда я был ребенком, мама почти всё мне позволяла. Но при этом всегда предупреждала меня: «У тебя не получится».

Если я хотел выйти погулять в холодную, сырую погоду, она всегда говорила, что я простужусь. И иногда оказывалась права. Если я хотел сам что-то приготовить (что случалось нечасто и носило характер протеста против «кухонной дискриминации», так как мама почти всегда всё делала сама), пусть даже просто гречневую кашу, она говорила: «У тебя не получится. Это непросто!» «Что же тут сложного?» – спрашивал я. «Нужно терпение. Нужно знать пропорции». «Так скажи мне». «Три стакана воды на стакан крупы. Варить на большом огне, пока не начнёт прилипать ко дну. И потом сделать маленький огонь и непрерывно помешивать. Можно доливать воду. Нужно, чтобы не было отдельных крупинки, чтобы была сплошная масса». «Ну и что тут трудного?» «Варить нужно полчаса, не меньше. У тебя не хватит терпения».

Даже и более простые задачи – например, чистка кастрюль – оказывались непосильны для меня. «Посмотри! – говорила мама. – Потрогай пальцем. Это налёт жира. Его нужно счищать!» Я в ее глазах был никчёмным и неумелым – во всех бытовых и житейских делах.

«Ты не сможешь!» – говорила она, и в ее голосе, как мне казалось, звучала странная надежда.

Странно! Она, такая умная, проницательная, тонкая, талантливая, не догадывалась, что ведет себя неправильно.

Правда, с годами это почти прекратилось. Но, как мне кажется, мама только перестала говорить об этом. И всё равно я представлялся ей безнадежным неумехой, не способным даже по-человечески сварить гречневую кашу.

Странно еще то, что это нисколько не мешало ей считать меня «самым лучшим сыном». Почему именно тот сын, который не умеет варить гречневую кашу, не способен почистить кастрюлю, каждый раз простуживается, выйдя в дождик на улицу, и неизбежно ломает ноги, шею, позвоночник и всё, что можно сломать, если залезет на дерево, – это самый лучший сын? Она не хотела сказать: лучший ДЛЯ МЕНЯ. Она имела в виду, что я объективно самый лучший.

Впрочем, как я уже сказал, она не была чувствительна к противоречиям и совсем не умела и не привыкла разбираться в себе. Так что ей это вовсе не казалось странным.

Она верила в меня – но только в том, что касается творчества.

Я уже говорил, что мама всегда ревновала ко всем девушкам и женщинам, которые мне нравились.

Когда моя первая девушка Катя Жосан, зашла к нам в гости, мама подвергла ее допросу с пристрастием, так что Катя чувствовала себя очень неловко. В 2002 году я ездил летом на педагогический семинар в Москву, там у меня был небольшой роман в учительницею Валентиной Николаевной. Мне было 40 лет. Я даже не могу сказать, что она мне очень нравилась, хотя была высокая, красивая, намного моложе меня. Но она плохая учительница, и особого уважения у меня не вызывала. Это следствие тоски одиночества.

Когда я приехал, показал маме фото: на одном из них мы с Валею стояли под ручку у входа в школу, где проходил семинар. Она мгновенно что-то почувствовала – и сказала:

– Очень красивая пара!

Почти невозможно объяснить словами, КАК она это сказала. Она была прирожденная актриса – и владела своим голосом великолепно. Не ледяным тоном – а каким-то едко-ледяным. И в то же время обиженным, даже с какой-то болью в голосе. И я больше никогда ей не говорил о Вале, тем более что глубокого следа в моем сердце она не оставила. Это было мимолетное увлечение. Я любил Лену. И никакую другую женщину уже не мог полюбить по-настоящему.

Когда мама уже умирала, во время последней ее болезни, у меня завязалось что-то вроде интернет-романа с Мариной Иримчук, кишиневской журналисткой, с которой я не был знаком, живя в Кишиневе. Правда, она – трезвая и практичная – вовремя меня остановила. И мы остались друзьями по переписке. Она хорошая, добрая и умная.

Я рассказал маме об этой неожиданной дружбе с Мариной. Об ее делах и заботах. О том, как она пытается решить проблему с учебой своего сына, уже довольно взрослого. Мама что-то почувствовала, какое-то моё равнодушие, интерес к Марине. И очень горячо заговорила о том, что совершенно не обязательно иметь высшее образование, что такая мать может только повредить ребенку своей заботой.

Как она страдала всю жизнь от своего одиночества! В какой беспросветной тьме блуждала! И этого никто не заметил, никто не помог ей.

И в 82 года она так же ревновала меня, 49-летнего, как и тогда, когда мне было 17 и мы встречались с Катей. Для нее ничего не изменилось. Я по-прежнему оставался её единственным спасением от одиночества.

Известный поэт Евгений Евтушенко женат на петрозаводчанке. Поэтому он часто бывает в Петрозаводске. Выступает. Я ходил на его выступления дважды.

Он был тогда уже старый. Билетов не продавали, встреча проходила в актовом зале университета. Зал набит битком, люди стояли в проходах, отдавливая друг другу ноги. Было страшно душно. Евтушенко опоздал на полчаса, но не извинился. Стал, как всегда, рассказывать о себе, о книге, которую пишет. Одет он был тоже как всегда: в костюм, напоминающий пижаму, полосатый и яркий, как перья попугая. На шее у него болтался такой же кричащий и огромных размеров галстук. Было ему уже 75 лет.

Он что-то самодовольно рассказывал о своих новых стихах, сборниках. Люди стояли в проходах, не дыша, наступая на ноги друг другу. Он ничего не замечал. Стал читать стихи, как всегда, грассируя, то повышая, то понижая голос.

Потом он отвечал на записки, и кто-то спросил, не хочет ли он разделить со своим народом его нынешнюю судьбу. Евтушенко ведь давно живет в Америке. Он страшно обиделся. Сказал, что он разделяет судьбу, потому что пишет стихи. И прочел пустое, напыщенное стихотворение о современной России, о каких-то событиях, о которых тогда писали в газетах.

Я сидел и смотрел на него. И думал, что этот человек – глубоко нетворческий. Более нетворческого человека просто трудно себе представить. Он так – как жар-птица – одевался в молодости. Так одевается и в старости. Он был эгоистичным и самовлюбленным до степени откровенного нарциссизма – таким и остался. У него было 3 жены. На третьей, той самой, из Петрозаводска, он женился в 50 лет, ей было 25 или около того. Но любить женщину он так и не научился. Он просто устал от бесприютности, одиночества. А она решила, что это неплохо, если муж – известный поэт. Можно уехать в США. Жить обеспечено.

Эгоцентричный мальчишка. Таким и остался. Все силы, всё время были отданы т.н. «творчеству».

Но почему творчество в создании себя, самой своей личности – неважно? А важно только создание стихов? Почему стихи, книги – важнее самого человека?

Евтушенко – хороший, талантливый поэт. Мама любила многие его стихи: «Люди», «Карликовые березы», «Ольховая сережка». И мне они нравятся.

Он действительно поэт по призванию. Но почему надо было пожертвовать человеком в себе – ради поэта в себе? Остаться навсегда неполноценным, инфантильным?

А ведь это типично для т.н. «творческих людей». Таким был Моцарт. И многие, многие другие, знаменитые и незнаменитые.

И я это всегда понимал. Почему же не заметил в самом себе?

Да, это очень трудно – иметь призвание. Заниматься творческой деятельностью. Нужно много сил, времени, чтобы достичь успеха, добиться от себя мастерства. А когда решать другие задачи?

Творчество увлекает, затягивает. «Работа с детьми очень затягивает», – как-то сказала мне мама. Да, это правда. Затягивает, как воронка. И ты обо всём забываешь.

В этом смысле лучше не быть творческим человеком, не иметь никаких талантов. Можно спокойно решать свои проблемы, устраивать свою жизнь.

Как часто творческие люди одиноки, неприкаянны, рано умирают, кончают с собой. К этому так все привыкли, что уже воспринимают как что-то нормальное, естественное. Художники – ну, они все вроде сумасшедших. Тут уж ничего не поделаешь!

Сколько я видел хороших, крепких семей, с достатком, со здоровыми детьми, даже с дружбой. Но родители работали только ради денег. Чего-то не хватало в их жизни, такой, казалось бы, налаженной, благополучной.

Ведь творчество – это большая радость. И нет в их жизни этой радости. Они обыватели. Хорошие, добрые, честные. Скучные. Благополучные.

А судьбы творческих людей часто непомерно трудны, изломаны. И так много среди них – да, талантливых, умных, интересных – но: инфантильных подростков.

Что-то тут не так. Не могут люди существовать без творчества. Надо помогать творческим людям, людям с призванием, которые многое делают для других – а сами часто одиноки, неустроенны и несчастны. Но и т.н. «нетворческим» людям надо помогать: найти себя, открыть в себе творческие силы. Ведь все мы рождены для творчества. Это суть человека.

Что же лучше в жизни: заниматься мышинной возней только ради заработка и быть благополучным и благоустроенным – или одиноким и инфантильным, но успешным в творчестве? Что лучше: не иметь правой ноги – или не иметь левой?

Лучше иметь обе ноги. Лучше быть полноценным, счастливым человеком.

Мамочка моя! Ты была такой сильной в своем творчестве. И такой слабой в том, что так важно для каждого человека, для каждой женщины.

И я, твой сын, тоже прошел этот крестный путь.

Но разве то, что мы называем «творчеством» – главное в жизни? Разве не важнее – успешно преодолеть свои человеческие проблемы, решить задачу своей жизни? Соответствовать Его замыслу? Стать таким, каким должен стать?

Мы заблудились в этой жизни, мама. Бедная моя, одинокая белокурая красавица!

В 2004 году в нашей семье появился Гоша.

Гоша был бродячим псом. Он попал под машину напротив наших окон. Этого я не видел. Я увидел его лежащим без движения на снегу, у обочины. Был февраль. К вечеру температура опустилась до – 28 градусов ниже нуля. И он бы, конечно, в ту же ночь погиб.

Я не смог его забрать. Он не двигался, но мог приподняться и хотел меня укусить. Он довольно большой – и тогда уже был такой. Думаю, ему был примерно год тогда, или около того.

Я вырыл в глубоком сугробе плотного снега (его чистят всю зиму, но не вывозят, поэтому вдоль дорог образуются огромные сугробы, часто в рост человека) яму, вроде глубокой круглой норы. Набросал туда старых тряпок, даже какое-то старое одеяло бросил. И он понял, и сумел залезть в эту нору.

Я кормил его куриными лапками и головами. Потом мы с двумя мальчишками из нашего двора сколотили для Гоши будку. Я поставил ее рядом с его норой. Постелил там тоже какие-то тряпки. И он стал ночевать в будке. Он уже не пытался кусаться. Я ходил ночью его проведать, не замерз ли. Очень беспокоился за него. И он, наверное, почувствовал это.

А потом он дал себя погладить. В первый раз. Прекрасно помню этот момент. Какая это была радость! Смешно – но это так.

Потом случилась оттепель. И снова заморозок. И Гоша – я его уже называл так – сильно простудился. Он уже мог двигаться, но не отходил от своей будки. Тогда я заманил его в подъезд, а оттуда в квартиру. И вызвал ветеринара.

В первый год это был дикий зверь в полном смысле слова. Ко мне он относился хорошо. Но на поводке идти не хотел, просто ложился и лежал. Грыз коврики. Сгрыз лист кровельного железа, который был прибит перед устьем печки. Там уголок чуть отставал: он начал с этого уголка – и потом прогрыз довольно далеко. Сгрыз мамины тапочки. Поэтому я думаю, что он был тогда еще подростком.

Он лаял на всех мужчин, которых мы встречали на прогулке. Видимо, кто-то его обижал раньше. У меня от этого было много неприятностей.

Нападал на всех крупных собак.

У Гоши своеобразный окрас – тигровый. Наверное, его папа – тигровый боксёр. А мама – обычная карельская дворняжка. Поджарая, с длинным телом и длинными лапами, с закрученным в колечко хвостом, густой, хоть и не длинной шерстью. И Гоша именно такой – только раскрашен необычно.

По характеру он добрый, привязчивый, живой и нервный. Как я. Собака всегда похожа на своего хозяина.

Он часто на прогулке что-то хватал и съедал: я не мог ему помешать. Эта привычка со времен его бродячей юности сохранилась до сих пор.

Однажды он напал на маленького мальчика. Тот катался на санках с горки возле детского сада. Санки понеслись прямо на Гошу. Гоша рывкнул. Мальчик свалился с саней и с криком «Мама!» побежал к зданию детского сада. А я так расвирепел, что Гошу побил. Ударил я его по спине рукой, изо всех сил. И рука потом у меня болела еще два дня.

Но вообще он ласковый и смешной.

Он много раз терялся. Однажды – зимой – потерялся по дороге в школу, где я тогда работал. Я его туда взял в первый раз. Мы с мамой волновались, я ходил его искать. Вечером, поздно, он пришёл. Сам нашёл дорогу. Думаю, он так поздно пришёл потому, что боялся машин. Он их еще долго боялся – после того, как попал под машину.

У Гоши от удара машины были, видимо, повреждены какие-то внутренние органы. Его часто рвало. Случались проблемы с кишечником. Ковёр в нашей комнате до сих пор хранит на себе некоторые следы этих проблем.

Однажды он что-то не то съел на прогулке и отравился. Его просто выворачивало наизнанку. Пришлось делать ему уколы церукала. Я никогда прежде уколов не делал, даже человеку, не то что собаке. Это было очень трудно. Гоша отчаянно сопротивлялся. На штанах у него густая шерсть, ничего не видно.

Потом у него обнаружилась аллергия. Пришлось давать ему тавегил.

Сейчас Гоша даже любит таблетки, охотно их глотает. Привык.

Однажды он пропал летом, в жару. Была течка у собак. Я понял, что он пристал к стае. Написал объявления и расклеил на набережной, где он пропал, и на близлежащих домах. И мне стали звонить владельцы собак, что видели его – да, с порядочной стаей. Там две сучки и несколько кобелей. Но видели их каждый раз в другом месте. Я несколько раз ходил – или, скорее, бегал – туда, где его видели, но не мог ни его, ни стаю поймать.

На четвертый день я стал сильно беспокоиться. Стояла жара. Он наверняка не только не ел, но и почти не пил. Но утром мне позвонил владелец маленькой собачки по кличке Димка. Гоша лежал на мосту через речку Лососинку. Пройти мимо этого места невозможно. Я побежал туда. Гоша лежал посреди моста. Люди обходили его. Страшно измученный, тощий, грязный, с пустым взглядом. Левая задняя лапа вся в запёкшейся крови.

Он не узнал меня, зарычал и отбежал. Но потом опомнился. Я взял его на поводок, и повел домой. Он сумел дойти.

В каком он был ужасном состоянии! Я с трудом домыл его. На лапе у него оказалась глубокая рана. Но я уже привык лечить его. Ему много раз рвали уши, кусали – порой довольно опасно. Однажды на него напал огромный ротвейлер, мне пришлось отбивать Гошу: к счастью, ротвейлер меня кусать не стал – но Гоше прокусил шею почти до самой артерии.

Я теперь специалист по этой части: умею разнимать собачьи драки.

Гоша очень томился в квартире. Мне было его жалко. Я много думал над тем, а имею ли я право запереть в квартире собаку, уже понюхавшую воздуха свободы. Но потом как-то увидел стаю бродячих псов. Один из них, рыжий, страшно изможденный и тощий, лежал на куче сухих листьев. Была поздняя осень. Он смотрел на меня с такой безнадежной тоской, таким горестным, пустым взглядом. Потом с трудом поднялся на негнущиеся лапы и, прихрамывая, пошёл от меня.

И я тогда понял: нет, я имею право! Лучше пусть он скучает дома – чем вот так жить. Без приюта, без хозяина.

Правда, есть псы, которые неплохо себя чувствуют на свободе. Крепкие, здоровые, с толстой шкурой – в прямом и переносном смысле. Но Гоша не такой. Он – как я: тонкая, ранимая натура. Он бы быстро погиб.

Как странно: мне тогда было так тяжело – в 2004 году. Так одиноко. И вот, будто специально мне кто-то подбросил Гошу. И мы подружились.

Гоша живет у нас уже больше семи лет, семь с половиной. Он стал членом нашей семьи. Мама тоже привязалась к нему, всегда беспокоилась, когда он пропадал – переживала вместе со мной. Но боялась его гладить, потому что Гоша тогда прыгал на нее. А он большой и тяжелый. Мама была уже старая и не могла с ним справиться.

Вот он – Гоша. Теперь – единственный член моей семьи.



ГЛАВА 18.

Пийтсиёки. Нина Андреевна. Мамина последняя болезнь и смерть

Какими мы с мамой были людьми, ярко показывает история с моим отъездом в Пийтсиёки.

Я истосковался по школе. И в 2008 году нашел себе работу за пределами Петрозаводска. В поселке Пийтсиёки Суоярвского района Карелии. Это примерно два с половиной – три часа на автобусе от Петрозаводского автовокзала до Суоярви. И потом еще полчаса – от Суоярви до Пийтсиёк.

Там я жил в двухквартирном деревянном доме, в квартире бывших учителей местной школы. Деревенский дом. Огромная, четырехкомнатная, квартира. Там есть отопление, но нет воды. Ее нет во всех Пийтсиёках, даже в школе. Воду надо было набирать в колодце, в соседнем дворе.

Зима. Холодно. Поддувает позёмка. Лежит глубокий снег. От крыльца вниз, через весь двор, мимо старой теплицы с разорванной плёнкой, ведет неровная дощатая дорожка, вроде мостков. В некоторых местах доски сгнили, провалились – их надо обходить. Я беру два ведра, одеваюсь и иду за водой. Два ведра – это на весь день. Выхожу в калитку, она держится на одной петле. Захожу в другую, исправную, крепкую, – на соседний двор. Там низенький древний сарайчик. Открываю одну дверь, другую. Очень низкое помещение, где мне приходится сгибаться в три погибели. Полу-мрак. Колодец – это труба, около метра в диаметре, вкопанная в землю. Вода – совсем неглубоко. Нужно бросить туда ведро с веревкой, набрать воды и за эту веревку вытащить. Пол, покрытый неровной коркой льда, страшно скользкий. Ведро, полное воды, тянет вниз. В отверстие колодца вполне может провалиться человек. Нижний край трубы – почти вровень с полом. Если упасть в колодец – это верная смерть. Так я набирал воду в Пийтсиёках.

Чужая квартира. Я брал с собой номера нашего журнала «Эльф», который сам издавал, где печатались члены моего Литературного клуба. Часто звонил домой, маме. Очень тосковал по ней.

Когда я приехал, в первый день, не смог дозвониться со своего телефона: оказывается, мой сотовый оператор не работает в такой глуши – нужна была другая карта. А я обещал маме позвонить, и знал, что она будет очень волноваться. Бросился бежать по пустой улице, стучался в дома. И меня пустили в один дом, разрешили позвонить.

Сейчас – как тогда – я вижу лица этих людей: пожилые, добрые и какие-то очень деревенские. Помню запах мокрого дерева, старых половиков и прелых осенних листьев, стоявший в прихожей. Была уже ночь, совсем темно. Фонарей на этой улице нет. Я успокоил маму и пошел в темноте, по чужому поселку, к своей квартире.

Двухэтажная старая деревянная школа. Когда-то там учились сотни детей. У меня же в одном классе – 6 человек, в другом – 8, в третьем – 5. Всего в школе 70 учеников.

Мою любимую ученицу Пийтсиёкской школы зовут Наташа Рёмина. Она тогда была в 5 классе. Совершенно чудесная девочка. У нее нет отца, мама – пенсионерка. Наташа очень самостоятельная, с большим достоинством. Как-то я подарил ей на день рождения книгу Астрид Линдгрэн «Ронни – дочь разбойника», и Наташа, поблагодарив, сказала: «Теперь у меня две!» Я не понял сначала. Потом догадался, что у нее две подаренные книги. Вот какая она богатая!

В пять часов вечера, в воскресенье, я уезжал на Петрозаводский автовокзал. Оттуда звонил маме. Потом, на разбитой, грязной «Газели» ехал 3 часа до Суоярви. Свет в салоне водителя не включали, читать было невозможно. В Суоярви я выходил у продуктового магазина на улице Ленина, переходил улицу, покупал билет до Пийтсиёк. И поздно вечером, уже в полной темноте, в той же маршрутке или в «Пазике» с двумя-тремя пассажирами мы отправлялись по грунтовой лесной дороге в поселок.

Я открывал дверь, заходил в дом – и сразу звонил маме.

Четыре месяца я проработал в этой школе.

Мама оставалась дома, с Гошей. Как мы радовались друг другу, когда я приезжал вечером в пятницу! Я очень тосковал по ней всю неделю, и она, конечно, тоже. Но это была трудная задача – и маму она как-то взбодрила. А ведь она была уже совсем старая: 79 лет.

Работа в этой школе уже не доставляла мне прежней радости. Но работал я достойно. И то, что я это смог, что я это сделал – придавало мне сил.

Дважды автобус по пути в Петрозаводск ломался, и мы долго стояли в стлыом зимнем лесу. Я простудился, никак не мог вылечиться.

Уволился я в конце декабря. 24 декабря я записал в своем дневнике: «Весело и радостно мне. А почему так? Потому что был я Человеком и умру Человеком».

Представьте себе эту картину. Глухой, провалившийся во тьме северный поселок. Я один-одинешенек, ни единой близкой души у меня нет – только мама. А она далеко, в Петрозаводске. Старая, больная. Я могу только звонить ей. Мне некуда пойти, не с кем поговорить. Только школа, только дети. А мне – весело и радостно! Потому что я – на своем месте. Я – Учитель!

Хотя нет, был у меня один друг в Пийтсиёках! Соседский пёс. Тех самых соседей, у которых я брал воду из колодца. Они его почти не кормили,

обычно он свободно бегал по поселку. Во всех отношениях обыкновенный пёсик, гораздо меньше и невзрачнее Гоши. Но в квартире у меня было очень сыро, хлеб быстро плесневел. И я отдавал испорченный хлеб моему пушистому другу. Он ел с жадностью! Не ел – пожирал! Глотал, как колбасу. Вечно терся у моей двери, нетерпеливо подпрыгивая.

И когда я шел в школу, он бежал рядом, громко лаял и вилял хвостом. И когда я уезжал в конце декабря, он провожал меня до остановки с таким же радостным лаем. Он не знал, что я уезжаю навсегда.

Как-то ты там, мой дружок? Никто теперь больше не кормит тебя. Бедняга!

Уволился я по обычной для меня причине: директор – жуткая баба – создала мне невыносимую обстановку. Стала специально ставить мне уроки на субботу, чтобы я не мог уехать домой. А я был в этой школе единственным квалифицированным филологом: остальные уроки русского языка и литературы вела местная молодая учительница, только после института, совсем беспомощная – и еще одна учительница начальных классов. Я уехал – и школа снова осталась без учителя.

Четыре месяца. И мама на это согласилась!

Долгими осенними и зимними вечерами она, почти 80-летняя, старая, больная, сидела дома одна, с Гошей. У нее скакало давление, ей самой приходилось его измерять. Однажды в доме замерзла вода, пришлось вызывать аварийную. И всю долгую неделю она – одна. Она тогда уже не ходила в магазин, не могла: я запасал продукты на несколько дней вперед. Да, она любила трудные задачи! И считала это достойной задачей. Она делала это для меня, чтобы я мог еще поработать в школе.

Я приезжал, и она радостно встречала меня. Совсем старая – но по-прежнему гордая и сильная. Она тоже чувствовала себя Человеком. И ее это радовало, давало ей силы жить. Достоинство и смысл – вот что было главным для нее. Эта трудная задача вносила в её жизнь достоинство и смысл. И она ждала меня долгих пять дней, и когда я приезжал, открывала мне двери и обнимала меня. И мы оба были счастливы, что снова вместе после разлуки.

Вот такими мы были с ней. Такой она была, моя мама!

В Пийтсиёках нет не только воды, но и канализации. И мусор никто не вывозит. Его складывают в полиэтиленовые пакеты и выкидывают их за забор своего дома, на ближайший пустырь. Дома там отстоят далеко друг от друга, и много свободного места. И почти все эти пустыри превращены в мусорные свалки. Однажды учитель истории и обществознания Тереза Антоновна даже водила моих учеников на экскурсию – на одну такую свалку, самую крупную.

По утрам в поселке часто отключают свет: на часа – на два. Как раз во время первого-второго урока. Это очень весело: я зажигал фонарик – и мы играли в какие-нибудь языковые игры или просто разговаривали. В по-



*Наш двор в Петрозаводске.
Снимок сделан с нашего крыльца.*

селке нет никакой работы. Ядовитые вещества с многочисленных свалок проникают в почву, попадают в воду – и ее потом приходится пить, потому что вся вода – колодезная.

Так вот – именно в Пийтсиёках я видел самых счастливых людей. Расскажу, как это было.

Я зашел в магазин купить продукты. Там два магазина, один побольше, другой поменьше – рядом друг с другом и в нескольких метрах от дома, где я жил. Один принадлежит ООО «Зевс». Другой – ООО «Бонсай». Это такие карельские названия.

Я зашел в маленький «Зевс». И тут погас свет. Стояла довольно длинная очередь. И вот тут я увидел самых счастливых людей, какие встретились мне за всю жизнь. Продавщица и покупатели весело шутили, смеялись, подзуживали друг друга. Их нисколько не огорчало, что нужно стоять тут и ждать неизвестно сколько. Что они пьют отравленную воду. Что их поселок – сплошная мусорная свалка. Такие веселые, беззаботные, счастливые!

Им ничего не нужно решать самим. Ни за что не нужно отвечать. И им так хорошо.

Это и есть русское счастье: счастье беззаботности – детской легкости жизни.

Говорят, в России людям плохо жить. Нет, им хорошо. Просто нужно их понять. Они ничего не хотят, ни к чему не стремятся, ни за что не отвечают – и им хорошо.

Такая уж это страна.

Руководителем моей дипломной работы в Петрозаводском университете была Нина Андреевна Соколова. Она работала на кафедре русской литературы.

Нина Андреевна – небольшого роста, кругленькая, с простецким лицом. Как многие русские, похожа на ребенка, и голос у нее детский.

Она сильно отличалась от других преподавателей, как правило, равнодушных к своим студентам: читала заранее все мои материалы к дипломной работе, писала ремарки, звонила, спорила. Живо интересовалась мной самим: где я живу, как. И так мы с ней подружились. Я стал приходить к ней домой.

Живёт она одна, в самом центре города, на улице Куйбышева, в доме, где раньше жил мой любимый карельский писатель Александр Линевский и еще много всяких местных деятелей: там на стене куча мемориальных досок. Это квартира ее родителей: мама была адвокатом, отец – проректором университета. Он был дворянского происхождения, а мама нет: Нина Андреевна внешне похожа на свою маму.

Она уже давно живет одна. У нее есть сын. О своем бывшем муже она всегда отзывается недоброжелательно. Сын ее – в Москве, известный журналист. Женат, двое детей. Работает на радио «Свобода», ездит по всему миру. У них в Москве хорошая квартира, дача. Жена – какая-то ученая дама. Очень успешный человек.

Нина Андреевна больше всего любила рассказывать именно о своем сыне. Как она его учила читать. Какой он был способный еще в школе. О его работе, семье. Но я все же чувствовал, что что-то не то в их отношениях.

Я отнюдь не успешный человек. Но моя мама всегда знала, что я ее очень люблю, она нужна и дорога мне – и так будет всегда, в каких бы я ни был обстоятельствах. Тут этого не ощущалось. Он делал и делает для матери всё, что положено: аккуратно звонит, приглашает в Москву, отвозит на машине на дачу. Но нет, видимо, с его стороны того тепла, которое ей так нужно.

И она очень страдала от одиночества. Поэтому всегда радостно встречала меня, старалась угостить повкуснее. Она хорошо готовит рыбу, особенно сига.

Я полюбил ее квартиру, старую, словно пропитанную воспоминаниями, с огромным количеством книг и журналов: не только в комнатах – даже в коридоре. Привязался к Нине Андреевне.

Помню, я один раз пришел: она была больна. Не вставая с дивана, укрытая пледом, она взволнованно рассказывала о новой книге, которую держала в руках. Она пыталась зацепиться хотя бы за книги, за тех немногих людей, кто к ней еще приходил.

Ей всегда тяжело было выдержать свое одиночество. Она общительная по натуре, живая, детски непосредственная. Ей бы нужно жить в большой семье, где много народу, детей. Чтобы было шумно и весело.

А она годами, десятилетиями приходила из университета в свою пустую квартиру.

Она цеплялась за работу до последнего: ушла с кафедры в 80 лет. Но эта работа не совсем её. Она не лектор. Она добросовестная, много читала. Но выбрала эту профессию потому, что ее отец был преподавателем

университета. Это не ее призвание. Даже не знаю, кем ей нужно было стать на самом деле.

Но она благополучно работала. Больше 50 лет на кафедре. Те же люди, тот же, знакомый до мелочей, главный корпус на улице Ленина. Легкая, привычная работа. Поверхностные отношения с большинством студентов, с коллегами. И так годами, десятилетиями.

Город, где она родилась, где прожила всю жизнь. Очень благополучно – но слишком легко прожила. Подруги, тоже совсем старые, а многих уже нет на свете. Дача, построенная ее родителями на Бараньем берегу. Так почему-то называется дачный поселок на противоположном берегу Петрозаводской губы, большого залива Онежского озера, на котором стоит Петрозаводск. Вот это ее жизнь.

И вдруг случилось чудо. Нина Андреевна вышла замуж! Ей было уже почти 70 лет. Ее мужу – Валентину Львовичу – еще больше. Он тоже работал в университете, на медицинском факультете. Он потомственный врач. Жил один, сын его – врач – давно уехал в Канаду, там преуспевал. И вот они сошлись с Ниной Андреевной. И она, детски наивная, поверила, что это по-настоящему, что у нее есть, наконец, муж, близкий человек, что пришел конец ее одиночеству. Была такая счастливая, вся светилась изнутри.

Но Валентин Львович так и не переселился к ней совсем. Жил в своей квартире, к Нине Андреевне наезжал. А потом он серьезно заболел и уже ждал смерти. Но приехал сын, вывез отца в Финляндию, там его прооперировали – и спасли.

Я видел их на улице – вскоре после приезда. Валентин Львович, похожий на испуганного ребенка, медленно, опираясь на палочку, семенил по тротуару; его открытые глаза, казалось, ничего не видели. Рядом так же неторопливо двигался солидный, немолодой уже мужчина: оба полные, широкие, похожие друг на друга.

Валентин Львович – умный, добрый, но слабый человек. В детстве он прошёл через Ровенское гетто. Выжил. Но страх в его душе так и живет. И он робкий, как ребенок. Слишком мягкий.

Он бросил Нину Андреевну, уехал в Канаду. Перед отъездом продал ей весь сахар, полученный в местной еврейской благотворительной организации бесплатно. Не пропадать же добру!

Коллеги исполнили тяжкий долг: проводили ее на пенсию. И забыли о ней.

Сыну она, в сущности, уже не нужна.

И тогда в ней что-то надломилось. Она перестала надеяться. Стала холодной, равнодушной, даже циничной. Прежняя открытая, живая, добрая Нина Андреевна умерла. Она уже не верила в счастье. Продолжать верить стало слишком больно. И она сама погрузилась в пучину своего одиночества.

Пристрастилась к спортивным программам по телевидению. Стала брать в библиотеке пачками детективы. Перестала общаться с подругами, с сестрой.

Она не обращает внимания на своё здоровье. Не хочет ходить к врачам. Ей стало всё равно. Надеяться? – на что? И она махнула рукой на себя, на свою жизнь, на других людей.

Я иногда представляю себе Нину Андреевну в своей квартире, осенью или зимой. За окном, в промозглой осенней мгле, сеется мелкий дождик. Полутемно, тепло, тихо. Она одна. Совсем одна. Она словно погружается в эту сырую холодную мглу. Может быть, сын позвонит. Это событие! Мерно тикают часы на стене: «Не-че-го ждать! Не-че-го ждать!». И этот размеренный тихий звук отзывается болью в сердце. Она сидит, совсем старая, седая, скорчившись, утонув в старом кресле, с книжкой, раскрытой часами на одной и той же странице. Она ничего уже не ждет от жизни, ничего не хочет. Включает телевизор, спортивный канал. Чем-то отвлечется, забыться. Не думать, не чувствовать.

Когда Нина Андреевна, наконец, уволилась с кафедры, другой старейший преподаватель, Лариса Николаевна Колесова, с которой они проработали вместе 50 лет, поместила в университетской газете заметку «Счастли- вый человек». Вот она.



Счастливым человеком. Нина Андреевна Соколова – коренная петрозаводчанка, выросла в интеллигентной семье: мать – известный адвокат, отец – вузовский преподаватель и ученый. Окончив школу, Нина Малявкина стала студенткой историко-филологического факультета университета (1946–1951). Это были трудные годы первого послевоенного десятилетия: скудная библиотека, отсутствие собственных преподавателей по многим предметам (античная, зарубежная литература, введение в литературоведение и др.), которые наизусть читались ленинградскими преподавателями. После окончания университета – успешная учеба в аспирантуре на кафедре советской литературы филфака ЛГУ и возвращение в родной вуз. И вот сегодня кафедра русской

литературы провожает Нину Андреевну Соколову, как принято говорить в таких случаях, на заслуженный отдых. Восемьдесят лет – возраст почтенный, и работать даже с неполной нагрузкой очень трудно. Но и расстаться с кафедрой – коллегами, друзьями, учениками – тоже непросто: здесь прошла почти вся трудовая жизнь со всеми радостями и горестями. На кафедре Н.А. Соколова читала «Историю советской литературы», спецкурсы «Творчество М. Горького» и «Современная поэзия», вела спецсеминар «Творчество М. Горького

и литература 30-х годов», руководила курсовыми и дипломными работами. Позднее освоила один из сложнейших курсов «История русской литературы XVIII века». В 1979–1981 годах Н.А. Соколова успешно работала в Хельсинкском университете: читала лекции, вела практические занятия, в сборнике статей «Аспект» ассоциации преподавателей русского языка в Финляндии опубликовала статью о творчестве Л. Мартынова. Ректор Нильс Окер-Блум по достоинству оценил эрудицию и профессионализм нашего коллеги и наградил Нину Андреевну Медалью Хельсинкского университета. Образованная, добрая, отзывчивая Нина Андреевна – счастливый в общем-то человек: она вырастила великолетнего сына, которым по праву гордится, любит своих внуков и, надеемся, успеет понять правнуков. Мы, Ваши коллеги, желаем Вам, дорогая Нина Андреевна, прежде всего здоровья и благополучной адаптации к новой жизни.

Сколько их, бесконечно одиноких, потерявших надежду – среди нас? Кто знает?

Все-таки с моей мамой не могло случиться то, что случилось с Ниной Андреевной, – что правильнее всего назвать смертью при жизни. Моя мама не русская, а еврейка. Она была сильная и всегда боролась до конца. Жизнь не могла сломить ее.

И она оставалась всё той же: одинокой, но не склоняющей головы перед своим одиночеством. Не потерявшей веры в жизнь. Умеющей радоваться жизни. Надеяться.

До конца!

Но что-то есть и общее в ее судьбе и судьбе Нины Андреевны. Они обе одинаково страдали, обе не нашли выхода. И их трагедии никто не заметил. И никто не помог.

После инсульта здоровье мамы уже не восстановилось по-настоящему. Она не могла нормально ходить: левая нога плохо слушалась ее. Потом начались проблемы с давлением.

Очень мучили базалиомы: они появлялись на ногах, на руках, на шее, на лице. Одна, на груди, у основания шеи, была как кожаный мешочек, наполненный темной кровью. Она висела на тонкой ножке и всё время росла. Мама шила себе специальные воротнички, чтобы закрыть эту ужасную болячку. Ее удалили только летом 2010 года, за год до ее смерти.

В конце 2005 года мы стали покупать супы-концентраты в пакетиках: чтобы сэкономить время. Это была чудовищная глупость, но очень характерная и для нее, и для меня. Ей было уже 77 лет. Вместо того, чтобы найти хорошего частного врача, проконсультироваться по поводу ее питания – мы повели себя так легкомысленно, так безумно.

И в 2006 г. мама попала в больницу с острым панкреатитом.

По дороге в больницу ей было очень плохо. Она всегда молча терпела любую боль, но тут не могла не стонать.

В больнице её положили на кушетку в приемном покое. Врача не было. Маме было очень больно. Я несколько раз спросил, где врач. «Вышел». «Куда вышел? Когда придет?» «Мы не знаем. Ожидайте». Я пошёл его искать.

Это оказался молодой человек, высокий, красивый, несколько монголоидной внешности. Он, видимо, впервые остался главным на дежурстве и страшно наслаждался этим. Во всей его позе, в лице ощущалось огромное наслаждение от своего азиатского величия. Я главный! Я Начальник! Он стоял в коридоре, разговаривал с другим врачом и даже не повернул в мою сторону головы. Однако я не дал им продолжить беседу.

Наконец, Великий Человек спустился за мной в приемный покой. Там он, не торопясь, не роняя своего величия, поговорил с одним, с другим. Потом сел на стул возле мамы.

Ей было очень плохо. Говорить она могла с трудом. Но ронять величие нельзя было, и Мудрый Доктор долго задавал обычные стандартные вопросы, почти не слушая ответов. Потом предложил мне подождать в коридоре. Я эту просьбу проигнорировал. Тогда Заботливый Врачеватель повторил свою просьбу, которую он, видимо, воспринимал как распоряжение или даже приказ. Повторил очень строго. Я объяснил, что не собираюсь выходить в коридор.

Тогда он позвал охранников. Вошли хиленький, небольшого роста молодой человек, почти мальчишка. И среднего роста пожилой с тускло-мрачным выражением лица. Было очевидно, что они со мной не справятся. Я уже был сильно разозлён. И никуда не вышел. Они попытались вывести меня силой, но это не получилось: я взялся рукой за ножку кушетки, на которой лежала мама: оторвать мою руку они не могли. Разговаривать с ними я не стал. Они потоптались и вышли.

Величайший Врачеватель, между тем, снова куда-то удалился. Маме никто не помогал. Я окончательно взбеленился. Медсестра, довольно пожилая, снова позвала тех же охранников. Теперь к ним присоединился еще один, не пожилой и не молодой – но маленький и толстый. Я на них не обращал внимания. Ничего не отвечал. Требовал, чтобы маме помогли, сделали обезболивающий укол. «У нас нет распоряжения врача».

Наконец, он вернулся в сопровождении еще одного эскулапа, постарше. Они стали уговаривать маму сделать ФГС. Это жуткая процедура, фактически пытка. В пищевод просовывают резиновый шланг, довольно толстый – и через него смотрят, что там внутри. Я сказал, что этого сейчас делать нельзя, и потом вряд ли можно будет. Сначала надо обезболить, а потом делать УЗИ или рентген.

Тогда они снова позвали охрану. Теперь их было четверо. И эти четверо напали на меня. Прямо на глазах у мамы. Справиться со мной они не могли минут десять, так я был взбешён. Хотя я физически несильный человек. Всё-таки они меня скрутили, заломили руки за спину, прово-

локли по полу и выбросили за двери, на улицу. Закрыли дверь. Мама осталась там.

Я нашел автомат, позвонил в милицию. Дежурный выслушал меня, сказал, что приедут. Но никто не приехал. Я снова позвонил. На это раз мне сказали, что это я сам что-то там нарушил – а охрана больницы действовала «в пределах своих полномочий».

Только через три часа меня пустили в больницу: боялись, видимо, что я выломаю двери. Я их так тряс, что, наверное, на всех этажах было слышно.

Мама уже лежала в отделении, в палате. Ей сделали ФГС, фактически насильно. Но сделали и укол. Ей было уже не так плохо. Я немного успокоился. До палаты меня сопровождали те же охранники, что напали на меня. Я предложил им не входить, чтобы не волновать больную. Они послушались, стояли в дверях.

Потом я подал заявление в милицию. А на третий день ночью маме понадобились халат и чистое полотенце. Ей сделали какую-то процедуру, в результате которой и полотенце, и халат, которые были у нее, оказались мокрыми. Я побежал в больницу: транспорт уже не ходил. И наткнулся при входе на того самого вьюношу, из числа напавших на меня. Он долго не хотел меня пускать, ходил по коридору и мучительно боролся с собой. «Вы на нас заявления пишете!» – сказал он с глубокой и искренней детской обидой. Но потом все-таки пересилил себя и пропустил. Его титаническая битва с собственной совестью продолжалась добрых десять минут. Я отнес маме пакет с вещами в палату.

Мама выздоровела. Вскоре у меня появился Литературный клуб. И я забыл об этом. Это было мне очень свойственно. Пока она болела, я волновался. Но потом, как только болезнь проходила, переставал о ней думать, занимаясь своими делами и увлечениями. Я не умел заботиться о ней. И мне не приходило в голову, что надо обязательно научиться. Что она на моём попечении. Что я ее единственный близкий человек. Что это, в конце концов, плохо кончится.

И с тех пор у мамы начал постепенно ухудшаться аппетит. Начались запоры. Я два или три раза вызывал врача. Врач советовала обычные слабительные: сенадексин, что-то еще. Я покупал их, но маме это мало помогало. Однако я не обращал на это внимания.

У нее были проблемы с давлением, его надо было нормализовать. Что, в конце концов, удалось, но времени на это ушло много. Базалиомы. Их нужно было периодически удалять хирургическим путем или облучать. Приходилось ездить в онкологический диспансер, что возможно было только летом. Зимой мама не могла туда ездить. Ездили мы на такси. Облучение – это много сеансов, иногда до двадцати. Мама очень уставала.

Я опасался повторного инсульта. Регулярно вызывал невролога, он выписывал кортексин и другие уколы. Все-таки в 2010 году, за год до смер-

ти, у мамы случилась ишемическая атака. Это не инсульт, но что-то похожее, только слабее. Ей стало еще труднее ходить. Я купил ей палочку, и она стала ходить с палочкой.

И всё это – казавшееся гораздо более серьезным, чем какие-то там запоры или небольшое ухудшение аппетита – отвлекало моё внимание. И я до последнего не догадывался, что это симптомы начавшегося онкологического заболевания. Того, от которого она и погибла – спустя почти 5 лет.

Хорошо, я не догадывался. А что же врач?

Нашей участковой была Клевенская. Это толстая баба с амимичным, застывшим лицом. Она упорно рекомендовала одни и те же, видимо, изблюбленные ею лекарства: от давления, от аритмии, от запора. От некоторых из них маме становилось хуже. Она говорила об этом врачу. Та пропускала ее слова мимо ушей и снова выписывала то же самое. Может, просто не знала ничего другого. И мама перестала ей верить, и уже не принимала то, что та ей рекомендовала.

Работая в Пийтсиёках, я заболел: это было банальное ОРВИ. Клевенская не могла его вылечить почти 3 месяца. Просто она сначала не выписала антибиотиков, решив, что и так пройдет. Но и так не прошло. А она не в состоянии была признать свою ошибку и продолжала упорно лечить без антибиотиков. Только когда я обратился к другому врачу, Костиной, я избавился от этого ОРВИ.

Мне это, наконец, надоело. Я написал заявление на имя главврача поликлиники. Просил дать нам другого участкового. Главврач удовлетворил мою просьбу и назначил Костину. Но та долго не хотела ходить к нам домой: не её участок. А мама не могла ходить в поликлинику. И так почти два года она оставалась вообще без наблюдения врача. В 80 лет.



Мама в онкологическом диспансере. Лето 2010 года. Она тихо сидит и ждет своей очереди. Как недавно это было. Словно вчера.

Аппетит у нее очень медленно, очень постепенно продолжал ухудшаться. Запоры усиливались. Я покупал ей мёд, чернослив. Это тоже не помогало. И я по-прежнему не очень беспокоился: подумаешь, мелкая неприятность.

А это были симптомы рака. Если бы его диагностировали тогда, когда он начался, или хотя бы года через 2–3, течение болезни еще можно было затормозить. И сейчас мама еще оставалась бы здесь, на Земле. И я не писал бы эту книгу.

Но до мая 2011 года мы так и не догадывались, что это такое. В Петрозаводске уже были частные клиники, но мне не пришло в голову вызвать частного врача.

А когда я всё понял, было уже поздно.

Тяжело писать об этом. Но я решил сказать всю правду, поэтому надо продолжать.

В марте-апреле 2011 года маму начала мучить тошнота. Она приходила после еды. А по вечерам стала повышаться температура, сначала до 37,2–37,3. У утра она падала. Есть ей становилось всё тяжелее, и ела она всё меньше.

Когда температура начала повышаться, мы снова обратились к врачу. Это было в конце марта – начале апреля. Мама была уже тогда ослаблена, с трудом выходила раз в день погулять во двор. Ходить ей становилось всё труднее.

Около месяца администрация поликлиники решала, кто же должен к нам приходить домой: Костина или кто-то еще. Приходила дежурный врач, почти такая же старая, как мама. Помочь она ничем не могла. Я несколько раз звонил Костиной, просил ее приезжать и уезжать на такси, а я буду платить шоферу. Она обещала подумать, но не приезжала. Обещала позвонить и сказать свое решение. Не позвонила. Вдруг обнаружилось, что ее нет: она куда-то уехала. Появилась она только после майских праздников. И начались бесконечные обследования.

Она назначала сдать анализ: на 2–3 дня вперед. «У нас не работает лаборатория». «У нас большие очереди». Сделали рентген желудка: маме уже очень трудно было ехать в поликлинику, подниматься по лестнице, стоять несколько минут на месте во время рентгена. Костина дождалась результата очередного обследования и назначала следующее. Маме становилось всё хуже, она всё меньше ела, усиливалась тошнота, появились боли, не только после еды. Всё это время она принимала только ношпу, которая уже не помогала.

Как-то Костина, осмотрев маму, сказала, что в животе у нее прощупывается опухоль. Направила ее в онкологический диспансер. В регистратуре мне сообщили, что к врачу надо записываться на месяц вперед. Я позвонил заведующей поликлиническим отделением, она объяснила, что

нет врачей: кто-то болеет, кто-то в отпуске. Я спросил, почему так трудно дозвониться в регистратуру. «У нас один городской телефон. Нам не дают финансирования». Тогда я предложил поставить им телефон за свой счет, если маму примут без очереди. «Хорошо, приезжайте завтра».

И маму приняла сама заведующая, осмотрела. Позвала еще одного врача. И сказала: никакой опухоли нет, это просто, наверное, каловые массы застоялись. И я сначала поверил – потому что хотел верить.

Костина всё продолжала говорить, что диагноз ей не ясен. Что нужны еще какие-то обследования. Предложила положить маму в БСМП (больницу скорой помощи) – опять-таки на обследование. Это та самая больница, где мама лежала в 2006 году с острым панкреатитом. Я звонил в отделение, заведующая мне страшно не понравилась: истеричная, хамоватая, не слушает собеседника. И все же – от безысходности – мы согласились.

В больнице маму продолжали обследовать. Часто это было мучительно для нее. А я стал писать, звонить своим знакомым, в том числе немногим знакомым врачам. И все они – по симптомам – говорили: это точно рак. Нужен диагноз и наркотические обезболивающие.

Есть в Петрозаводске врач Тамара Константиновна Александровская, еврейка, раньше работавшая в «Хэсэде», местной благотворительной еврейской организации. Маму она знает еще со времен ее инсульта: она тогда была у нас дома. Я позвонил и ей. Она сказала: «Я буду с вами откровенной: это обычная практика. Сколько вашей маме? Больше 80-ти? Они не заинтересованы в том, чтобы ее лечить. Они затурканные, у них всех огромные участки, маленькие зарплаты. И если больная пожилая, заболевание тяжёлое, тем более неизлечимое, они считают, что это уже их не касается. Понимаете? Чем меньше пациентов, тем лучше для них. Это равнодушные люди. Настоящих врачей здесь уже нет». Я спросил, что же мне делать. «Постарайтесь с ними договориться, чтобы вашей маме давали обезболивание. Но на конфликт не идите: может быть еще хуже».

Но я не последовал этому совету. 15 июня я написал и отнес в поликлинику грозное заявление на имя главного врача. Я писал о том, что Костина намеренно уклоняется от постановки диагноза. Что бесконечные обследования нужны именно для этого. Что больной всё хуже, а ей никто не помогает. Что это фактический отказ в медицинской помощи, то есть уголовное преступление, и я буду обращаться в правоохранительные органы, если СЕГОДНЯ маме не поставят диагноз и не назначат обезболивающие.

Через два часа мне позвонила зам главного врача, Лай Людмила Федоровна. Это очень велеречивая, солидная пожилая дама. Она сказала: «Диагноз поставлен! Мы признаем онкологический диагноз. Обезболивающие сейчас выпишем!»

Мама была еще в больнице. Я позвонил туда и сказал, что сейчас ее заберу.

Вниз с четвертого этажа больницы я вез маму на кресле-каталке: она уже не могла идти сама. На крыльце приемного покоя она сидела в этой каталке и ждала, когда подъедет такси. Какие-то два санитаря в голубых халатах вышли покурить, стали дымить маме прямо в лицо. Я предложил им отойти, они отошли. Какие-то люди выходили и заходили, не обращая внимания на кресло и сидящую с них маленькую старушку.

Был ясный, теплый день. Мама сидела и смотрела на небо. Это в последний раз в жизни она сидела на свежем воздухе, ее обдувал легкий теплый ветерок, который она так любила. Но ни я, ни она тогда не думали об этом.

Я знал уже, что она скоро умрёт. Но это ничего не изменило во мне. Слишком страшное, огромное – не воспринимается сразу. Когда Костина позвонила и сказала, что с самого начала догадывалась, что это такое, я только спросил: «Почему же не сказали мне?» «Мы не хотели вас волновать!» Я не придавал значения этому «мы».

Сейчас я понимаю, что Костина – из тех людей, которые по собственной инициативе не пойдут на подлость и преступление, но легко идут на это под давлением начальства. Это установка сверху: пожилой больной, неизлечимое заболевание – ну и слава Богу. Нас это уже не касается. Пусть умирает. Нам легче будет: одним пациентом меньше.

И я всё понял. Я хорошо знаю русских рабов, их психологию. Я понял, что будет очень трудно добиться чего-то от них. Что только от меня зависит, будет ли мама продолжать мучиться или все-таки ей дадут умереть достойно, сделав всё, что можно сделать.

Но пока я одержал локальную победу. Мама вернулась домой. Она очень общительная, и в больнице ее как-то отвлекали и развлекали другие больные женщины. В то же время она застенчивая, и ей было тяжело – все время на глазах у чужих людей.

Я спросил ее:

– Ты рада, что снова дома?

– Конечно! – сказала она.

Ей выписали трамадол. Его надо было выкупить в аптеке рядом с поликлиникой. Костина днем звонила в эту аптеку, договорилась, что для меня оставят 10 ампул. Был уже вечер. Я подал рецепт фармацевту: молодой, довольно красивой и в то же время неприятной, холодной, с презрительно-надменным выражением холеного лица. Она посмотрела – и вернула его мне.

– Что такое?

– Дата указана неверно.

Я посмотрел: вместо римской цифры VI Костина впопыхах написала VII. То есть – вместо июня – июль.

– Вам сегодня звонили и предупредили, что я приду. Вы же понимаете, что это такое и для какой больной.

– Я вам не продам! Идите в поликлинику, пусть врач напишет другой рецепт. Трамадол – это препарат особой группы. Я не собираюсь отвечать!

– Здесь дело не в вас, а в больной.

– Я вам ничего не продам!

И она повернулась и ушла.

Я вернулся в поликлинику. Костина еще была там. Она извинилась и переписала рецепт.

Маме стали колоть обезболивающие. И боли уменьшились, но тошнота усилилась. Это один из побочных эффектов таких обезболивающих.

Костина, между тем, вышла в отпуск. Она довольно внимательна к больному, добросовестна. Маме она нравилась. Больному, страдающему человеку хочется, чтобы к нему относились по-человечески.

Но именно тогда, когда она была больше всего нужна, она ушла в отпуск. И вместо нее назначили Козлову.

Когда она в первый раз пришла к нам, я спросил, можно ли ей звонить на мобильный. Она сказала: нет, нельзя, потому что если мой муж услышит мужской голос, он меня убьет – и вас тоже убьет. Козлова – женщина лет 50–55, маленького роста и довольно неприятной наружности, с какой-то застывшей брезгливой маской на лице.

Я сказал ей, что мама продолжает мучиться, в основном, от тошноты. «Мы не можем устранить тошноту при этом заболевании!» Я предложил продумать график обезболивающих уколов. Медсестра из поликлиники приходила то в 12-00, то в 14-00, когда ей было удобно. У нее прием, всякие другие дела. Каждый вечер к нам теперь приезжала «Скорая» и тоже делала укол.

Сначала я вызывал «Скорую», когда маме становилось особенно плохо. Но очередная приехавшая врачиха сказала: «Таких больных мы стараемся максимально облегчить. Ей надо делать плановые уколы. Договоритесь со своей поликлиникой».

Я снова написал заявление. Они снова испугались. Но это уже была тактическая ошибка, характерная для меня. Испуг продолжался недолго. А следствием его стала враждебность. И мне – то есть маме – стали мстить.

Сначала я договорился с Козловой, что уколы будут делать утром, в 9-00, и вечером, в 21-00. После чего плановые вечерние уколы вообще отменили. Мне приходилось каждый раз звонить, делать вызов. Наркотики делать «Скорая» отказывалась: «Нет назначения».

Я показывал справку, подписанную онкологом, где назначены были все возможные наркотические обезболивающие. «Договаривайтесь с врачом из поликлиники. У нас нет назначения».

Онколог была у нас 16 июня. Она сидела минут 10. Написала эту справку. И уехала. Сказала, что может быть кишечная непроходимость, потому что опухоль большая и давит на толстую кишку. И если живот начнет пучиться – «как у беременной», так она сказала – «вызывайте «Скорую»». «Отвезут в онкологический диспансер и сделают операцию для облегче-

ния больной: выведут кишки на стенку брюшной полости. Чтобы каловые массы могли свободно формироваться».

Я очень впечатлительный, с богатым воображением. Я это легко себе представил и был в диком ужасе. С тех пор я больше всего боялся именно этого.

Я не скрывал от мамы ее диагноза: я знал, что она не испугается. Я решил откровенно поговорить с ней. Я говорил о том, как я ее люблю, как я благодарен ей за всю свою жизнь. Как мне было хорошо с ней. Мы обнялись, оба плакали.

– Мы разные люди, но мы всегда были друзьями, – сказала она, плача.

– Ты знаешь, чем ты был для меня всю жизнь!

Я сказал, что хочу написать книгу о ней.

– Ты напишешь книгу. Ты будешь вспоминать обо мне! – сказала она.

Это был все-таки тоже какой-то момент счастья, хотя и горького счастья.

Но все же меня резанули ее слова: «Ты будешь вспоминать обо мне». Мамочка, неужели ты думаешь, что я, твой сын, могу жить только воспоминаниями о тебе?

Пока мама могла говорить, она много вспоминала. Много я уже знал, она рассказывала раньше. Кое-что узнал новое или то, что уже слышал прежде, но забыл.

И еще я ей читал. Она сама уже вставала только в туалет, и ей всё трудней было туда добраться. Но она положила подушки так, чтобы видеть небо. И еще – она слушала то, что я читал. Я взял в библиотеке Вальтера Скотта и Гюго. Последние книги, которые мама «прочла» в своей жизни – это «Шотландские пуритане» и «Человек, который смеется». Я прочел их ей с начала до конца.

Она слушала с интересом, но однажды сказала:

– Это все-таки не совсем то же самое.

То есть не совсем то же, что читать самой.

Она оставалась прежней. Как-то я пошутил – и она весело засмеялась. Ее суждения о книгах, о людях были по-прежнему тонкими и умными. Она оставалась интеллектуально независимой.

Как-то я прочел ей очередное письмо Алексея Пичугина, первого из арестованных по делу ЮКОСа и своего друга по переписке. Он писал о своей работе в КГБ, как он там успешно служил. Ей было трудно уже даже слушать. И все-таки она сказала – в ответ на мои слова о том, какой Алексей Владимирович хороший человек: «Да, он многое понял, когда его посадили. Но тогда ему нравилось служить в КГБ, потому что это было престижно, это большие деньги. Это письмо меня насторожило».

Я старался ее чем-то порадовать, зная ее любовь к природе, к растениям. Приносил ей цветы, ягоды смородины. Как-то мне попался гигант-

ский одуванчик: за неимением лучшего, я показал маме его. «Мощный одуван!» – сказала она.

Она оставалась такой же остроумной. Память ее сохраняла свою ясность, она все так же прекрасно рассказывала.

Как-то она сказала: «Если я смогу, расскажу тебе свое самое первое воспоминание». И на следующий день она рассказала, как болела скарлатиной в 2 года. С этого воспоминания я начал эту книгу. Мама сказала: «Это может быть интересно для писателя или психолога». Ей по-прежнему хотелось отдавать, делиться своей душевной полнотой, быть нужной.

Она сказала о врачах: «Что они все мне дали? Они как роботы. Все одинаковые. Придут, потыкают в грудь фонендоскопом, измерят давление. И ничего не меняется».

Она права. Для русских рабов, занимающих медицинские должности, это страшно важно. Это что-то вроде игры в больницу у детей. Пришли, измерили, потыкали – и почувствовали себя настоящими врачами. Больной должен послушно терпеть эти бессмысленные действия, чтобы доставить удовольствие врачу.

Рабы очень похожи на стадных животных. Они строят отношения друг с другом на основе формальной иерархии. И, по их мнению, врач занимает более высокое место в иерархии, чем больной. Поэтому больной должен убаживать врача – а не наоборот.

Если их напугать, то со страху они меняют свое поведение. Но очень трудно и даже почти невозможно добиться того, чтобы они боялись постоянно. Это может сделать только какой-то Сталин. Потому что их очень много, огромное стадо. И они чувствуют свою коллективную силу, хотя каждый из них в отдельности трусливый и ничтожный. Они могут легко испугаться. Но потом быстро снова становятся самими собой.

Мама очень страдала не только от болей, тошноты, беспомощности. От беспомощности сильнее, чем от болей и даже тошноты, хотя тошнота – очень мучительное состояние. Она страдала потому, что все ее бросили. От равнодушия врачей. От того, что чувствовала: те, что должны помочь, отказались от нее, вычеркнули ее из числа живых. Для них она уже умерла.

И это ее очень мучило.



Мама в шале 2011 года.

Как-то я заговорил о смерти, тайне смерти. Это ей было неинтересно. Она видела свою жизнь, жизнь других людей – только как жизнь земную – и любила ее такой, какой она была. Она никогда не задумывалась, что может быть еще что-то для человека после смерти.

Я что-то говорил о том, почему люди часто боятся смерти. Мама сказала с великолепным презрением: «Я не боюсь смерти!» и через минуту добавила: «Я только не хочу мучиться».

Как она это сказала: «Я не боюсь смерти!»!

Прощай, синева, и листва, и трава,
И солнце над краем земли,
И милые дружбы, и узы родства –
Свой жизненный путь мы прошли.

Кто волею слаб, кто судьбы своей раб,
Трепещет, почувяв конец.
Но гибели час, неизбежный для нас,
Не страшен для гордых сердец.

Гордые и сильные не боятся смерти, я это знаю давно. Но она не хотела мучиться: она хотела умереть, как жила, – с достоинством.

Однако рабы считали, что русская бабулька из деревянного дома с печным отоплением должна покорно всё вытерпеть, и как там она умрет, не имеет значения.

Я понимал, что только я могу ее защитить. Умиравшую, слабую. Что я должен отстаивать ее право умереть с достоинством. Но как? Что делать? Как быть?!

Я знал, что я один, совершенно один. Вокруг рабы, подонки, которые хотят увильнуть, улизнуть, ничего не делать.

Я начал звонить в минздрав, городскую администрацию, написал в прокуратуру и суд. Я писал, что больную бросили, что нет эффективного обезболивания, больная по-прежнему мучается. Они снова испугались – но на этот раз и разлились. И перешли в контратаку.

Только незадолго до смерти мамы ей – по моей инициативе – стали колоть церукал утром и вечером. Это самое элементарное и распространенное средство от тошноты и рвоты. И тошнота постепенно прекратилась.

Маму мучили запоры. Она ела все меньше: как годовалый ребенок. Уже не могла есть три раза в день. Два раза. Потом один. Не могла пить ничего, кроме воды и жиденького чая, но и пить ей было тяжело и противно.

Дважды или трижды мы ставили клизму. Я и тут был один. Ей это было очень тяжело: она стеснялась, были боли.

Когда она выписывалась из больницы, ей дали – бесплатно – портулак: слабительное средство на основе лактулозы. Я порылся в Интернет:

да, лактулоза считалась лучшим слабительным. Почему этого никто не сказал нам раньше? Почему я сам не знал этого раньше? Я лазил в Интернет по фотосайтам, мастерил свой сайт. Но не догадался посмотреть, какие есть средства от запора.

Я пытался давать маме этот портулак. Он приторно сладкий, а ее тошнило. Он не помогал. Только почти через месяц я догадался купить в аптеке свежий дюфалак: тоже на основе лактулозы. И он помог, почти с первого приема.

И я понял, что портулак, который нам подарили, был просто порченный, просроченный. Потому его и отдали так щедро умирающей старухе. А я не догадался, хотя, казалось, привык к русским рабам за 20 лет жизни в России. И из-за моей глупости мама так мучилась.

Она уже не могла вставать в туалет. Я купил ведро-туалет и поставил в ее комнате. Она долго не соглашалась на это, это было унижительно для ее гордости. Но постепенно привыкла и к этому. Потом она уже не могла сама вставать и садиться на это ведро, и я должен был ей помогать – и ей это было страшно тяжело. Она была очень стеснительная.

Потом пришлось купить резиновое судно, каким пользуются в больницах. Мама тогда уже почти не могла говорить, не могла сама повернуться в постели.

Я купил ей в июне, когда она выписалась из больницы, новый матрац, мягкий. Потому что она страшно исхудала и ей больно было лежать на жестком. Не помогали и два ватных одеяла, которые я подложил сверху.

А прежний матрац я стал класть на пол рядом с ее кроватью, у противоположной стены комнаты – и там спать. Потому что теперь я уже не слышал, когда она о чем-то просила, и должен был быть рядом всегда.

30 июня мне исполнилось 49 лет. Мама всегда поздравляла меня с днем рождения, и это было для нее большим удовольствием. И я заранее купил хорошую футболку, и сказал ей, что купил ей подарок для себя. Это была одна из ее последних радостей. Она тогда еще могла вставать. Она обняла меня и поздравила с днем рождения. И подарила футболку, которую я сам купил. Она сейчас на мне. Светло-серая, плотная.

Незадолго до того ей выпала еще одна радость. Я хотел, чтобы мама и Ива, ее сестра, давно живущая в Израиле, увидели друг друга в последний раз. Поставил у себя скайп – но у них не было скайпа. Они все отнекивались, им лень было предпринимать какие-то усилия, кого-то вызывать. Я вынужден был сказать Арону, мужу Ивы, что у мамы рак, она недолго проживет.

И вот буквально в последний день, когда мама еще могла встать, она сумела зайти в большую комнату и увидела Иву на экране. Микрофона у них еще не было. Они после этого немного поговорили по телефону. Это тоже была одна из ее последних земных радостей.

Однажды она вспомнила, как 40 лет назад Инночка, дочь дяди Гриши (того, который «Сюня»), говорила, рассматривая картинку в детской книжке: «Бабуська-дедуська поси в йес за гибоцьками!» а теперь этой Инночке 45 лет. Она живет в США. Бросила своего первого мужа, потому что он не смог приспособиться к новой жизни. Вышла замуж за американца. «Как летит время!» – сказала мама. Она не почувствовала, как прошли эти годы, потому что совсем не изменилась. По ее ощущениям это было вчера: она сидела у Гриши, и его крошечная смешная дочка лепетала: «Бабуська-дедуська...» но прошло 40 лет. Она старуха, и она умирает. А она и не заметила, как это случилось.

Она теряла силы. Уже с трудом могла сама повернуться в постели. Почти не могла говорить.

Несмотря на уколы, периодически возникали сильные боли. Я несколько раз просил ее разрешить делать уколы мне: это ведь нетрудно. Я научусь. Попрошу кого-нибудь показать, как это делается. Она не хотела: стеснялась. Но, как всегда, не понимая своих подлинных мотивов, не умея разобраться в себе, говорила: «Нет! Каждый должен заниматься своим делом».

И все-таки незадолго до смерти я стал делать ей уколы. И она примиралась и с этим. И даже сама просила сделать укол, если я спрашивал: «Сделать тебе укол?» Она чуть кивала головой. Говорить она уже не могла.

У нее был удивительный организм. Она ела как трехлетний ребенок с апреля. Потом – всё меньше, всё реже. А она была вообще худенькая. В августе она уже есть не могла совсем: еда оставалась во рту, не проходила дальше. Еда была мучением: я едва мог уговорить ее поесть один раз в день – но она почти ничего не могла проглотить в себя. Последние две недели она не ела вообще и даже мало пила.

Четыре месяца почти полной голодовки. Ей было 82 года. А организм продолжал бороться. Он так привык: бороться до конца.

«Я не человек!» – как-то сказала она. Её представление о человеке, о достоинстве человека оставалось прежним: надо быть сильной, самостоятельной. Я был рядом, я любил её. Но она стала совершенно беспомощной – и перестала ощущать себя человеком. Она привыкла сама заботиться обо мне, сама отдавать. Она хотела быть сильной до конца.

И вот она не может сама повернуться в постели. Не может без моей помощи сходить в туалет. И это было страшно мучительно для нее.

Всё, чем она жила, что придавало достоинство ее жизни, было смято, растоптано.

В середине июля она сказала: «Я хочу, чтобы это поскорее кончилось!» Я обнял ее, я ее так хорошо понимал. Я тоже хотел этого, хотел, чтобы она не мучилась больше.

Но, мама, а как же я, твой сын? Как жить мне, для кого, когда тебя уже не будет?

Я раньше редко целовал и обнимал ее. Она всегда была рядом. Это было главным: само ее присутствие. То, что она есть, что она тут, возле меня. Это успокаивало, придавало эмоциональную устойчивость. И она была робкой, стеснительной – даже со мной. Мы всегда обнимались и целовались вечером, перед сном. Это был ритуал. Я обычно целовал ее волосы: я всегда очень любил ее волосы. Иногда в лоб. Редко когда в щеку. Но и это был детский поцелуй, робкий, застенчивый. И она довольствовалась этим, была рада и этому.

А теперь она умирала. И я стал часто, иногда со слезами, нежно целовать ее глаза, ее щеки, целовал в уголки губ. Я раньше никогда ТАК не целовал ее: как любимую женщину. И однажды, целуя ее, глядя ее лицо и волосы, я вдруг увидел на ее лице странное удовольствие, радость, каких никогда прежде не замечал у нее. Это была радость женщины, которую ласкает любимый мужчина.

Боже мой! Мама! Родная моя!

Значит, она все-таки ждала этого – всю жизнь! Надежда не умирала в ней. Безнадежная надежда, совершенно несбыточная, потому что она сама отказалась от любви, от близости с мужчиной. Но как можно женщине отказаться от этого? Как перестать верить в любовь, в счастье?

И где-то в самой затаенной глубине ее души теплился живой огонек, не угасал. Без всякой надежды, совсем уже старая – она продолжала ждать, что и ее полюбят – как всякую женщину, что и ее будут любить, ласкать, целовать.

И вот – дождалась! Умирающей, 82-летней старухой. И я видел на ее лице счастье. Счастье женщины, которая, наконец, дождалась близости с любимым мужчиной.

Мама, но ведь я твой сын! И я всегда любил тебя.

Она это знала. Но этого ей было мало. И она ждала – бессмысленно, безнадежно. Всю жизнь. Почти 50 лет. Я был ее единственным близким человеком. И она ждала этого счастья именно от меня – потому что больше не от кого было ждать.

Боже мой, боже мой!

Итак, администрация поликлиники перешла в контратаку.

Главного врача зовут Рутгайзер Аркадий Леонидович. Это способный, умный, очень честолюбивый и самолюбивый человек. Кандидат медицинских наук и выдающийся организатор карельского здравоохранения. То есть он очень любит что-то такое организовать: какие-то семинары, курсы – чтобы он выступал, и все его слушали. Очень ценит свое высокое положение.

Должность главврача в поликлинике – это административная должность. Главврач должен заниматься организацией работы своего учреждения: всякими мелочами, мало заметными для постороннего глаза, но очень важными для больных. Это кропотливая, рутинная, ежедневная работа. Рутгайзера она никогда не привлекала, и он ею никогда не занимался.

Я десятки раз был в его приемной, много раз звонил ему – но никогда не мог его застать на месте. Он там почти не бывает. Занимать руководящую должность, ничего при этом не делая, – русская традиция. Эта русская традиция пришлась по душе еврею Рутгайзеру. Он ее соблюдает в точности.

И, конечно, он очень испугался и разозлился, когда я стал писать, звонить, привлекая внимание к странным особенностям организации работы его поликлиники. И решил контратаковать.

Два или три раза я отказывался пустить Козлову и дежурного врача в комнату мамы. Они хотели туда зайти, чтобы поиграть в больничку: потыкать фонендоскопом, измерить давленьице. Оказывается, есть такое правило в России: больного нужно всегда осматривать, прежде чем менять назначения либо подтверждать прежние. А что такое осматривать? Потыкать. Измерить.

Я у них вежливо спрашивал, зачем им нужно осматривать больную: ведь она умирает, это им известно? Мне отвечали: «Так у нас положено». Или даже так – это вариант Козловой: «Это вопрос не ко мне! Обратитесь к вышестоящему руководству!» «Вышестоящее руководство» – ее любимое словосочетание.

О том, что я злокозненно мешаю осматривать больную, они, конечно, «вышестоящему руководству» доложили.

И вскоре я узнал, что Рутгайзер и его верная Лай написали на меня заявление в прокуратуру. О том, что я мешаю им лечить больную: мою маму. Мне даже позвонили из прокуратуры по этому поводу и предложили ПРИЕХАТЬ и дать объяснения. Я ни разу в жизни не использовал в речи мат. Но, честно говоря, тут еле удержался. К счастью, звонила какая-то девушка, с нежным-нежным, мелодичным детским голоском. Я только сказал ей, что никуда не приеду и никаких объяснений давать не буду.

От Козловой я отказался. Потребовал прислать другого врача. Пришел молодой мужчина. Фамилия его Вавилин. Он сначала мне даже понравился.

Однако его второй визит оказался весьма своеобразным. Он пришел, когда маме нужно было в туалет. Она была уже очень плоха. «В туалет» – это значит на судно. Она уже не могла даже встать с постели. Я, конечно, не мог его пустить. Сказал через дверь, что сейчас не могу открыть, пусть он позвонит или зайдет через 15–20 минут. Он зашел через 15–20 минут, но с двумя полицейскими. Я машинально открыл дверь, но пускать их всех не хотел. Однако полицейские – молодые ребята – оттеснив меня, встали

в дверях, не давая мне их закрыть, а Вавилин прошел в комнату. При этом он очень просил ребят в форме не уходить, потому что, по его словам, я неадекватный. Вавилин – молодой, лет 30-ти, высокий и физически очень сильный мужчина.

Он прошел к маме, потыкал, измерил, задал ей два-три вопроса, которых она не услышала и не ответила, да и не могла ответить, потому что уже не могла разговаривать, сказал: «Продолжаем ту же терапию!» – и собрался уходить. Я громко сказал ему: «Вы мерзавец, господин Вавилин! Подонки!» Полицейские это хорошо слышали. Но он не отреагировал, втянул голову в плечи и сбежал.

Почему он так повел себя? Это народный тип. Русские – народ победитель. Они всегда должны одерживать победы. Когда я не пустил его в квартиру, он воспринял это как поражение. И решил одержать надо мной победу.

Уходя, он еще сказал: «Следующий осмотр – в пятницу!» но в пятницу он не пришел. И вообще больше не пришел.

В городской администрации на совещании, где обсуждалось «лечение» моей мамы, Рутгайзер объяснил, что это именно я препятствую лечению и что его «очень беспокоит состояние моей мамы».

И вот в разгар этой откровенно подлой войны к нам вдруг явились Капустина, еще одна зам главврача, и гастроэнтеролог, работающая в трех местах: я ее до того никогда не видел. Капустина – кругленькая добродушная старушка, вся седая – предложила госпитализацию. «В больнице ей будет лучше». Я напомнил ей, что в БСМП маму не повезу: это плохая больница. «У нас есть договоренность с Железнодорожной больницей. Вот направление». И она дала мне направление.

«Ну что, вы поедете?» Мама повернулась ко мне. Я сказал, что сначала посмотрю, что за больница, поговорю с зав отделением – и тогда, завтра, скажу.

Больница: и отделение, и сама заведующая – мне понравились. Но она мне сказала честно: состояние очень запущенное. Чем это кончится, неизвестно. Может быть, станет лучше; может – хуже. Может, будет летальный исход. Я видел, что эта заведующая – совсем другая, чем в БСМП. Что в отделении порядок. Больные по-доброму здороваются с персоналом. Там были индивидуальные боксы, небольшие комнатки, правда, стоила такая комнатка больше тысячи рублей в день, но это меня не смущало: деньги у нас были.

Но я был тогда уже в таком состоянии, что не мог ни на что решиться. Приехал домой, рассказал всё это маме: что я увидел, что сказала заведующая.

– И что ты решаешь?

Я колебался, боялся допустить очередную ошибку. Я ведь не умею принимать таких решений.

– Ну, семь пятниц на неделе! – сказала мама презрительно.

И решила отказаться от больницы.

– Ты им надоел. Вот они и хотят избавиться от меня, – сказала она.

Это была правда: я это понимал. Она уже никому не верила тогда.

Но я ведь был в этой больнице и всё видел своими глазами. И все-таки согласился с ее решением.

Это была ошибка. Там маме было бы легче, потому что она увидела бы, что не только я один могу к ней по-человечески относиться. Потому что медсестры и врачи лучше умеют ухаживать за тяжелыми больными, чем я. Я – никудышная сиделка. Потому, что тогда мне бы не пришлось делать многого, что для нее было тяжело и унижительно – именно потому, что это делал для нее я. Потому, наконец, что у меня была бы возможность чуть вздохнуть, отойти от всего этого ужаса, подумать, успокоиться, прийти в себя.

Но мама сказала:

– Я знаю этих сестер. Они выполняют назначения, и больше им ни до чего нет дела. Ты там не сможешь быть все время. А тут ты всегда рядом.

И я согласился с ней.

Сейчас я думаю, что дело было не только в моем ненормальном состоянии. А еще в том, что я не хотел в эти последние недели ее жизни отпустить ее от себя. Как скупому рыцарю, мне хотелось все время быть рядом, не потерять ни мгновения этих последних дней ее жизни.

Это был эгоизм, замаскированный под самоотверженность. Вместо того, чтобы подумать о ней, я думал о себе. И мне не пришло в голову, что я совершаю тот же грех, в котором повинна она.

Она сама всю жизнь вела себя именно так по отношению ко мне. И вот стала жертвой того же самого. Словно бумеранг, нераспознанное зло вернулось к ней. И я не заметил, как стал его орудием, его проводником.

В начале августа мама еще пыталась садиться и есть. Один раз в день. Она уже не смотрела в окно, не просила отдернуть занавеску, чтобы видеть небо. Почти не открывала глаз.



Мамина рука. Июль 2011 года.

Она уже не могла говорить. Она потеряла членораздельную речь. Что-то очень тихо, жалобно лепетала, я напряженно вслушивался, пытаюсь по-

нять, но чаще всего понять не мог. Ее это очень обижало и сердило: она ведь знала, что хотела сказать – а я её не слышал. По ночам через каждые час-полтора ей нужно было «в туалет»: и это было мучительно и для нее, и для меня – потому что я почти не спал. И так много ночей подряд.

Я не мог никуда выйти. Только вечерами, после вечернего укола, мы с Гошей ходили в магазин за продуктами, и то я всегда торопился назад, и был случай, когда действительно едва успел.

Я нервничал из-за войны с поликлиникой, из-за того, что чувствовал: я проиграл эту войну. Маму унизили, подвергли долгой пытке – и я не сумел ее защитить.

Очень нервничал из-за «Скорой». Они приезжали то в начале девятого, то в девять, то в десять, то еще позже. Хотя время укола было – 21-00. Если они опаздывали, я звонил 03. Тут все зависело от того, кто из дежурных попадет. Иногда меня вежливо выслушивали, если я просил дать старшего врача, давали. Иногда в трубку орал грубый бабий голос:

– Вы слишком часто нам звоните!

И она смачно шваркала трубку о рычаг.

Я звонил снова: никто не брал трубку. Потом раздавались короткие гудки.

Иногда говорили:

– У нас много вызовов! Все машины заняты. Ожидайте!

Почему-то слово «вызовов» никто из них не говорил правильно: все они делали ударение на последнее «о».

Старший врач объясняла:

– Нам не дают финансирования! У нас 14 машин на весь город. Из них 7 в ремонте. Ожидайте!

Никого из них не интересовала больная, ее состояние. Все они были уверены, что как раз это не имеет значения. Они не помогали больным. Они выполняли назначения. И чувствовали себя вправе выполнять их кое-как, максимально халатно, спустя рукава, потому что: много вызовов, не дают финансирования – и вообще: «ожидайте!»

И я постоянно находился в напряжении, потому что уколы надо делать для предупреждения боли, а если она уже началась, то пройдет не скоро, мама опять будет мучиться.

Я был один, совершенно один. Больше никого она не интересовала, никому не была нужна.

И от усталости я, бывало, раздражался, когда она много раз повторяла какое-то слово и сердилась, что я не понимаю, и передразнивал её.

– Ты насмеяешься! – сказала она однажды с глубокой обидой.

Мне стало стыдно, я начал уверять, что нет, не насмехаюсь, просто не могу понять, что она сказала.

Это была страшная пытка для нее. Я – последний человек, с кем она могла разговаривать – перестал понимать ее.

Она стала терять ощущение времени. Часто она жалобно спрашивала:

– Который час?

И через полчаса или через час – снова:

– Который час?

Я сказал, что мама никого не интересовала. Нет!

Была одна медсестра – из той же поликлиники – Ирина Анатольевна, Ира: ее мама интересовала. Она отличная медсестра, любит свою работу. Она работает у Клевенской, той самой жуткой бабы, которая врач только по диплому.

Ира была в отпуске, когда мама заболела. А потом появилась. Маме уже было очень плохо. Все-таки она была ей очень рада.

– Вы лучше всех врачей! – сказала она ей.

Ира очень внимательная, всегда оживленно-улыбчивая. Она умеет согреть человека самим своим присутствием.

– Она хорошая медсестра! – сказала мама, когда Ира ушла. – Вошла, увидела, что я не могу надеть трусы, подошла, сунула туда руку, подняла меня, сама натянула. Кто из них это делает?

И пока мама могла говорить, она спрашивала об Ире: придет ли она (она приходила специально – поговорить с мамой, но не каждый день, потому что ей сразу по выходе из отпуска дали 3 участка)? Когда маме было уже совсем плохо, Ира однажды пришла утром, сделала укол. Мама ее не узнала.

Днем она спросила, придет ли Ира. Я сказал, что она уже была. Мама с недоумением, горестно повернула голову ко мне. Глаз она уже не открывала. И снова отвернулась к стене.

К началу августа я окончательно понял, что не могу быть сиделкой. Маме было больно, когда я приподнимал ее, чтобы подставить судно. Она стала как гефтлинг, как доходяга в концлагере. Все кости выпирали. На сгибе локтя явственно билась артерия: можно было легко сосчитать пульс, просто глядя на нее. И болевая чувствительность выросла. Она была легкая, но поднимать её надо было одной, причем левой, рукой. И я все время делал ей больно.

Я сказал ей, что хочу нанять сиделку. Она согласилась: «Бедный! Ты измучился!»

Но сиделка могла приходиться только на 8 часов в день. Сто рублей в час. Я сказал: пусть придет, поработает один день – если нас она устроит, подпишем договор. Но она настаивала на договоре на месяц. Я сказал, что месяц мама, может быть, не проживет. Тогда – на две недели. Мне показалась, что эта женщина думает не о больной, а только о деньгах. В конце концов, что такое – 8 часов. В сутках 24 часа. И все равно именно я должен буду ухаживать за мамой в остальное время. И я решил отказаться от сиделки.

А мама вдруг спросила:
– Когда придет сиделка?

Ей хотелось, чтобы еще кто-то пришел к ней. Но я сказал, что сиделки не будет. И она смирилась с этим. Она поняла, что ничего уже не будет для нее.

Она уже почти не могла говорить. Но как-то сказала, чтобы я позвонил Лидии Евгеньевне – старушке из соседнего дома, с которой она иногда вместе гуляла, они поздравляли друг друга с праздниками, иногда заходили друг к другу в гости – чтобы поздравил ее с днем рождения. «И скажи, что ты звонишь, потому что я не могу!» – добавила она.

Умиряющая, она помнила, что у Лидии Евгеньевны день рождения, что ее надо поздравить. Она хотела оставаться сильной и доброй до конца, хотела нести свет, отдавать – даже умирая. Совсем беспомощная, обреченная, она оставалась прежней.

А Лидия Евгеньевна, между тем, отказалась показать мне, как делать уколы. Она медсестра по профессии. Но она боялась, что это не положено. Что у нее могут быть неприятности. Я рассердился на нее. И сначала не стал звонить. Но потом позвонил и сказал все, что просила мама. Хотя день рождения уже прошел.

Научила меня делать уколы Ира. И я в последние две недели все-таки делал маме уколы. И она смирилась и с этим тоже.

Иногда я, страшно усталый, сидя на полу у ее постели, склонял голову к ней на плечо. И это было так же сладко, как в детстве. И она поднимала свою слабую-слабую руку и гладила мои волосы. Она гладила по голове своего почти 50-летнего бедного мальчика, которого оставляла в мире совершенно одного, без близкой души, без всякой поддержки. Она жалела меня! И я плакал, уткнувшись лицом в ее теплые волосы.

Она осталась всё той же – до конца. Не хотела пить лежачую. Заставляла меня поднимать себя, сажать, прислонив спиной к подушкам. Я наливал ей воду в мерный цилиндр для дюфалака, туда помещается 30 миллилитров. Она пыталась поднести воду ко рту. Иногда это продолжалось несколько минут. Рука опускалась, потом мучительно медленно снова поднималась. Но если я пытался помочь, она сердилась, отталкивала меня. Она хотела всё делать сама. Хотела оставаться Человеком – до конца.

Болезнь отняла у нее возможность двигаться. Потом возможность говорить. Потом она перестала открывать глаза: у нее отнят был дневной свет, она погрузилась во тьму. Она уже не различала времени, не знала, утро ли, день, вечер или ночь. Уже не могла есть, почти не могла пить. Я поил ее с помощью шприца. Она с трудом дышала, широко открыв рот. Единственной ее потребностью стало – «ходить в туалет». И это было больно, очень

больно. А надо было приподнимать ее, чтобы подставить судно. И потом еще раз – чтобы его вынуть.

Нет, она еще мыла руки. Я брал ее руки: сначала правую, потом левую – слегка мылил, смывал мыло губкой, намоченной в теплой воде, вытирал полотенцем. Это было единственное человеческое дело, еще доступное ей на Земле.

Она уже совсем ничего не могла сказать. И почти всё время спала. На ночь я давал ей феназепам. Днем – уколы: они тоже так действовали. Иногда, просыпаясь, она тихо-тихо, как новорожденный ребенок, и жалобно-жалобно плакала. Она вернулась в раннее детство, в то состояние, с которого начинается жизнь. Но это начиналась не жизнь – а смерть.

«Почему надо так жить – мучиться?» – спросила она еще в середине июля.

А могучий организм продолжал бороться. За две недели до последнего своего дня на Земле она уже ничего не ела. И я уже не просил, не настаивал. Я уже тоже хотел только одного: чтобы она перестала мучиться, наконец. И только давал ей пить.

Но она все равно не умирала. Она всё глубже погружалась в смерть, но так же мучительно медленно, как и раньше.

Сейчас я понимаю, что нельзя близким родственникам постоянно находиться с умирающим дорогим, любимым человеком: это слишком тяжело. Срабатывает инстинкт самосохранения – и ты становишься бесчувственным. Если продолжать чувствовать, можно сойти с ума. И я стал бесчувственным, деревянным. Я спал, просыпался, брал резиновое судно, поднимал мамино совсем уже легкое тело, уже не зная точно, в нем ли еще ее душа. Она уже почти не реагировала на меня. Перестала отвечать на мои вопросы.

Она всегда радовалась мне. Просто тому, что я есть, что я рядом. Теперь я стал связан с унижением, мучением, болью. И я уже не радовал ее.

Когда мы, прощаясь, плакали, обнимали и целовали друг друга, говорили о своей любви, мама сказала: «Я понимаю, ты всё делаешь, что только можно. Я знаю, что у меня самый лучший сын!»

Поняла ли она в конце концов, что представляет собой на самом деле ее «самый лучший сын»?

Но она все-таки еще жила. Беспомощная, умирающая. И продолжалось мое детское счастье.

Так было всю мою жизнь. Мама в соседней комнате. Можно зайти, увидеть ее. Она есть, моя мама. И это успокаивало, вселяло надежду, давало свет и тепло. Есть мама. Значит, можно жить.

Странно: педагог и психолог по профессии, я знал, что это – детская привязанность к матери. Почему мне не пришло в голову применить это знание к себе?

И всё продолжалось. Я знал, что она умирает. Давно уже привык к этому. И все равно огонёк продолжал теплиться в душе. Ну, пусть еще один день, еще один. Мама жива. И сегодня – жива. И я продолжал ощущать эту длительность, устойчивость своей жизни – потому что она всё ещё была жива, она была рядом. Это шло параллельно, не пересекаясь: сознание, что она умирает, – и подсознательная детская уверенность, что раз мама жива, она рядом, то все хорошо. И я продолжал жить этим – тем, чем жил всю жизнь. Бесконечно одинокий мальчик, который не должен был родиться. Не знавший в своей жизни ничего другого.

И вот настал последний день. У нее началась агония. Температура резко подскочила до 38,5, потом до 39,0. Она дышала, широко открыв рот, с хрипом. Я вызвал «Скорую». Врач, неряшливый толстый старик, сказал, что это конец. «Счет пошел на часы».

Она уже не реагировала, когда я говорил ей в ухо: «Мама, ты слышишь меня?! Ты слышишь?!»

Я пытался лить ей в рот растворенные в воде лекарства. А она уже не могла глотать, и вода выливалась. На ее измученном лице, мне казалось, я видел обиду, недоумение, сменявшиеся выражением покорной жертвы. Или это только казалось мне? А я продолжал лить лекарства, я хотел сбить температуру. Хотя врач сказал мне, что это невозможно.

Она дышала всё громче, всё тяжелее. Это продолжалось весь день. Я несколько раз вызывал «Скорую». Они приезжали, делали какие-то уколы.

Был уже вечер. Я сидел у постели мамы. Полчаса назад мне удалось влить ей в рот лекарство. И меня не покидала безумная надежда, что ей станет легче, она не будет так мучиться.

И вдруг стало тихо. Замолк этот страшный хрип, с которым она дышала с самого утра. И я даже обрадовался этому. Мама! Значит, тебе уже не так плохо?

Я погладил ее по голове. Волосы были теплыми, даже горячими. Ведь у нее высокая температура!

Я смотрел на нее. И вдруг увидел, что она не дышит. Она умерла!

Я приподнял ее голову, ее легкое тело, еще полное жара, полное родным теплом, согревавшим меня всю жизнь. Оно не сопротивлялось. Рука неестественно подогнулась назад. Голова упала на подушку.

Мучения кончились. Она умерла.

Я не плакал. Я был очень спокоен.

Я позвонил в «Скорую» и сказал, что мама умерла. «А, умерла? Мы приедем. Вы позвоните в морг, узнайте, есть ли место». Я позвонил в морг. Место было. Я позвонил еще в ритуальную компанию, чтобы приехали и забрали тело в морг. Они обещали приехать в 21-00.



Я вспомнил, что тело надо одеть. Мама была такая застенчивая. Надо одеть ее тело, чтобы никто не видел его в таком виде.

Я стал снимать с нее подгузник. Последние два дня я надевал ей подгузники: как это делать, показала мне Ира. И тут я увидел, что мама лежала в луже мочи. Я плохо застегнул подгузник. Я не умел этого делать. И моча вытекала снизу, я не мог заметить этого. И не почувствовал запаха. И она, такая болезненно чистоplotная и брезгливая, умерла, лежа в луже собственной мочи. И не могла пожаловаться, не могла сказать об этом.

Я обмыл тело, одел свежий подгузник, на него трусики. Потом надел на тело лифчик, колготки, голубую блузку, которую она любила, коричневую, в клетку, шерстяную юбку. Все это я делал очень тщательно и добросовестно. Даже повязал на шею шарф. При этом голова дважды со стуком ударилась к спинку кровати, и я ее оба раза поправил.

Потом приехала толстая баба из «Скорой», чтобы констатировать смерть и выдать справку. Она даже не прикоснулась к телу, только взглянула и села писать справку. Мне она предложила сделать успокаивающий укол. Я сказал очень громко: «Зачем мне успокаивающий укол? Я совершенно спокоен!»

Потом я позвонил Саше: это 16-летняя девушка из моего Литературного клуба. У нее в тот момент был мой фотоаппарат. Я попросил ее принести фотоаппарат. Я сказал ей, что мама только что умерла, и я хочу сфотографировать тело, пока его не увезли.

Саша сказала, что сейчас принесет фотоаппарат. Она прибежала через 10 минут.

Я вежливо поблагодарил ее. Потом вспомнил, что мама задыхалась, и поэтому у тела раскрыт рот. Что делать, я не знал, и заклеил рот пластырем. И так и снял тело: с заклеенным ртом.

Потом приехали два парня из ритуальной компании. Они были очень похожи друг на друга, может быть, братья?

Они связали руки и ноги тела полотенцем, понесли. Я чуть не сказал: «Осторожнее, маме больно!».

Я захотел поехать с ними. Они согласились.

Было уже темно. На улицах горели фонари. Парни, похожие на братьев, разговаривали о том, что надо бросать курить. Шутили. Смеялись. Я смотрел на огни, слушал их разговор.

Подъехали к моргу, мрачному приземистому зданию. Открылась обитая железом дверь. Оттуда показался высокий, одуловатый молодой человек с длинной каталкой. Тело положили на каталку. Я пошел за ней. Служитель морга встал передо мной:

– А вы куда?

– Это моя мама, – сказал я.

– Так что? Вы хотите войти в холодильник?

Я подумал.

– Нет.

Он отвернулся.

Я тоже повернулся и вышел.

– Вас довезти до дому?

– Да.

И мы поехали обратно.

Вот и моя остановка. Я открыл дверь, вежливо сказал «Спасибо!».

Вышел.

И пошел к своему дому по почти пустой улице.

Вот и наш двор. Наш подъезд.

Я открыл дверь. Вошел в квартиру. Дверь в мамину комнату была открыта настежь.

Я вспомнил, что мамы уже нет. Она умерла.

Вошел в ее комнату. Пусто. Пустая смятая постель. Нет мамы.

Где же она теперь?

ГЛАВА 19.

Похороны. Ясный свет. Итоги

На прощании с телом мамы в городском морге была только Лидия Евгеньевна со своим мужем, Василием Ивановичем. Если бы они не пришли, я остался бы совершенно один. Василий Иванович не знал маму, он приехал вместе с женой, потому что ей трудно ходить.



Они побыли полчаса. Лидия Евгеньевна вспоминала, как на прогулке поскользнулась, и мама ее поддержала. Хотя сама уже ходила с трудом.

Я внимательно смотрел ей в лицо, слушал ее.

Она добрая, Лидия Евгеньевна. Как ребенок. Хорошо, что мама с ней подружилась: всё-таки ей было с кем поговорить, кроме меня.

Мне легче от того, что она пришла.

Но что она знает о маме? Что она поддержала ее на прогулке. Что поздравляла с праздниками. Что вспомнила про 50-летие её совместной жизни с мужем и поздравила ее – незадолго до своей последней болезни. Хотя сама Лидия Евгеньевна об этом забыла.

Ей казалось, что она говорит о маме. Хотя на самом деле она говорила о себе. Но она не умеет иначе. И она добрая. Хорошо, что она пришла.

Потом они попрощались и ушли.

И я один поехал в пустом автобусе на кладбище. Оно называется «Новая Вилга» и находится в обычном карельском лесу. Могилы – среди деревьев. На земле – корни, хвоя, кустики черники и брусники.

Трое угрюмых, немолодых мужчин закрыли гроб и опустили глубоко в землю. И стали засыпать песком, смешанным с гранитными камнями. Я стоял рядом. Был теплый, ясный день. Где-то в глубине леса еле слышно попискивала какая-то птичка.

Здесь не было никаких указателей, тропинок. Просто лес. Я побоялся, что не найду это место. И пока они засыпали могилу, выцарапал ключом от квартиры на коре березы и сосны, растущих рядом, слово «мама».

Могилу засыпали. Сверху навалили чистого песка и сделали ровный холмик.

Так похоронили мою маму.

Которая родилась и выросла на юге, в Молдавии. Была такая общительная.

Ее похоронили в глухом карельском лесу. И никто этого не видел.

Зачем я завёз ее сюда? Если бы мы остались в Кишиневе, пришли бы ее ученики, коллеги. А здесь она никому не нужна.

Вот могила моей мамы.

Зимой здесь будет лежать глубокий снег. Весной потекут ручьи. Когда я еще приеду сюда? А, кроме меня, кто еще сюда может придти?



На следующий день после смерти мамы мне нужно было получить в мэрии свидетельство о смерти и сдать её паспорт.

Я шёл по знакомым улицам. Ярко светило летнее солнце. Ездили машины, куда-то спешили прохожие. У здания загса – рядом с мэрией – стоял свадебный кортеж. Крыльцо было засыпано разноцветными лепестками роз, похожими на яркие осенние листья.

В мэрии толстая женщина в очках взяла у меня паспорт мамы и сунула его в стол. Да, маме ведь теперь уже не нужен паспорт. Потом она долго заполняла какие-то бумаги. Потом отпечатала на принтере цветное, красивое свидетельство о смерти. При этом она разговаривала с дамой в красном костюме, сидевшей за соседним столом. Они говорили о погоде, о дачах и о своем новом начальнике. Та, что в красном, сказала, что он придира. Та, что в очках, возразила, что ничего не поделаешь, придётся терпеть.

Я взял свидетельство о смерти мамы и вышел через стеклянные двери в город. По-прежнему бессмысленно светило яркое солнце. Зачем-то шли куда-то люди, двигались по улицам машины.

Я спустился на набережную и медленно пошел домой по опустевшему чужому городу.

Дома, деревья, солнце в небе – всё стало ненужным, лишним. Потому что она уже не могла этого видеть.

Как будто ничего не изменилось. Но на самом деле всё изменилось. Всё стало бессмысленным. Всё, чем я жил, во что верил, осыпалось, как старая штукатурка, рухнуло, превратилось в пыль.

Словно кто-то сильно встряхнул меня. И то, что казалось главным, стало неважно. А незаметное, скрытое, не имевшее, казалось, никакого значения – вышло на первый план, стало главным.

Всё во мне озарилось ясным, холодным светом.

Постаревший мальчик. Подросток с седыми висками. Так и не научившийся заботиться о единственном близком человеке.

Почему, уезжая из Кишинева, я не подумал, каково будет ей? Она всю жизнь прожила в Молдавии. Привыкла к свежим овощам и фруктам. К солнцу и теплу. Зачем я увёз её на Север, где зима продолжается полгода? Как могла она привыкнуть к этому, ведь ей было уже 60 лет?

Эта жуткая квартира, где зимой в кухне на полу замерзала вода. Почему я не обращал на это внимания? Не считал, что обязан обеспечить ей хоть какие-то нормальные условия? Из-за холода в квартире у нее был инсульт.

В 2001 году мы подготовили документы для отъезда в Израиль. И если бы уехали, мама, наверное, была бы жива. Но случился этот инсульт. Я уже не думал об отъезде. Потом прошёл срок, надо было всё оформлять заново. И мы так и остались в России.

Как можно было покупать эти супы в пакетиках? Я ведь знал, что они вредные – даже для здоровых и молодых людей. Как можно было ни о чем не догадываться столько лет, когда она постепенно теряла аппетит, ее мучили запоры?

А ведь я всегда любил заботиться о ней.

На одной из осенних ярмарок я купил ей красивую кофту: в ней она ездила в онкодиспансер – ведь больше она нигде не бывала. Кофта ей понравилась, и мне это было приятно. Купил хорошее, легкое и теплое пальто, длинное, серое, с кашпоном и меховой опушкой. Ей было очень приятно, хоть она и сказала, что не стоило «тратить деньги на старуху». Я хлопотал, лечил ее, возил на облучение – и тоже с удовольствием.

Да, мне нравилось заботиться о ней. Но я это делал по-детски, как добрый, привязчивый, но легкомысленный и эгоистичный подросток, а не как взрослый мужчина.

Рядом с нашим домом есть частная лаборатория, где можно сдать анализ крови на онкомаркеры. Мама без труда бы дошла до нее, даже не пришлось бы брать такси. Но я не подумал о том, что ей это нужно. Как ребенок, я верил, что раком может заболеть кто угодно, но только не моя мама. И даже не рассматривал такую возможность.

Как можно было допустить, что два года у нее вообще не было лечащего врача?

Наконец, почему я не согласился на Железнодорожную больницу, уже зная, что она умирает? Ведь я понимал, что не могу быть хорошей сиделкой. И мне понравилась заведующая отделением. Почему я всегда крепко только задним умом?

Когда нужно что-то решать, веду себя как безумный. Потом понимаю, что следовало сделать – а ничего уже нельзя изменить.

А она могла бы еще жить. И я видел бы ее, разговаривал с ней, заботился о ней. Мы могли еще долго быть вместе.

Бедная! Ведь никто никогда не заботился о ней. Ее мама это делала формально, из чувства долга. А больше и некому было. А я прожил с ней столько лет – и так и не научился по-настоящему заботиться о ней.

Она была на моём попечении.

А заболела – по моей вине. И так мучительно умирала – по моей вине. Стыд и позор!

Как тяжело жить с презрением и отвращением к себе.

Мама, мамочка моя! Зачем ты оставила меня одного в пустом мире – с такой тяжестью на душе? С такой страшной виной – которую уже нельзя загладить?

Но нет, нет. Это я сам виноват – не ты.

В нашем подъезде, на втором этаже, жил Виктор Михайлович Рябинин. Отец нашего с мамой большого друга и соседки по лестничной площадке, Ларисы Рябининой.

Он тоже был несколько пристрастен к рюмочке. Но, в общем, человек неплохой. Слабый, но добрый. Любил читать. Часто я его видел на крыльце с книгой в руках. Дома у него стояло немецкое пианино 1912 года выпуска: практически музейный экспонат. Виктор Михайлович – профессиональный настройщик. И он это пианино привёл в порядок, даже играл на нем, хотя вообще играл плохо.

Иногда он, пьяный, скандалил в подъезде, ругал свою бывшую жену – мать Ларисы – последними словами. Кричал, плакал. Бывал очень неприятным, противным в такие минуты.

Ни во дворе, ни в подъезде он никогда ничего не делал.

Но однажды сломалась ступенька лестницы, ведущей на второй этаж дровяного сарая. И Виктор Михайлович по собственной доброй воле ее починил. Нашел хорошую, крепкую дощечку. Прибил.

Я встретил его у подъезда. Меня поразило его лицо: какое-то просветленное – таким раньше я его никогда не видел. Улыбаясь, рассказал мне об этой ступеньке.

На следующий день он умер. Внезапно, от сердечного приступа. Он как раз собирался идти к кардиологу, записался на прием.

И меня поразило, что он – впервые на моей памяти – что-то сделал бескорыстно, для людей – и тут же умер. Как будто чувствовал, что умрет. Будто специально стремился очистить свою душу перед смертью.

Я давно уже верю в посмертное существование человека. Но – не для всех.

И меня тогда это очень поразило. Я подумал: неужели этот пьяница, эта широкая русская душа, отец такого чудища, как Лариса – спасется?! Вернее, уже спасся? Неужели и для него что-то есть – там, за этой гранью? Но тогда не так уж это и трудно!

И когда мама умирала, я ждал: может быть, что-то такое произойдет и с ней. Наступит какое-то просветление, прояснение. Может быть, блеснет какой-то лучик.

Но ничего не дождался.

Неужели? Неужели на тех весах, на которых ТАМ всех взвешивают, она – такая великолепная учительница, такой сильный, прекрасный человек – окажется легче него, этого расхристанного пьянчужки? Не может быть!

Неужели ее уже нет, нигде?

Очистилась ли ее душа теми страшными страданиями, которые она вынесла? Или для нее ничего уже нет? Нет надежды? Нет жизни? Она исчезла, уничтожена?

Неужели ее ошибки, так и не осознанные, не позволили ей преодолеть барьер, выйти в посмертие?

Как страшно даже подумать об этом.

А ведь я мог помочь ей.

Почему я пишу эту книгу, когда ее уже нет? Почему никогда не пытался поговорить с ней о главных ошибках ее жизни, хотя давно понимаю их?

Почему я тогда, после катастрофы с Леной, не уехал один, без нее? Может быть, она догадалась бы, что в чем-то неправа, и что-то пересмотрела в себе.

Я не дал ей ни единого шанса. Всегда вел себя так, будто она всё делает правильно, поощряя, потакая ее заблуждениям.

30 лет назад мне исполнилось 19. Я уже не был ребенком. 20 лет назад мне было 29, мы уже жили в России. И долгих 20 лет в наших отношениях с мамой ничего не менялось. Но живое тем и отличается от неживого, что постоянно меняется. А мы не менялись. Выходит, мы не были живыми?

Я считал себя достойным человеком, потому что был хорошим педагогом и писателем. Но разве я не знал, что профессиональное – не главное в человеке? Знал! Я писал об этом в своих книгах и статьях.

Как же это случилось? То, что я знал, видел, понимал – в других людях – этого я не знал, не видел, не понимал – в самом себе? И эта поразительная слепота продолжалась десятилетиями!

Только смерть мамы – страшная катастрофа, утрата единственного близкого человека – встряхнула меня, открыла мне глаза. Но уже поздно, ее уже нет. Ей помочь уже нельзя.

Что это? Как понять это?

Мы заблудились в этой жизни, мама!
Но что же мне теперь делать? Что делать?

Чтобы по-настоящему сблизиться друг с другом, мать и ребенок должны отделиться друг от друга. Отойдя от матери, научившись обходиться без нее, преодолев зависимость от нее, ребенок, ставший взрослым, начинает понимать свою маму, видеть ее такой, какая она есть – не для него, а сама по себе. А это непереносимое условие Настоящей Любви, подлинной человеческой близости.

Кто любит для себя, потому что не может обойтись без того, кого любит, тот любит по-детски.

Ребенок уходит из дома своей матери. Оперившийся птенец вылетает из материнского гнезда. И этим он не только себе помогает стать взрослым – но и своей маме.

Именно радость за своего взрослого сына, умеющего жить без нее, гордость и уверенность в его неизменной любви и заботе – это зрелая любовь матери. Слабая, уже старая – она опирается на сильного, взрослого своего ребенка. Опирается духовно, психологически. Он духовная основа ее жизни, ее смысл. И этот смысл он дает не тем, что живет вместе с ней, не тем, что всё время находится рядом. У него своя жизнь – но именно эта его жизнь – и ее жизнь, оправдание ее жизни.

Научившись жить без мамы, ребенок и ей помогает стать взрослой. Это взаимный процесс, а не односторонний.

Конечно, лучше, чтобы мать сама сумела отделить сына от себя. Но если не получается у неё, это может сделать и он. И этим спасет и себя – и ее.

Правда, это небезболезненно: если мать не хочет отделить ребенка – а он все-таки решил уйти. Но, став взрослым, он поможет и ей стать взрослой, зрелой женщиной – и тем всё оправдает.

Так, отдалившись друг от друга, можно приблизиться друг к другу. Отойдя друг от друга, вести за собой друг друга.

Мы с мамой были всегда рядом. Но научиться любить друг друга по-настоящему так и не смогли. Наша болезненная привязанность помешала и ей, и мне измениться, стать взрослыми.

Мы заблудились в этой жизни, бедные слепые дети.

И вот ее нет. А я не помог ей найти свой путь, выпутаться из ловушек, расставленных ей жизнью.

Одиночество, с самого рождения, с того времени, как она помнила себя, – горькое одиночество. И обманы, миражи, мешающие увидеть правду: книги, общение, театр, сын – отвлекавшие, уводившие от решения проблемы ее жизни.

И никакой помощи за всю жизнь. Ни от кого. А она прожила 82 года!

Нам было дано много времени на Земле. И мы не сумели воспользоваться им.

Ну что же. Надо быть честным. Подведем итоги.

Моя мама была прекрасным учителем. Редким. Она несла свет своим ученикам. И это – главное, что ей удалось в жизни.

Когда она умерла, я на следующий день, 21.08, написал письмо своему другу Вадиму Ротенбергу:

Здравствуй, Вадим Семенович!

Вчера умерла моя мама. Я хотел бы написать книгу о ней и о себе – не знаю, получится ли. Она была сильным и цельным человеком. Умирать ей было очень тяжело. Она постепенно лишалась всего, что есть на Земле у человека: сначала не могла уже выйти из квартиры, потом уже не могла держать книгу – она всегда очень любила читать, но я еще читал ей вслух, хотя это не совсем то – потом уже не могла встать с постели, потом не могла уже внятно говорить – и я стал часто не понимать ее, от чего она очень страдала. Потом она не могла уже сама повернуться в постели.

Помните, как Толстой описывает смерть Ивана Ильича? Его словно просовывали в мешок и никак не могли просунуть. Но у Толстого это продолжается 3 дня. А тут это продолжалось 3 месяца.

Сегодня очень странное ощущение: физически чувствую себя обычно, – но душевно – очень странно. Ощущение, что не только мама умерла, но и я умер. Нет никаких желаний, ничего не интересно. Не хочется ничего делать.

Как думаете, это пройдет? Что бы Вы мне посоветовали как психолог?

Он ответил мне в тот же день:

Вадим Ильич, дорогой, это состояние всегда возникает на какое-то время после ухода очень близкого человека. Тем более, что Вы вкладывали все душевные силы в то, чтобы помочь – но помочь было невозможно, а смириться с этим тоже было невозможно, и тут вдруг все обрывается ... И ее уже нет.

Но я знаю, что это временно. Представьте себе, что мама видит это ваше состояние – она очень бы хотела сама помочь Вам из него выйти. То, что давало ей силы жить в описанных вами условиях, когда жить уже не под силу – это вера в Вашу возможность продолжения жизни, ибо это и продолжение ее жизни, и все, что Вы будете сейчас делать, чтобы продолжать, Вы будете делать и во имя ее, чтобы не предать ее веру в Вас. Она вполне поняла бы это Ваше нынешнее состояние, но могла бы принять его только как временное.

Она вернется к Вам. Вернется, потому что она часть Вас. И счастье, что она была. И я очень хотел бы прочитать книгу, которую Вы напишете о себе и маме.

Я уверен, что у Вас есть много людей, которые хотят Вам помочь – просто потому, что Вы такой человек. И я в их числе, и, пожалуйста, пишите мне обо всем. Ваш Вадим

Потом он еще приписал:

Вадим Ильич, я отправил Вам письмо, а потом открыл Ваш сайт и опять посмотрел фотографии. От Вашей мамы идет свет, и он есть и в Ваших фотографиях. Вы оба его несете. Такой свет не умирает. Это тот случай, когда смотришь на фотографию человека, с которым не знаком, и чувствуешь подлинную связь с ним. Пожалуйста, напишите о ней.

Вадим Семенович прав. И он даже сам не подозревает, насколько он прав.

Потому что мама сама открыла, сама создала этот свет. У нас в семье раньше не было ни одного профессионального педагога: она первая. А тот свет, который во мне, – это ТОТ ЖЕ САМЫЙ СВЕТ, её свет. Она как бы передала его мне – как факел – и я тоже пронес его через свою жизнь. Достоинно пронес. Но свет этот – её.

Что еще ей удалось?

Она была открытая и человечная: любила быть доброй и отдавать.

Она была сильной и жизнестойкой. В этом смысле моя мама – типичная еврейка.

Почему у евреев такие женщины (не все, конечно, но их много, таких)? Потому что тогда, когда евреи жили традиционной жизнью, мужчины часто сидели над Торой и больше ничего не делали. А семьей, детьми занимались женщины. И даже содержать семью часто приходилось жене, а не мужу. И так выработался тип сильной еврейской женщины.

И моя мама была именно такой.

Правда, в ней был и какой-то фанатизм, только перенесенный с иудаизма, с религии – на педагогику, на свою профессию. И во мне это тоже было, не в меньшей степени.

В этом смысле мы оба похожи на ее отца, моего дедушку, который был типичным религиозным фанатиком. Мама не любила его, а я очень мало с ним общался. Тем не менее, что-то общее есть.

Она сумела родить и вырастить сына. Это было очень трудно для нее. Труднее, чем стать прекрасным учителем. Труднее, чем поставить множество отличных спектаклей. Но она сумела это сделать. Она спасла меня от всех болезней. Я живу до сих пор, мне почти 50 лет.

Она сумела заразить меня любовью к детям и школе. Любовь к литературе, к книгам.

Но не сумела меня воспитать.

Она всегда уклонялась от решения своей главной человеческой проблемы. Не смогла преодолеть своё одиночество. Не смогла создать свою семью. У нее не было близкого, любимого мужчины.

Она вынуждена была одна, без поддержки, жить и растить ребенка, и поэтому отказалась от внутренней свободы, потому что в стране, где она жила, свободных, независимых людей травили и преследовали. А она

хотела жить и работать, ей нужно было зарабатывать, она не хотела рисковать. И постепенно приспособилась, стала обычным советским человеком – и потеряла способность критически оценивать себя, понимать свои ошибки.

«В своих дерзаниях всегда мы правы!» – так поется в популярной советской песне.

Мама тоже научилась так объяснять свои поступки, чтобы выглядеть в своих глазах всегда правой.

Она была зрелым, взрослым человеком во многих отношениях – а особенно, в своей работе. Но в отношениях с мужчинами – и в отношениях со мной, своим сыном, она так и не смогла стать зрелой и взрослой. В этом смысле до самого конца в ней оставалось что-то детское, инфантильное.

Ее самым заветным желанием было – остаться со мной навсегда. Но иногда – когда исполняются самые заветные желания – это и есть самое страшное.

Теперь о себе.

Я принял от мамы Свет и пронес его сквозь жизнь. Я такой же хороший педагог, как она, – хотя и другой, не похожий на нее.

Она сделала намного больше меня как педагог-практик, потому что работала подолгу в каждой из своих трех школ. А это необходимое условие практических педагогических достижений: надо долгое время – 10–15 лет – работать на одном месте, с одними и теми же детьми. Но я написал много хороших книг и статей. И как учитель был не слабее нее, хотя и не сделал даже сотой доли того, что сделала она, – из-за постоянных увольнений.

Но, в общем, в этом смысле я ее вполне достоин.

Я научился в жизни двум вещам: работать с детьми и писать. Больше я ничего не умею.

Я не смог найти в жизни свой путь, а пошел тем, который был начертан мне мамой. Это произошло потому, что у меня не было отца, и я идентифицировал себя с мамой, хотел быть похожим на нее. И еще потому, что я был слишком слабым.

При этом я всю жизнь искренне считал себя самостоятельным человеком. Я не заметил, что сделать ставку на профессиональный успех, отказавшись от личного счастья, – это значит повторить мамин путь, мамину основную ошибку. Не заметил, что иду не своим, отличным от её, а именно ею проложенным путем – ошибочно считая именно этот путь своим.

Я тоже зрелый и вполне взрослый человек в своей профессии. Но подлинно зрелым человеком во всех отношениях так и не стал.

Я не принес счастья ни Лене, единственной женщине, которую любил, ни маме: хотя ей и казалось, что она счастлива – просто потому, что мы всю жизнь были вместе. Я умел заботиться о дальних, но не умел – о ближних, о близких. Которых было всего два человека: мама и Лена.

Я совсем не эгоист по отношению ко всем людям: я человеческий и добрый, умею отдавать и заботиться – но только о чужих. А о своих, близких, я не научился заботиться, и по отношению к ним часто вел себя эгоистично.

И шансы моей мамы, и мои на продолжение жизни после смерти, по-видимому, весьма невелики.

Грустный итог. Но надо быть честным.

Ну что ж. Прошло много лет. И всё ещё мерцает в душах ее учеников тот свет, который она им несла.

Ее уже нет. Уже стерся ее след на Земле. Но свет живет, не умирает.

И если только в этом итог ее жизни – что ж. Мне остается только примириться с этим.

ГЛАВА 20.

В какую игру мы играем. Эпоха Одиноких. Лена. Первое сентября

Первые дни после смерти мамы я не мог плакать. Для меня перестали существовать небо, солнце, багряные листья клёна под нашим окном, капли росы на траве. Она не могла уже этого видеть – и этого больше не было. Я чувствовал себя мертвым. А мертвые не плачут.

Но потом слёзы пришли. И я стал плакать. Я плакал на улице, на прогулке с Гошей. Плакал, что-то делая на кухне. Это продолжается до сих пор.

Стало ли мне легче? Нет. Мертвым быть легче, чем живым.

Когда я обмывал и одевал мамино тело, я понял, чем мертвый отличается от живого. С мертвым можно делать что угодно. Можно повернуть его руку, или ногу в любую сторону, согнуть, закинуть за голову – и ничего. Мертвому не больно, он не протестует против этого. Ему всё равно.

Кстати, ведь именно таким всегда был идеал русских начальников: самые лучшие подчиненные – те, с которыми можно делать что угодно, и они молчат. «В России любят только мертвых,» – сказал Пушкин. Он прав.

Но я стал плакать. Значит, видимо, уже не был мертвым, стал оживать. Ведь мертвые не плачут.

И в то же время я чувствовал, что что-то во мне умирает, уходит навсегда.

Может быть, это умирает нелепый странный мальчик, так нежно привязанный к своей маме? Тот мальчик, который не должен был родиться?

Потому что кто еще может умереть во мне, если я сам еще жив?

В последние 10 лет, после инсульта, когда она стала больной, старой и слабой, я всё сильнее привязывался к ней. Именно ее слабость, ее старость, ее болезни заставляли меня ощущать себя ее единственной надеждой, единственным светом ее жизни. И я всё больше вращался в эту роль, всё больше сживался с ней.

Освободить меня от зависимости, отделить от себя она теперь уже могла только одним способом – умереть.

Но если я действительно стану свободным, что я буду делать со своей свободой? Ведь ее уже нет. И мой страшный грех перед ней уже никак

нельзя заглаживать. Я сейчас всё ясно вижу. Но зачем? Ведь я уже не могу помочь ей разобраться в своей жизни.

Похоже, запоздалая смерть нелепого мальчика так же нелепа, как и вся его 49-летняя жизнь.

Мы все играем в игру, которую не сами придумали. Её придумал Он, тот, который нас создал. И нам, прежде всего, следовало бы понять правила этой игры.

Но никого это не волнует. Люди суетятся, они ужасно заняты. Они ЖИВУТ. Они ставят перед собой цели и добиваются их. Они покоряют и изобретают. Совершают открытия. Воюют. Мирятся. И ни одному из миллионов не приходит в голову задуматься: а то ли мы делаем? Все же не мы сами создали эту Землю, Вселенную, всё это множество таинственных миров.

Не зная правил, мы проигрываем игру своей жизни. Но так как главная ставка в этой игре – за пределами земного существования, – мы этого не замечаем.

Ведь пока человек жив, он может и не задумываться о смерти. А когда умер – он уже не задумывается, поскольку его уже нет.

Правила игры, которую Он придумал, просты. Если успеешь стать взрослым, зрелым человеком – то будешь мне по-прежнему нужен. И твоя жизнь продолжится. Если нет – в переплавку.

«Человек, который в чести и неразумен, подобен животным, которые умирают,» – так сказано в той самой книге, которая называется «Книга» и которую почти всю написали евреи.

Вроде бы всё просто и понятно.

Но всё равно ничего не понятно.

Моя мама родилась в семье, где мать и отец не любили друг друга. Отец умел любить только абстрактные истины и религиозные догмы – но не живых людей. Он витал в эмпиреях, ни одной частью своего тощего тела не касаясь грешной земли. И поэтому не мог быть ей настоящим отцом. А мама была погружена в себя, в свои проблемы, не замечая её. Лея любила маму, тянулась к ней – но наткнулась на глухую стену.

И так возникло в ней ее одиночество, ее основная проблема.

И что – она в этом виновата? Не понимаю. Она что – сама просила об этом? Хотела родиться именно в такой семье? Может быть, она еще в утробе матери жаждала этого?

А если нет – то почему именно она должна за это отвечать?

Не понимаю.

Он, конечно, там, на Небесах, жутко мудрый. А я – червь земной. Где уж мне Его понять. Но все-таки понять-то хочется.

Хорошо: проблема возникла не по ее вине. Но потом она выросла – и тогда... а что, собственно, тогда?

Она была очень гордой и в то же время ранимой, особо чувствительной. Это черты её индивидуальности. Такая индивидуальность присуща ВСЕМ ТВОРЧЕСКИМ ЛЮДЯМ. Художественно одаренным. Она даётся от Бога. Да, как раз таки от Него, о котором мы и говорим. Это он берёт лукошко с индивидуальными особенностями и разбрасывает их, как сеятель, над всей Землей. И вот шальное семечко залетает куда-нибудь на Алтай, и там, в селе Сростки, рождается какой-нибудь там, понимаете ли, Шукшин. Хотя ни один из предков этого Шукшина никакого отношения ни к искусству, ни даже к интеллигенции не имел.

И в душу моей мамы залетело семечко художественной, артистической одаренности. И благодаря семейной страсти к чтению, благодаря дворовому театру – это семечко проросло, дало всходы, принялось в ее душе.

В этом, я надеюсь, она тоже не виновата? Если эта индивидуальность – от Него, ужасно мудрого, то он, такой мудрый, не должен наказывать именно за развитие этой индивидуальности, которая от Него.

Но в том-то и дело, что увлечение книгами и театром в сильнейшей степени мешало ей осознать свою проблему. А раз она ее не видела – то как могла решить?

Хорошо: это всё-таки не всё объясняет. У нее появился комплекс неполноценности: она стала считать себя некрасивой и подсознательно боялась оказаться несостоятельной в любви. Это произошло потому, что ее мама сказала те страшные слова: «Если ты острижешь свои волосы, кто посмотрит на тебя? Что в тебе еще есть хорошего?» а ей было 13 лет.

И я опять не понимаю. Виновата ее мама. Ведь такое ужасно мудрое существо, как Он, который там, на Небесах, не может не понимать того, что прекрасно понимаю я: а именно, что дочь чрезвычайно зависима от своей матери – и если мать психологически травмировала свою дочь – то никак не дочь за это отвечает, а исключительно и только мать.

Значит, в этом моя мама тоже не виновата.

Потом была мировая война, дикий разгул человеческого безумия – и ей повезло, она не погибла, как многие другие, спаслась в эвакуации – но ходила в жутких, уродливых обносках, причем, именно тогда, когда формировалась как девушка – и поскольку была от природы застенчива, да еще мамыны слова подействовали на нее как внушение – то комплекс ее усилился.

В том, что началась мировая война, персонально она виновата? Видимо, нет.

Значит, комплекс возник и усилился, закрепился – не по ее вине.

Хорошо. Вот она уже взрослая.

Она, конечно, должна была разобраться в себе, осознать свою проблему – проблему одиночества – понять, что у нее комплекс, что его надо преодолеть. Что в жизни каждой женщины решающую роль играет близкий мужчина. И чтобы стать счастливой, чтобы прожить полноценно.

ную жизнь, ей нужно обязательно преодолеть своей комплекс, многому научиться.

Значит, напрасно она отказалась ходить с Рафиком и Миррой на танцы: надо было туда ходить. Научиться кокетничать. Принимать и отвергать ухаживания. Почувствовать себя девушкой, женщиной.

А она вела себя неправильно и этого избегала. И, значит, сама виновата.

Но нет, не так.

Она ведь всего этого не видела и не понимала. И со своей субъективной точки зрения вела себя правильно.

Сознание, его работа также подчинены определенным законам. Мы не можем по своему произволу осознать всё, что угодно.

Да, она не увидела своей проблемы, не смогла разобраться в себе, правильно сориентироваться в жизни, правильно построить свою жизнь. Она избегала мужчин, близких отношений с мужчинами. Избегала до 32 лет. А в 32 года вышла замуж – будто с отчаяния прыгнула вниз головой в омут.

Бегство от счастья, бегство от любви. Но она этого не понимала.

Поэтому все-таки надо задать вопрос: насколько она в этом виновата? Кто помогал ей разобраться в себе? Кто мог помочь?

Никто.

За всю ее жизнь единственным человеком, который хорошо ее понял, был я. Но я появился в ее жизни очень поздно. В 7 лет – да и в 17 – я все-таки еще не был настолько умным. Поэтому реально я мог помочь ей разобраться в себе только тогда, когда она уже была пожилым человеком. Но и этого я не сделал – из-за психологической зависимости от нее.

А кроме меня, никто не мог помочь.

Ей дан был долгий срок на Земле. 82 с половиной года. И в лучшие свои годы она всегда – среди людей. По большей части – образованных, умных. Многие ее знали годами, десятилетиями.

Но ни один не понял ее. Все прошли мимо нее, не узнав, не разглядев. Только ли её? Могут ли слепые – видеть?

И я опять не понимаю. Если люди, живущие на Земле, все поголовно слепы, не интересуются друг другом, не способны понимать друг друга – то она ли виновата в этом?

Если люди трутся друг о друга, прикасаясь друг к другу – не видя друг друга, ничего не зная друг о друге? Если их жизнь подобна сну – должна ли за это отвечать моя мама?

А ведь она могла бы понять свою проблему, если бы нашелся человек, который ей помог, которому она могла бы поверить. Но его не было. Ни одного. Никто не догадался, что эта веселая, жизнерадостная, красивая



женщина несет в своей душе проклятие, страшную порчу – что она запуталась, не понимая себя; что бьется в стенах своего одиночества, не находя выхода. Никто и подумать этого не мог!

Мама рассказывала, как в эвакуации, когда у них еще не было своей квартиры, они жили в закутке, отгороженном фанерной перегородкой, она хозяйничала и пела при этом какие-то советские песни. «Нина, что у тебя за дочь! Это же птичка!» – говорила ее маме квартирная хозяйка.

Птичка! Веселая, жизнерадостная, всегда с улыбкой, бодрая, энергичная.

Кто мог такое подумать?

Посмотрите: вот моя мама. Это крошечная часть группового снимка: она ездила тогда в Ленинград. Ей здесь 30 лет.

Во-первых: похожа она на тридцатилетнюю женщину? Она похожа на девочку лет 17-ти. Во-вторых: кто догадается, что это несчастный человек с огромными личными проблемами? Более жизнерадостного, светлого лица просто невозможно себе представить.

А сама она не умела разбираться в себе. Ей это не приходило в голову.

Она приспособилась, стала советским человеком, да.

Правда, можно уточнить: западный человек – ничуть не менее конформен. И у него так же замечательно отработаны механизмы психологической защиты. Он так же умеет видеть то, что видеть удобно, и не замечать того, чего не хочется замечать.

Так устроены все современные социумы. Чтобы достичь устойчивого социального положения, иметь гарантированный доход – надо пожертвовать своей внутренней свободой, приспособиться. «Демократия» в этом смысле ничем не отличается от «тоталитаризма».

Так можно ли осудить человека за желание заниматься любимой работой, иметь квартиру и стабильную зарплату, растить сына? Она что – должна была всем этим пожертвовать? Ради того, чтобы не утратить внутренней свободы?

Но она ведь жила в стране, где само это понятие не существовало. Где запрещена была Библия, запрещены книги Фрейда.

Да, она не разобралась в себе, запуталась. Но в равных ли условиях находилась она с теми женщинами, которые выросли в настоящих семьях, где родители любили друг друга, где дети с раннего детства были счастливы, не зная, что такое одиночество? С теми, которые в девичестве хорошо одевались, а их мамы и папы говорили им, какие они красивые, укрепляя их уверенность в себе? С не знавшими войн и эвакуаций?

В равных ли условиях она с современными молодыми женщинами, часто одинокими и закомплексованными, но имеющими возможность обратиться к психологу. Сейчас ведь это обычное дело. А в ее время никаких и психологов-то не было. Я уже не говорю о будущем человечества, когда психологическая культура может стать совершенно иной.

Джулиано Хаксли как-то сказал, что образ жизни человека будущего будет так же отличаться от нашего, как наш отличается от образа жизни синантропа.

Хотя – может, мы и есть синантропы? Только сами не догадываемся об этом.

Она была прекрасным человеком, умницей, красавицей. Почему она – она сама – никого не интересовала? Никто никогда не думал о ней как о человеке. Никто не заботился о ней. Не пытался понять её.

Ее ученики любили ее, были ей благодарны за то, что с ней интересно. Но и они не знали её как человека. Не понимали, что та Людмила Ильичина, которую они знали, – это фасад, парадные комнаты.

Разве понимали они, насколько может быть сложен, неоднозначен человек, насколько противоречив? Как могут быть перепутаны, переплетены в нем добро и зло, темное и светлое.

Они согревались её теплом – и были признательны ей за это. Остальное их не волновало.

Сколько их, прошедших мимо нее, не заметив ее?

Но разве только ее не заметили?

Люди сейчас интересуются чем угодно, кроме самого главного.

«Жизнь – лишь передняя при входе в мир грядущий,» – сказано в талмудическом трактате «Пиркей авот» («Поучение отцов»). И такое представление о земной жизни характерно для большинства культур и цивилизаций прошлого.

Но современная цивилизация забыла об этом. Наизобретав кучу вещей, покорив и изнасиловав природу, люди сами возомнили себя богами. У них закружились головы. И про Бога они забыли. Забыли, что играют не в свою игру. Игры, ими самими придуманные, вышли на первый план, заслонили всё остальное.

И они стали в этой «передней» устраиваться навсегда. Основательно, со вкусом. Будто собираются жить на Земле вечно.

А еще им некогда потому, что надо обслуживать свои изобретения.

Если раньше пахали на лошадях, то ведь лошадь надо только поить и кормить. А трактор? Чтобы его сделать, надо добыть железо. Расплавить. Построить завод: тысячи людей заняты на этом строительстве. Потом завод откроется, и там будут работать тысячи рабочих. Нужно добыть нефть. Перегнать ее, получить бензин. Залить в бак трактора. А если он сломается? Кто-то должен чинить. Чтобы строить заводы, делать трактора, перегонять нефть – тысячи людей учатся в институтах, их учат тысячи преподавателей.

Там, где было занято несколько человек – одна крестьянская семья – теперь заняты десятки и сотни тысяч.

Нужно обслуживать мертвые вещи, которые люди наизобретали. Не они служат людям, а люди служат вещам. Они их слуги. Кто-то обслужи-

вает социальные институты, которые тоже якобы предназначены для людей, а на самом деле подчиняют их себе. И ни у кого нет времени. Некому заниматься ЛЮДЬМИ, интересоваться ЛЮДЬМИ.

И человек – одинокий, никому не нужный – остается один на один со своими проблемами.

В этом тоже виновата моя мама?

Что же получается?

Допустим, есть женщина, которая вовремя вышла замуж, они с мужем любили друг друга – она состоялась как личность, стала вполне взрослой и зрелой. Она правильно воспитала своих детей, вовремя отделила их от себя.

Значит, она спасется?

Согласно правилам игры – должно быть так.

Но если у этой женщины было счастливое детство, хорошая семья: отец и мать любили друг друга, любили свою дочь, у нее была эмоциональная связь с ними? Если не возникло никакого комплекса? Если, уверенная в себе, она не избегала мужчин? В общем, всё шло как надо. То это ее заслуга?

А если ребенок вырос в холодном доме, совсем одинокий? Если возник комплекс, и его не удалось преодолеть – то это вина этой женщины?

И она не спасется?

Не понимаю, не понимаю.

Выходит: если человек был счастлив – он спасется? Если был здесь, на Земле, одинок и несчастен – его убьют?

Задача человеческой жизни – она ведь очень разная для разных людей. Вот я физически несильный человек. Я не могу поднять штангу весом 50 кг. А для кого-то другого – это пара пустяков.

И вот задача нашей жизни – она для всех одна и та же, как этот вес в 50 кг – а люди-то разные.

Разве наши человеческие особенности не так же объективны, как физические? Если ребенка никто по-настоящему не любил в детстве, то разве он объективно не слабее того, кто был согрет теплом и любовью с первых дней жизни?

А условия получаются такие: поднимешь эти 50 кг – живи дальше. Не поднимешь – в переплавку.

Это справедливо?

Хотя для Него, наверное, не существует такого понятия – «справедливость». Или это неважно для Него. Он ведь Творец. А в творчестве есть что-то жестокое. Тут главное – результат, и не так важно, как он достигнут.

Ему, наверное, всё равно, сколько людей спасется. Пусть один из миллиона. Ему, видимо, этого достаточно.

Моей маме было очень трудно решить главную задачу своей жизни. И она не справилась с ней.

Но она была хорошим, достойным человеком. Она несла свет людям. Разве она не заслуживает снисхождения?

Хотя для Него, наверное, и понятия «снисхождение» не существует.

Он ведь дал людям свободу. Вот и выкарабкивайтесь сами. Помогайте друг другу сами. Не смогли? В переплавку!

А я опоздал, я не смог ей помочь. Прозрел тогда, когда ее уже нет на Земле.

Боже мой, боже мой! Что же мне делать?

Я всё готов понять и принять. Готов играть по любым правилам. Пусть меня мучают, уничтожат.

Но пожалейте мою маму! Она не могла во всём этом разобраться, не могла! Неужели она должна была открыть сама для себя то, что открыли Фрейд и другие великие психологи?

Как могла она из этого выкарабкаться? Ее задача была нерешаема.

Но к кому я обращаюсь? Он же меня не слышит. У него нет ушей. И читать он не умеет: у него нет глаз. Он не человек: его нельзя ни о чем попросить. Он Дух – и не имеет телесного облика.

Я согласен со всем. Его Творение удивительно и прекрасно.

Но не надо убивать мою маму! Пусть она поживет еще немного – вот единственное, чего я хочу.

Ей было слишком трудно – и она не смогла. Она не виновата.

Я готов ответить за нее.

Но нет. Он не слышит. И у него другие правила.

Тут каждый отвечает за себя.

Значит, ничего уже нельзя сделать?

Мы живем в Эпоху Одиночества. В Эпоху Одиноких.

Раньше почти вся жизнь человека проходила на людях. Вместе работали: в одиночку охотник, рыбак, крестьянин мало что могут сделать. Вместе праздновали, молились своим богам. Огромную роль играла жизнь общественная, общая. Семьи, как правило, были большими. Человек всё время был окружен другими людьми.

Значит ли это, что тогда не существовало одиночества? Не было такой проблемы в принципе? Нет. Скорее, одиночество не чувствовалось и не осознавалось. Непонимание, отсутствие эмоционального контакта были, конечно, обычны и тогда. Но брошенным человек себя не чувствовал. Его проблемы не считались только его проблемами.

Даже моя мама еще застала какие-то остатки такого уклада. Приехав из эвакуации, все ее родственники, множество разных людей, жили в одной большой комнате дяди Лёвы. Именно родственники нашли ей мужа, когда она вернулась в Кишинев из Ваду-луй-Вод. Они не считали, что это ее личное дело, были уверены, что должны ей помочь.

Но время менялось, менялись ценности, уклад жизни. Люди стали больше ценить индивидуальную внешнюю свободу. Делаю, что хочу. Же-

ную, на ком хочу. Живу, как мне нравится. И никому нет до этого дела. И мне ни до кого нет дела.

Общественные места, где раньше люди проводили много времени: церкви, синагоги, рынки – утратили свое значение. Семьи стали маленькими. У многих нет семьи совсем. И так как это обычно, то считается нормальным.

Но человек не может быть один. Это слишком мучительно. Человеку нужен человек.

Но люди перестали считать это проблемой. Не проблема, что столько одиноких женщин: это их личное дело. Не проблема – несчастный человек, несчастная женщина.

Когда мама умерла, я дал в местную газету объявление о знакомстве: «Одинокий интеллигентный мужчина, 49 лет, хотел бы познакомиться с женщиной с ребенком (детьми) для создания семьи». Конечно, я не надеялся, что таким образом действительно найду себе жену. Но решил проверить: позвонит ли хоть кто-то?

И получил десятки звонков.

Расскажу об одном из них. Её зовут Татьяна. Ей 47 лет. Есть взрослый сын, живущий отдельно. Она медсестра. Голос показался мне грустным: видимо, она действительно страдает от одиночества. Я подумал, что в какой-то мере помогу ей, даже один раз приехав к ней в гости. Но то она была занята, то я. Наконец, я позвонил ей. «А куда это вы пропали?» Я удивился: «Прошу прощения, просто был занят». «Вы же интеллигентный человек! Могли предупредить!» и она очень строгим тоном стала выговаривать мне за мою невнимательность. Я сухо извинился за беспокойство, положил трубку.

И тут же почувствовал жалость к этой женщине. Причина ее одиночества – в ней самой. В том, что она воспринимает любого потенциально близкого мужчину как свою собственность. Но где ей понять это! И значит – она обречена остаться одинокой навсегда.

Мы разговаривали с ней по телефону три раза. Вот такое знакомство. Осталось от него чувство горечи. А помочь ничем нельзя. Как жаль!

Сколько таких женщин вокруг нас?

Сколько нужно усилий, сколько людей – чтобы помочь всем, кто на самом деле нуждается в помощи? Наверное, в миллион раз больше, чем сейчас.

А воспитание? Как сейчас воспитывают детей? Боже мой! «Воспитание есть дело кустарное и из кустарных производств – самое отсталое,» – сказал Антон Семенович Макаренко.

Производство каких-нибудь подшипников – это да. Профессиональное обучение. Строгий контроль качества. Дело-то важное!

Видимо, подлинный общественный прогресс заключается в том, чтобы большую часть сил, интеллектуальных, эмоциональных, физических,

и большую часть времени – тратить на помощь каждому человеку в его духовном становлении, в осуществлении Замысла Бога о нём. Но когда это ещё будет?

Пока же люди заняты материальным производством.

А производство людей – это дело кустарное, и из кустарных – самое отсталое.

Да, мы синантропы.

Вскоре после смерти мамы в моей жизни снова появилась Лена.

Я нашел ее на сайте «Одноклассники» и сообщил, что мама умерла. Вскоре она ответила:

Здравствуй, Вадим... Несколько недель назад я вас видела во сне Людмилу Ильиничну и тебя. Я люблю твою маму и до сих пор мои чувства к ней самые светлые и добрые. Я прошу у нее прощение за все те муки, которые она перенесла как мать из-за нас с тобой. Мне очень больно сейчас, что ее нет с нами здесь на этой земле. Твоя мама любила тебя и любит до сих пор тебя больше всех на свете. Пусть ее любовь дает тебе силы жить дальше. Любовь мамы не умирает, она всегда будет с тобой. Чувствую, как тебе больно... Терпи и люби, прости меня.

Теперь мы переписываемся. Она была второй раз замужем, недолго, год или два. У нее есть сын. Она живет с мамой. По-прежнему не может обойтись без нее: мама решает все проблемы, мама добытчица, мама оберегает ее покой. И ей по-прежнему это нравится.

Ей 46 лет.

Она сама ведь тоже – ребенок, который не должен был родиться. Ее родители не любили друг друга. Теперь у нее есть сын, рожденный от не-любимого мужчины: еще один ребенок, который не должен был родиться. Еще один несчастный человек.

У нее есть сын, но нет мужа. Нет любви – но есть отвлечение, любимая живая игрушка – ребенок. Она повторила путь своей мамы. Сама того не заметив.

Она совсем не изменилась. По-прежнему в ней два человека: один – моя Лена – тонкая, ранимая, человечная. Другой – инфантильная девочка, которой очень нравится быть зависимой от мамы. Которая глубоко эгоистична. Придерживается в жизни единственной моральной нормы: делать можно всё, что одобряет мама. И эти два человека в ней по-прежнему не знакомы друг с другом, ничего не знают друг о друге.

Бедная моя 46-летняя девочка! Поймет ли она когда-нибудь, какую роль на самом деле сыграла и продолжает играть в ее жизни мама?

Когда Лене было 13 лет, ее отцу сделали сложную операцию, удалив часть желудка – из-за запущенной язвы. Он пришел из больницы домой, и жена заявила ему, что не будет для него готовить: ей некогда. Он готовил себе сам. И потом ушел от нее.

Какая редкая подлость: отказать еле живому, больному человеку – притом, самому своему близкому человеку, своему мужу – в такой элементарной заботе, в элементарном человеческом отношении. Поймет ли Лена когда-нибудь, что этот омерзительный поступок ее мамы не только разрушил семью ее родителей – которая и прежде не была настоящей семьей – но еще и нравственно замарал ее маму с ног до головы? Поймет ли, что она сама с тех пор уверилась в том, что можно как угодно вести себя по отношению к близкому мужчине – и именно поэтому так вела себя по отношению ко мне? Этому научила ее мама.

Поймет ли она, что ее мама намеренно разрушала нашу толком еще не возникшую семью, потому что ей стало скучно без своей любимой кукочки и она решила вернуть ее себе? Что именно поэтому она убегала от меня – потому что была полностью зависима от мамы и делала то, что та хотела от нее?

Поймет ли, что именно мама внушала ей страх передо мной – после того, как я избил ее – хотя она должна была знать меня и понимать, что бояться ей нечего?

Любопытно: Роза Сергеевна, мама Лены, крайне примитивная женщина – Лена умнее, тоньше, сложнее во много раз. Но она слабая. А мама ее – энергетически сильный человек. Напористая, практичная, аморальная – она всегда имела над слабой, зависимой дочерью огромную власть. Поймет ли когда-нибудь Лена, что большая часть ее действий, мыслей и чувств – не ее собственные? Что они возникли под воздействием мамы: как у загипнотизированного – под влиянием гипноза? И ей самой всегда нравилось быть зависимой от мамы – и до сих пор нравится. Поймет ли она, что это значит: что она за человек?

Она сказала мне, что «живет своей работой, сыном и интересами своей мамы». Поймет ли она, что главный интерес ее мамы всегда был в том, чтобы удержать ее навсегда при себе? Сделав при этом максимально манипулируемой – и, значит, максимально инфантильной, слабой и житейски никчемной.



Встреча выпускников в 18-й школе. Маме здесь почти 60 лет. А Лене – 20.

Что именно ее мама намеренно разрушила ее счастье, лишила ее любви и семьи? Что она сама боялась и убегала от единственного человека, которого любила и который ее любил, с которым она могла иметь семью, стать полноценным, взрослым человеком, прожить осмысленную и счастливую жизнь – убегала от своего единственного Друга – потому что считала своим другом своего главного Врага? Бегство от любви. Бегство от счастья.

Поймет ли она, что совершила по отношению ко мне еще большую подлость, чем ее мама – по отношению к ее отцу: именно потому большую, что Роза Сергеевна не любила мужа, и он ее не любил – а Лена любила меня, и я ее любил? Вернее, люблю – и она меня до сих пор любит. Только сама не догадывается об этом.

Поймет ли, что то, что она считает своей жизнью – это призрак, мираж. Она «воспитывает сына»? Как может она воспитывать? Воспитать мальчика без отца – исключительно трудная задача для любой женщины. Но Лена, полностью зависимая от своей мамы, глубоко инфантильная, – как она может вообще кого-то воспитывать?

А ее работа. Она работает в банке. Она бросила свою профессию дефектолога, которую любила, чтобы зарабатывать много денег для мамы. И они «построили» роскошный дом в богатом квартале Кишинева. На это она потратила лучшие годы своей жизни. Ради этого изменила своему призванию.

Поймет ли она, что если есть еще какая-то жизнь для ее мамы – то только в том, чтобы раскаяться в совершенных ею чудовищных подлостях: разрушении собственной семьи – и разрушении семьи своей дочери? Что если есть для нее самой, в 46 лет, еще какая-то жизнь – то только вместе со мной, единственным человеком, которого она любила и любит? Что она по-прежнему моя жена перед Богом, хотя и не исполнила и даже никогда не признавала ни одного из тех обязательств, которые берет на себя каждая женщина, выходя замуж? Что ей нужно во что бы то ни стало уйти от мамы, не жить с ней? Разорвать поводок, перерезать, наконец, пуповину, соединяющую ее с мамой.

Сумеет ли она это понять? Хватит ли у нее мужества? Это ведь очень страшно: признать, что вся твоя жизнь была ошибкой, грехом. Что ты не была самостоятельной, делала не то, что сама хотела, а что тебе внушил другой человек. И что тебе самой это очень нравилось: быть зависимой, манипулируемой, слабой.

Ее мама – типичная деспотка. Есть такой тип личности, который психологи и педагоги называют «деспотическим». Это люди, которые любят, чтобы кто-то зависел от них, был в их власти. Делал не то, что сам хочет, а что они хотят. Был несамостоятельным, а подчиненным им. Когда они управляют другим человеком, подчиняют его – они испытывают удовлетворение. А иначе они не могут получать удовлетворение от жизни. Не умеют.

Есть и люди, которым нравится, чтобы ими управляли. Они это любят. Слабые, зависимые. Причем, им такими быть нравится. И такие люди охотно сближаются с деспотами. Они нужны друг другу.

Деспоты любят зависимых. А зависимые любят деспотов. Они довольны друг другом. Деспоты довольны, потому что ощущают свою силу и значительность от того, что зависимые в их власти. А зависимые довольны тем, что их проблемы кто-то решает за них. Кто-то их ведёт по жизни за ручку – ведь сами они идти не способны или не хотят.

Причем, зависимые часто идеализируют «своих» деспотов: считают их добрыми, приписывают им несуществующие заслуги – в том числе перед ними самими. А деспоты тоже любят «своих» зависимых, но только до тех пор, пока они вполне зависимы от них.

Интересно, что «деспоты» и «зависимые» – не разные, а одинаковые. И те, и другие – внутренне несвободны и человечески неполноценны. Только деспоты биологически, энергетически более сильные, но это несущественная разница.

Нормальный же человек не стремится ни к тому, чтобы иметь кого-то в подчинении, ни к тому, чтобы подчиняться.

Захочет ли она еще стать нормальным, полноценным человеком?

Мама родила ее для себя. Для своего утешения. Чтобы заполнить пустоту своей жизни.

Какие разные люди – наши мамы.

А истории – похожие.

Я думаю о том, какая это огромная сила – материнская любовь. Какую власть имеет мать над своим ребенком. Она может дать ему мощный импульс к жизни. Зарядить силой, энергией, верой в себя. А может всё это отнять.

Недалеко от нашего дома – 27-я школа. В этой школе учится мой большой друг Саша Осипова, она раньше ходила в наш Литературный клуб.

1 сентября, через 11 дней после смерти мамы, я пошел утром в 27-ю школу. Я так делаю уже давно: иногда даже просто выхожу на улицу – иду, смотрю на детей с букетами цветов, на девочек с пышными бантами. Это мой праздник. Меня давно никто не поздравляет с ним – но всё равно это мой день. Я ведь учитель.

Я пришел рано. Почти никого еще не было. Потом стали постепенно собираться дети.

Очень трудно объяснить словами, что такое особая атмосфера школы. Некоторые не любят школу: шум, гам. Я люблю больше всего на свете. И мама любила – больше всего на свете. Школа – это множество событий, характеров. Это жизнь, разнообразная, текучая, яркая, прекрасная жизнь.

Я стоял и смотрел на детей. Я видел по лицам, жестам, по тому, кто как стоял, смотрел, говорил – характеры. Понимал, какие это люди. Какие между ними отношения.

Это была родная мне среда, родная стихия. Где я всегда себя чувствовал очень хорошо.

Потом началась линейка. И я пошел домой.

Надо было перейти через широкую улицу Калинина. Там толпился народ. Стояли две милицейские машины. Я подошел и увидел лежащую на проезжей части старую женщину. Волосы ее были как снег, совсем белые. Потом присмотрелся и увидел, что женщина умерла. Это было мертвое тело.

Ничто не указывало на аварию. Видимо, она переходила дорогу, внезапно упала и умерла. Подъехала «Скорая». Из нее достали носилки и стали укладывать на них тело.

Я пошел дальше. На рынке я купил еду для Гоши и долго, без всякой цели, ходил по рядам. Я чувствовал каждого человека. Вот прошла девушка: я видел, какая она, на что она надеется – и очень хотел, чтобы ее надежды сбылись. Я видел стариков, детей, женщину-продавца с сигаретой в зубах, говорившую очень громко и визгливо и называвшую всех покупателей «лапочка моя». «Лапочка моя! – кричала она прямо в ухо солидной пожилой даме. – Вы мне десять рублей дайте! Нет у меня десятков, нет, лапочка моя!» Я видел одиночество этой женщины, ее долготу.

Маленький, толстый и словно весь лоснящийся торговец-армянин предлагал старику-покупателю свежее мясо. Он широко раздвинул руки, как будто боялся, что старик сбежит от него, и говорил: «Таким кускам только у меня покупать можешь. Давай, бери, радоваться будешь!» Мне не казался этот человек смешным. Я видел его детскую растерянность. Видел, как он скучает по родине.

Мне не хотелось уходить. Кажется, никогда я так не любил людей.

Потом я зашел домой, накормил Гошу. Взял фотоаппарат и снова пошел в 27-ю школу. Уже шли уроки. Я постоял на крыльце, где две маленькие девочки, у которых уже всё кончилось, ждали родителей, чтобы их отвезли домой, ели мороженое и болтали. Сфотографировал их. Потом зашел в школу (меня почему-то всегда пускают во все школы, хотя это против правил), побродил по лестницам.

Снова вышел. Опять перешел через улицу Калинина, в том же месте. Там уже никого не было. Толпа рассосалась. Ничто не указывало на недавнюю гибель женщины.

Я вспомнил, как только что эти маленькие девчушки хохотали, стоя на крыльце школы.

Был прекрасный, теплый день. Ярко светило солнце.

И на душе у меня было светло.

Мама! Можно ли любить эту жизнь такой, какая она есть? Где смерть вперемешку с детским смехом; где счастье и страдание; отчаяние и надежды. Но ведь ты любила ее именно такой! Ты знала, что она кончится. И любила каждый ясный день, и свет солнца, и людей – именно потому, что это дано не навсегда.

Что же делать, мама? Ну что же делать? И я тоже люблю ее именно такой. Другой ведь она быть не может.

Мама! Дорогая моя мамочка! Спасибо тебе за то, что ты подарила мне эту жизнь, со всеми ее муками, неудачами, радостями и горестями, со смехом детей, мокрыми осенними листьями, с росой на свежей траве, книгами Пюго и Айтматова, с небом над головой, со страданиями и смертью.

Ты сделала всё, что могла. Я всё равно бесконечно благодарен тебе и счастлив, что ты была и что ты – моя мама. Я люблю тебя.

Я вижу всю твою жизнь – как фильм, как вереницу кадров.

Тирасполь. Темная комната, где ты, двухлетняя, лежишь в scarлатине на огромной подушке.

Тихая пыльная тираспольская улица, по которой твой отец идет в синагогу, а ты тащишь за ним тяжелую книгу. За вами бегут хулиганы-мальчишки и бросают в вас мелкие камешки.

Ваш двор в Тирасполе, представление, в котором ты, девятилетняя актриса, дебютировала «на сцене». Ты была в прекрасном костюме из цветной бумаги. И соседи-зрители искренне и громко аплодировали тебе.

Школа. Ты бежишь по гулкому коридору на урок. Ты любишь свою учительницу, и рада встрече с ней.

Тираспольский вокзал. Вы уезжаете в Кишинев. Тебя провожает весь твой класс и твоя учительница. Ты держишь целый ворох подаренных ими книг и игрушек.

Кишинев. 22 июня 1941 года. Ты выходишь утром во двор с мамой, чтобы идти на рынок. В ветвях огромного орехового дерева застряли осколки, но ты еще не понимаешь, что это такое.

Вот ты едешь на дровяной машине в эвакуацию. По дороге движутся войска, колонны беженцев. Налетает немецкий самолет. Ты прыгаешь вниз с высокого кузова, падаешь, бежишь в поле и бросаешься на землю, закрыв голову руками, и над тобой свистят пули.

Акмолинск. Темная комната. Ярко горит огонь в плите. От запаха жареных семечек першит в горле. Ты сидишь у заслонки с книгой и читаешь.

Акмолинский рынок. Ты продаешь рыбу. На тебе юбка, сшитая из крашеной мешковины, тулуп узника ГУЛАГа и теплый платок.

Кишинев. Центральный парк. Ты идешь с Софой по аллее, твои светлые волосы горят, как маленькое солнце. Софа громко поёт, и ты смеёшься, смущенно и весело.

Университет. Ты стоишь в коридоре и что-то рассказываешь, и твои сокурсники, среди них Сусанна и Витя, весело смеются.

Выпускной вечер в университете. Игра в фанты. Ты прыгаешь на одной ножке по кругу и повторяешь: «Я – згурицкая интеллигенция! Я – згурицкая интеллигенция!»

Ваду-луй-Воды. Школа. Ты, веселая, бодрая, красивая, идешь на уроки по грязной деревенской улице с тяжелой сумкой в руках.

Ваду-луй-Воды. Клуб. Идет спектакль «Платон Кречет». Ты в главной роли, на сцене. В зале сидит молодой казак и партийный работник, Алексей Иванович Шведов, и смотрит на тебя.

Ваду-луй-Воды. Алексей Иванович приехал к тебе, он делает тебе предложение. Где это было, я не знаю. Может быть, вы разговаривали во дворе школы. Или у твоего дома. Ты отказываешь ему, и он уходит.

Кишинев. Улица Котовского. У тебя родился сын. Ты счастлива: у тебя есть ребенок.

Кишинев. Улица Федько. Тебе звонит любовница твоего мужа. Ты берешь кое-какие вещи, меня и, не дожидаясь его возвращения, уходишь. Это конец твоей семьи. Теперь у тебя есть только сын.

Кишинев. Улица Димо. Ты заходишь в маленькую узкую комнатку, где живешь со своей мамой и сыном. Сын опять болен. Но он не хочет лежать спокойно, а ворочается, стараясь достать со стола книжку. Он хочет читать, хотя у него высокая температура.

Кишинев. Инфекционная больница. Твой сын болен. Ты стоишь под окнами, и сверху на веревочке спускается белый листок бумаги – записка. Ты прикрепляешь свою записку, и она летит вверх, к бледному мальчику, стоящему у окна.

Кишинев. 18-я школа. Идет репетиция спектакля «Мещанин во дворянстве». Костя Федотов играет хорошо. Но надо еще продумать мизансцены. Скоро премьера.



На репетиции драмкружка.

Кишинев. Встреча с твоими первыми Ваду-луй-Водскими выпускниками. Пожилые, лысые мужчины снова стали мальчишками. Они любят тебя, и ты их всех любишь. Вы остались друзьями навсегда.

Кишинев. Ты идешь с рынка. Ярко светит летнее солнце. Ты уже уволилась из школы. Мы скоро уезжаем в Россию. Но у тебя остается твой сын. И ты идешь по улице, жмурясь от солнца, ты не унываешь. Ты по-прежнему нужна.

Приозерск. Северный лес. До города далеко. Мы гуляем. Ты находишь полянку, заросшую брусникой, и мы ее собираем.

Приозерск. Ты выходишь на крыльцо нашего деревянного дома. Там сидит кот Малыш, он полунаш – полудикарь. Он задушил крысу, но не ест её. Он сидит с добродетельным видом и как бы говорит: «Я хороший! Я убиваю крыс! Кормите меня!»

Петрозаводск. Парк в пойме реки Лососинки. Мы на острове, куда ведет горбатый мостик. Это твое любимое место в Петрозаводске. Здесь растет боярышник, осенью он очень красивый. Мы собираем ягоды и листья и несем их домой.

Петрозаводск. Ты дома. Ты ждешь сына, который работает далеко за городом. Ты сидишь в своем любимом старом кресле. На столе горит неяркая лампа. В комнате полутемно. У твоих ног лежит Гоша. Иногда он открывает глаза и вопросительно смотрит на тебя. Где же хозяин?

Петрозаводск. Ты гуляешь с Лидией Евгеньевной. Ты в сером пальто, с палочкой. Тебе уже трудно ходить, и вы с Лидией Евгеньевной поддерживаете друг друга.

Последний кадр. Ты смертельно больна. Ты прощаешься с сыном. Мы оба плачем. Нам не хочется расставаться. И все-таки мы счастливы, что прожили жизнь вместе.

Вот и всё, мама. Твое время на Земле кончилось.

Вот моя мама. Это фото 1959 года. Ей здесь 30 лет.

Какая прекрасная женщина! Разве недостойна она была любви, счастья? Всё могло быть по-другому. Если бы она сама не прошла мимо той двери, в которую ей обязательно нужно было войти.

И всё же она прожила красивую жизнь. Была прекрасным учителем. Сильным и гордым человеком.

Ну вот, мама. Вот и последняя строчка моей книги о тебе.

Я люблю тебя. Я буду помнить о тебе.

И все-таки надеяться, что мы еще встретимся.



Валя и Галя

«Валя и Галя» – это повесть об учительнице. Мама очень любила ее, дважды перечитывала. Я хорошо помню, как она прочла повесть в первый раз: она заплакала в конце – потом сказала, что это замечательная вещь. Я написал «Валю и Галю» летом 2004 года. Закончил 1 сентября. Мою маму нельзя в полном смысле слова назвать прототипом Вали из повести. Но в чем-то они очень похожи. Эта повесть показывает, чем мы жили с мамой, что любили, во что верили. Поэтому я решил включить ее в это издание.

В шепоте листьев, в плеске волны, в дуновении ветра

Я с вами.

Среди жестоких и темных, среди предательства духа, среди исканий и скорби

Щит Мой над вами.

(Н. Рерих. Агни-Йога)

В университетском коридоре было полутемно и таинственно тихо. В воздухе висело медленно оседающее облако пыли. Паркетный пол, сухой, странного цвета: то ли пурпурный, то ли малиновый, будто облитый марганцовкой – скрипел и потрескивал под ногами. Стены бледно-зеленые, обшарпанные, с фанерными стендами, облепленными бумажками.

Все пространство коридора казалось полосатым, как зебра: под толчком горели только некоторые лампы и полосы тусклого дымного света перемежались полосами густой тени.

В дальнем конце коридора показались две девушки-студентки. Они подошли к двери одной из кафедр; одна, полненькая, повыше ростом, оглянулась на подругу, та открыла ей дверь и первая девушка нерешительно вошла, вторая осталась стоять у двери, в полосе света.

Девушка была маленькая, с крошечными, как у ребенка, ручками и ножками; и двигалась и стояла она по-детски неловко, застенчиво. Одежда же ее и лицо совершенно не гармонировали с детской грацией маленького тела. Совсем юная, гладкокожая, она была одета во все темное: серый строгий костюм, простой белый воротничок, собранные пучком на затылке волосы – прямо старушка-учительница. Лицо тонкое, ассиметричное, очень бледное, что особенно бросалось в глаза из-за цыганских иссиня-черных чуть вьющихся пышных волос и черных глаз.

Глаза, огромные, матово-черные, были самым замечательным в ее лице: они, казалось, не смотрели никуда – будто девушка видела что-то внутри себя: такие медитирующие, отрешенные глаза, к тому же немного косившие. Станные, загадочные, они были необычайно серьезными, взрослыми и придавали всему лицу строгое, сосредоточенное выражение.

Видно было, что девушка эта не совсем обычная, что с ней, наверно, трудно дружить, строить отношения: легкими, простыми не получатся они.

Девушка стояла совершенно неподвижно и прямо, будто уснула. Свою пухлую черную сумку она поставила на пол.

Несколько минут было совсем тихо: только еле слышно тикали настенные часы да потрескивал паркет. Потом дверь кафедры пронзительно скрипнула, выскочила вторая студентка.

На вид она казалась полной противоположностью первой: среднего роста, ширококостная, налитая, гладкая, как сытая телочка. Этакая русская баба-молодуха: физиономия самая простецкая, широкая; нос картошкой, глазки маленькие, щеки загорелые, с румянцем, руки и ноги толстоваты, пышная грудь, могучий зад. От нее так и несло животной силой, здоровьем, а подруга ее казалась болезненной, хрупкой, даже аскетичной.

Хотя она вовсе не была уродлива: в ее внешности проглядывало даже что-то аристократически-оригинальное, притягивавшее внимание – но в ней не было ничего, что может привлечь мужчину. Напротив, ее спутница выглядела «сладкой ягодкой»: она так и поигрывала щечками, полными грудями, ягодицами.

Сейчас она была весела, возбуждена, хотя только что казалась пришибленной, робкой.

Ее подруга это заметила, спросила спокойно (голос у нее был тоже оригинальный: глубокое, грудное контральто – так могла бы говорить пушистая породистая красивая кошечка – очень женственный голос, совсем не под стать лицу и фигуре):

– Ну, все в порядке? Видишь, и нечего было бояться...

Та раскрыла рот и глаза:

– Ой, Валька!...

– Сколько раз я тебя просила не называть меня «Валькой»: я же не мальчишка все-таки... Ну, что случилось? Что ты рот раскрыла – хочешь съесть меня?.. Галя? Ты сдала или нет?

Галю, видно, распирало: хотелось что-то сказать – и в то же время чего-то она будто боялась.

– Слушай, Валька! – сказала она, хватая подругу за руку. – Клянись, что никому не расскажешь!..

– О, Господи! Ну, клянусь... Змея Горыныча ты там встретила, что ли?

– Его нет!

– Кого? Змея Горыныча? Неудивительно!

– Демидрола нет...

«Демидрол» было прозвище старичка-преподавателя, на лекциях которого студенты обычно спали. Это Валя однажды так сострила, а потом жалела: старичок был добрый, безобидный – а его с тех пор весь университет так звал, многие студенты и имя-отчество его забыли: Демидрол и Демидрол.

– А кто есть?

– Вообще никого нет...

– Именно это тебя и обрадовало?

– Валька, иди сюда! – она потянула подругу к окну. – Смотри!

Галя достала из сумки пачку бумажек.

– Бабки!.. Я их нашла!

Валя ничего не поняла:

– Постой, я ничего не понимаю: где нашла, когда?

– Сейчас!.. На кафедре... Во фартово, да? Первый раз в жизни так свезло! Тут восемь сотен, представляешь?

Она замолчала, видимо, борясь с собой; потом, воровски оглянувшись, сказала заискивающе:

– Тебе столярник, ладно? Ведь я их нашла!.. А ты никому ни слова, смотри!

Валя молчала, глядя на подругу широко открытыми глазами: взгляд их, загадочный, серьезный, смущал Галю.

– Ну, на, бери, а я поскакала... Во клево! Или пошли вместе в кафешку: возьмем по мороженому, на палочке, а?

– Где ты взяла эти деньги? – голос у нее странно изменился, стал низким, хрипловатым.

– Да чего ты – ничего не сечешь: нашла – на кафедре, поняла? Они лежали прямо на столе...

– Дай-ка их сюда.

Она сказала это спокойно, тоном приказа.

И странное дело: Галя, чуть помедлив, покорно отдала деньги. Но посмотрела как-то искоса: то ли смущенно, то ли злобно.

Валя отвернулась от нее, пошла к двери, открыла ее, остановилась:

– На каком столе они лежали?

– На том... ну, там... где телефон.

– Иди вниз, возьми ключ на вахте: кафедру надо закрыть.

Она скрылась за дверью.

Галя медленно поплелась вниз, на первый этаж, взяла ключ, поднялась наверх.

Валя забрала у нее ключ, заперла дверь.

Потом повернулась к Гале. У той вид был, как у провинившегося обиженного маленького ребенка: голова опущена, губки надуты – но и что-то злобное мелькало в глазах.

Валя некоторое время просто ее рассматривала, лицо ее оставалось таким же бледным и спокойным. Потом сказала:

– А я, оказывается, тебя совсем не знала... Эти деньги кто-то забыл, может быть, тот же Владимир Иванович, старый человек – и ты их могла... украсть?!

– Я их нашла! – плаксиво пробурчала Галя.

– Да?! А у кого-нибудь в кармане ты тоже можешь что-нибудь найти?!

Она неожиданно резко повернулась, так что Галя испуганно вздрогнула. Но Валя взяла свою сумку и быстро пошла по коридору, не глядя на подругу. Та молча смотрела ей вслед: теперь уже с явной ненавистью. Потом тяжело вздохнула – и побрела следом.

...

Они вовсе не были близкими подругами. Просто сокурсницы, учились в одной группе. Валя – лучшая студентка курса. Галя – самая слабая на курсе. Тупенькая, косноязычная, с нулем развития и дырявой памятью, ленивая и легкомысленная, она все сдавала в последний день и Вале приходилось играть роль «пожарного репетитора».

Сама того не подозревая, она несла в себе свет гетто: ее душа сохраняла связь с традициями ее еврейских предков, живших общиной, где все заботились друг о друге, где проблемы каждого решались сообща: где бедных невест выдавали замуж на средства общины; где в субботу самые бедные евреи обедали в самых богатых домах; где молодые парни, учась в другом городе, годами жили в чужих семьях – ведь «Все евреи ответственны друг за друга», так раньше было.

Она этого уже не застала, и для нее ее студенческая группа была ее общиной. А помогать в общине полагается тому, кто нуждается в помощи – неважно, нравится тебе этот человек или нет.

И Валя помогала всем. Она, единственная, всегда все знала, понимала, читала. Она, единственная из группы, прочла от корки до корки все включенные в программу филологического факультета «кирпичи»: и «Тихий Дон», и «Хождение по мукам», и «Идиота» с «Братьями Карамазовыми». Прочла еще до университета и великолепно рассказывала.

«Хождение по мукам», кроме нее, не читала ни одна студентка из группы: перед экзаменом Валя пересказала им весь текст – на это ушло три с половиной часа, и, уходя, Лена Беднягина сказала: «М-да! Если б наши дорогие препы такие лекции нам читали!»

Чаще всех помогать приходилось Гале. А когда делаешь что-то для другого бескорыстно, невольно привязываешься к нему. И Валя была посвященному к ней привязана.

Ей ведь действительно было нелегко учиться. Очень нелегко.

Когда преподаватели на лекциях заводили речь о высоких материях: философии Достоевского, психологическом и нравственном подтексте в рассказах Чехова или проблемах современной семантики – у Гали соловели глаза, лицо приобретало сонно-тупое, покорное выражение. Обычно она спасалась тем, что начинала рисовать: птичек, вертолеты, котов, красавиц в пышных прическах. Рисуя, старательно притворялась, что пишет конспект, – получалось похоже: она бросала вдумчивые взгляды на преподавателя, старательно малевала бумагу.

Говорить относительно понятно и грамотно она могла только на самые простые бытовые темы: болтая в коридоре с сокурсницами, выглядела живым человеком – не хуже других. Любила неприличные анекдоты, сальности, была всегда не прочь поржать.

Но на семинарах и экзаменах – это было что-то ужасное. Студентки – а порой и преподаватели – задыхались от смеха, слушая ее.

Рассуждая на семинаре по Гоголю о Хлестакове, она заметила:

– Гоголевский Хлестаков олицетворяет тех пронырливых и пустозвонных либералов, поведение которых с психологической подкладкой включает в себе конкретный урок.

Высказываясь о Грибоедове, изрекла:

– Грибоедов – писатель, драматург, яркий пример митрофановщины, излучающей вокруг классический тип благонамеренной глупости.

Разумеется, и писала она в том же стиле.

Были в группе студентки, обожавшие посмеяться: они на семинары с Галиным участием ходили, как на концерты Райкина.

Валя не смеялась: она жалела Галю. Выслушивая всю эту галиматью, она старалась понять: как Галя мыслит? Как у нее получается этот удивительный словесный понос – что там сломано внутри, в мозгах?

И Вале казалось: Галины «умные» фразы попросту скроены из отдельных, не связанных друг с другом – хаотически перемешанных – кусков чужой речи, где-то ею подхваченных, услышанных. Она очень любила умные слова, мудреные выражения – но понять их значение, придать им какой-то смысл была абсолютно не в силах. Получалась лишенная всякого содержания словесная трескотня – как у болтливой какаду, запоминающего отдельные звуки и потом переставляющего их в самых неожиданных сочетаниях.

И странное дело, Галя не могла понять – как ни пытались ей втолковать – что следует говорить проще, стараться понимать, что говоришь. Напротив, от семинара к семинару, от экзамена к экзамену ее речь становилась все напыщеннее и «научнее».

Она не способна была прочесть двух страниц мало-мальски серьезной книги, чтобы у нее не заболела голова: но и из этого немногого запоминала лишь поразившие ее дикарское воображение отдельные «красивые» фразы: так папуас вешает на шею пустую консервную банку, не догадываясь об ее истинном назначении.

Валя долго не могла понять, как Галя вообще могла поступить в институт и все-таки, пусть со скрипом, с многочисленными «хвостами», но переходить с курса на курс. Все же со временем она разглядела, что были и у Гали свои особые таланты, свои сильные стороны.

Пожалуй, самой яркой из них было замечательное умение подладиться к человеку, подстроиться под него: почувствовать, чего он ждет, чего ему хочется – и сделать это. Она так здорово умела поддакивать, смотреть в глаза, что многие преподаватели невольно становились снисходительней и говорили, улыбаясь: «Конечно, Андреева слабенькая студентка, но она такая хорошая, старательная девочка. Все-таки надо ей помочь!» И ставили «тройки».

Тем более, что в советском вузе каждая «двойка» – это проблема, прежде всего, того, кто ее поставил. А зачем создавать себе проблемы?

Где-то Валя читала, что инстинкты работают тем лучше, чем меньше над ними «надстроек»: человеческой психики, сознания, личности – всего, что делает человека человеком. И Вале казалось: эта способность угодить, подстроиться – что-то инстинктивное, животное. Ведь Галя совсем не интересовалась людьми, не стремилась их понять – но при этом удивительно умела угадать, что человеку от нее нужно, что ему приятно – конечно, если это был *нужный* человек.

Она потрясающе умела льстить. Когда на экзамене она начинала свой ответ словами:

– Я была на всех, на всех ваших лекциях! – произносимыми с восхищением и обожанием – и лицо преподавателя расплывалось в неудержимой самодовольной улыбке – всем становилось ясно: этот экзамен она сдала!

И еще одно свойство очень способствовало галиной удивительной «плавучести»: ее абсолютная аморальность, так ярко проявившаяся в истории с «найденными» на кафедре деньгами. Валя потом выяснила: их действительно забыл «Демидрол» – самый рассеянный человек в институте.

В таких случаях Галя становилась Вале противна, с ней не хотелось разговаривать, даже здороваться. Но продолжался этот приступ отвращения обычно не больше недели.

Она жалела Галю: ее так обидел Бог! Старалась в душе оправдать ее: она ведь как малое дитя – а разве все дети не аморальны? Нет, они *доморальны*: так будет справедливее, правильнее. Значит, и она тоже не виновата.

Все-таки однажды Валя не разговаривала с Галей, даже не смотрела в ее сторону, целый месяц. Был у них преподаватель физкультуры, молодой атлет, глуповатый, сластолюбивый, позволявший себе вести себя со студентками очень вольно, отпускать двусмысленные шуточки. Валя его терпеть не могла; впрочем, она не выносила и самих занятий физкультурой.

Галя же их постоянно пропускала, и однажды у нее вышел «незачет». Но вскоре она торжественно продемонстрировала сокурсницам зачетную книжку с вожделенной записью. Она вся сияла и высокомерно посматривала на подруг. Вали в тот день в институте не было.

Когда же она пришла, Лена Беднягина прехладнокровно сообщила ей, что Галя получила «зачет» очень простым способом: пошла к физруку домой и «дала ему» – и он оценил ее «спортивную доблесть». Это все сама Галя им сообщила. И, кстати, «ей понравилось».

Валю тогда чуть не стошнило.

И все-таки она не осуждала Галю и продолжала натаскивать ее перед каждым экзаменом, каждым зачетом. Привязанность – великая вещь!

Но удержаться от слегка презрительного, покровительственного отношения к Гале не могла. А другие студентки и не пытались. Над ней от-

кровенно смеялись, ехидничали, цитировали ее замысловатые речения и рассказывали о ней анекдоты: она была притчей во языцех филологического факультета.

Казалось, Галя не обижалась. Она была очень обидчива, но отходчива: вообще в ней ничего долго не держалось. И никто не догадывался, что в глубине души она страстно жаждет поквитаться со всеми, доказать всем и себе, что это именно она, Галя Андреева, и есть самый значительный, талантливый и даже умный человек – и эта жажда становилась в ней чем-то главным, определяющим.

Софья Михайловна Вайнер – хороший преподаватель – как-то сказала Вале:

– Вы, кажется, в хороших отношениях с Андреевой? А Вы знаете, что она бешено честолюбива?

Валя засмеялась:

– Ну что Вы, Софья Михайловна: Вы ее совсем не знаете. Она как двухлетний ребенок!

Но та упрямо покачала головой, заглянула Вале в глаза своими печальными мудрыми выпуклыми глазами:

– Ах, милая: через мои руки прошли тысячи студентов! И, знаете, о чем я иногда думаю? Ведь мы ее тянем за уши: мы, преподаватели – а ачем? И ведь Вы тоже... Сколько раз я замечала: Вы с ней сидите часами – без Вашей помощи ее, конечно, давно бы отчислили.

– И вот я иногда думаю: а ну как она возьмет да пролезет в начальство? Сколько раз я это видела, если б Вы знали! Это же неандерталка, первобытный человек – извините, Вы к ней привязаны – но ведь это так.

– И кто тогда будет в ответе? Мы с Вами! Мы ее тянули, тянули – а куда-то вытянем? О-хо-хо!

Но Валя тогда не придавала значения этим словам.

...

Получив диплом, студенты брали распределения: почти сплошь в сельские школы. И, конечно, почти все сумели устроиться в городе. Поехали в село две девушки из группы: Ира Точилина и Валя Гликман. На выпускном играли в фанты, Валю заставили прыгать вокруг стола на одной ножке и кричать: «Я сосновская интеллигенция! Я сосновская интеллигенция!» Село, куда ее распределили, называлось «Сосновка».

О Гале же не стоило беспокоиться: у нее уже был жених, ответственный работник ЦК ЛКСМ Карелии, и Гале светила карьера по комсомольской линии. Хотя она как раз была из села, но оставалась в городе. Она весело смеялась, глядя, как Валя прыгает на одной ножке.

И на три года они потеряли друг друга из виду.

...

Валя открыла глаза. Через щель в шторах виднелось небо, бледно-серое, с чуть заметной голубизной, и один клочок у горизонта – как ярко-

алая заплатка. Потом по серо-голубому разлилось розовое, все ярче, ярче, и затем бледнее. Она перевела глаза на часы: уже шесть, пора вставать.

В умывальной окно было открыто, и громко, как оркестр, звучал шум сосен. Как хорошо умываться под этот шум: он омывает душу и она становится ясной и чистой. И мысли приходят тоже ясные и чистые, несуетные.

Всегда по утрам Валя думала о предстоящем дне, об уроках, о детях. Сегодня главным событием было Большое Испытание: очень беспокоила ее Ася Соколова.

В коридоре скрипнула дверь. Валя быстро прошмыгнула в свою комнату, закрылась.

Она заканчивала свою трехлетнюю отработку в школе-интернате поселка Сосновка. Жила в самом здании школы, в пристройке: здесь когда-то помещались учебные классы, их пришлось закрыть; валина комната раньше была кабинетом автодела. Автодело давно не преподавалось; машину и все запчасти продали. Рядом, в такой же комнатке, за фанерной перегородкой, жил еще один «молодой специалист», историк Сергей Иванович. Умывалка – напротив, одна на двоих; там же «удобства». Утром главное не столкнуться с коллегой: непричесанная, в халатике, она его страшно стеснялась.

Зато теперь она вставала рано и успевала до занятий почитать, подумать.

Она причесалась, оделась, села за стол у окна. Взяла книгу, но в памяти всплыл один вчерашний случай.

Уроки давно кончились, она шла в свой кабинет. Увидела в углу группку мальчишек, третьеклассников. Двое на скакивали друг на друга; остальные стояли кружком, смотрели.

Она подошла: дрались Петя Богачев, задира и самый сильный мальчик в классе, и Сережа Пухов, очень добродушный полненький милый ребенок. Сейчас он был красен, как рак, взъерошен, смотрел волком. Петя форсил, старался держаться спокойно.

Сережа говорил:

– Вот как въеду по рылу – юшка потечет!

Голос его дрожал.

– Петя ухмыльнулся:

– А ты достанешь до меня, шибдзик?

– Мой брат тебя уроет!

– А мой отец уроет твоего брата.

– Отцу пойдешь жаловаться?! Усыкался? Швабра длинная!

– Дохляк пухлый, сам усыкался!

Тут Сережа, зажмурившись, бросился вперед, молотя по воздуху кулаками, как мельница крыльями.

Валю развеселил этот диалог; она вышла вперед и остановила побоище, сказав:

– Брэк!

«Секунданты» весело засмеялись. Сережа еще больше покраснел, рванулся, отталкивая руку учительницы.

– Сережа, ты и со мной будешь драться?

Он отодвинулся, сунул руки в карманы, и с ненавистью, исподлобья глядя на нее, резко ответил:

– Нет, не буду: вы взрослая, я с вами не справлюсь!

– Только поэтому не будешь?

– Да, только поэтому!

Она ничего не сказала, открыла дверь кабинета, вошла. Что там дальше у них происходило, Бог весть. Особого вреда друг другу причинить они не могут: маленькие еще. В общем, ее эта сцена скорее позабавила.

Но сейчас вот вспомнилась, и Валя задумалась: а правильно ли она поступила? Из-за чего вышла ссора, она не знает, но точно можно сказать: виноват Петя. Он всегда всех задирает: он забияка, бретер. А Сережа – самый миролюбивый мальчишка на свете: чтобы вывести его из себя, надо очень постараться. Чем-то Петька его сильно задел: нашел слабое место.

Что же получается? Человека оскорбили. Человек защищает себя, дает отпор хулигану – чем это плохо? Кроме того, Сережа слабее, не любит и не умеет драться: это был, может быть, исключительный случай в его жизни.

А тут появляюсь я со своим дурацким «брэком» и превращаю все в шутку, в потеху для его одноклассников. Да ведь это хуже любых петькиных издевательств!

Для него-то дело было серьезное, очень серьезное. А я его подняла на смех. Зачем? Сама не знаю! И зачем я сказала это «брэк»? Вот уж: язык мой – враг мой!

Он мне грубо ответил? Конечно! А чего еще можно ожидать в такой ситуации? Сама виновата!

И какой отсюда вывод? Очень простой. Мальчишки дрались и будут драться, это естественно и это их право, если, конечно, драка не слишком жестокая. Не зная, из-за чего она, вмешиваться нельзя: не твое дело! Надо учиться уважать детей.

Она еще посидела, глядя на белое пухлое облачко, плывущее над лесом.

Это ее характерная черта с детства, она это знает за собой: каждое свое слово, каждый шаг анализировать, доискиваясь, правильно ли, справедливо ли поступила? И почему так: почему сказала то, сделала так – а как надо было?

Всегда ее за это считали малахольной, чудачкой, и она сама так о себе думала. Что делать? Все люди как люди, просто живут себе, а она непонятно в кого уродилась: ни в ерша, ни в ежа, ни в дикую кошку.

И вот теперь, когда стала учителем, оказалось: это качество нужное, педагогическое. Без постоянной рефлексии ничему нельзя научиться в работе с детьми.

Странное дело: то, что все, и она сама, считали странностями, недостатками, в работе с детьми оборачивалось достоинствами!

Она с детства была застенчива и одновременно страстно тянулась к людям, была полна интереса к ним. И потому жадно вглядывалась в людей, стараясь понять. И незаметно для себя стала наблюдательной, у нее развилась эмпатия: она безошибочно чувствовала внутреннее состояние человека, как свое.

Она вечно мечтала, витала в облаках – и это оказалось полезно! Потому что в педагогической работе, как выяснилось, нужно уметь видеть ребенка не таким, какой он сейчас – это еще не настоящий он, а только слепок, сырая глина, черновик – а таким, каким он будет, должен стать. Создать его сначала в своем воображении, и тогда ты сможешь помочь ему стать таким в действительности.

У Вали была ученица, Лиза Пахомова, очень неуверенная в себе девочка. Но Валя знала: она способная, умная.

Как-то писали сложную контрольную. Лиза, молитвенно сложив руки, твердила: «Хоть бы была «четверка»! Мамочка, хоть бы «четверка»!»

Валя ей сказала:

– А я уверена: ты напишешь на «пятерку»!

И она действительно написала!

На следующий день Лиза первая прибежала в класс, схватила листок с контрольной и даже подпрыгнула от радости.

– Вот, вы говорили – а я не верила!

С тех пор она стала увереннее в себе, смелее. И Валя радовалась: это и ее заслуга!

А как она была беспомощна в первые месяцы! Маленькая, хрупкая, с тихим голосом, совершенно не умевшая общаться с детьми. Как ей было мучительно тяжело!

Но оказалось: она умела учиться, меняться. И постепенно, медленно, спотыкаясь и падая, шла вперед.

Первый год почти не спала, готовилась к урокам по ночам, тщательно проверяла все письменные работы. Потом поняла: это не главное. Главное не то, что она, учительница, знает, говорит и делает, а то, что делают ученики. Надо так их организовать, чтобы им было интересно работать и чтобы при этом они росли, двигались. И еще – человеческие отношения с ними, это важнее.

И ни на минуту не отпускала ее школа. Ложась спать и вставая, в столовой и летом, во время каникул, она думала о своей работе.

Это было нелегко, она больше не принадлежала себе. Но радостно было сознавать, что ты уже что-то умеешь, что работа твоя успешна.

За три года она ни разу не была в театре, на концерте; книги покупала только нужные, педагогические; одежду – только такую, какую удобно носить в школе. Зарплата ее была 120 рублей: хватало только на еду, одежду и книги.

Все-таки она тосковала: хотелось в город. Ей нужны хорошие библиотеки, театры, круг общения.

А здесь, в селе, у всех – и у педагогов – свое хозяйство: огромные огороды, куры, гуси, свиньи. Они с Сергеем Ивановичем – белые вороны. Больше и поговорить-то не с кем.

И все чаще она задумывалась: ей 25 лет – а ни семьи, ни детей, ни близкого человека. И никакой надежды на любовь, пока она работает здесь. За кого здесь выходить замуж? Холостые мужики в селе все пьяницы. А если б и протрезвели они – что ей с того? Тогда она могла бы их уважать – но не любить.

...

Большое Испытание Валя придумала сама, вместе с детьми. Если у кого оценка к концу четверти или года неясная: между «тройкой» и «четверкой» или «четверкой» и «пятеркой» – тот должен на последнем уроке пройти Большое Испытание: ответить по главным темам курса, у доски, перед классом – как ответит, то и получит. Это интересно, и детям нравится.

В тот день на уроке русского языка в седьмом классе должны были отдуваться две девочки: Настя Пудонина и Ася Соколова.

На Большом Испытании класс всегда тихий; сидят, затаив дыхание, переживают за своих. Валя рада: воспитательный момент! И для обучения полезно: такое повторение пройденного лучше всякого другого – слушают, как замороженные. Но есть у Большого Испытания и большой минус: это, конечно, стресс. А ведь дети: психика еще неустойчивая.

Настя Пудонина, красивая девочка, тонкая и гибкая, как ветка ивы, с пшеничными волосами, в тщательно отутюженном школьном платье, белоснежном с оборочками фартуке, «отдувалась» уверенно. Она висела между «четверкой» и «пятеркой» и «четверки» не боялась: у нее почти по всем предметам «четверки», и родители добрые, ругать не будут, и сама Настя не честолюбива. Валя, строгая, в белой кружевной блузке и темной юбке, черные косы на голове короной, в очках, слушала с удовольствием. Настя села. Класс обрадованно зашумел. Валя, улыбаясь, выставила «пятерку».

К доске вышла Ася Соколова. Тоже в школьном платье, но старом и не по росту коротком; фартука на ней нет вовсе. Она тоже хороша собой: высокая, статная, румяная – русская красавица. Но застенчива. И ученица она несильная, и висит между «тройкой» и «четверкой».

И самое страшное: родители ее не только ругают, но и бьют – за оценки. Отец, мужик сильно пьющий, ей сказал: не будешь ударницей, опозоришь мою фамилию – летом никуда не поедешь, если такая дура, занимайся огородом – как раз по рылу крыльцо! А если все получится как надо, отец обещал зарезать бычка, продать, отправить Асю к тетке, в Крым. И целый год Ася мечтала об этой поездке: она деревенская девочка,

никогда нигде, кроме областного центра, не была. И вот – все зависело от русского языка.

Ася начала отвечать о словообразовании прилагательных и глаголов. Она страшно волновалась, то бледнела, то заливалась пунцовой краской, заикалась. В классе – гробовая тишина. Даже хулиган и второгодник Леха Тришкин выпучил глаза и открыл рот от внимания.

Ася сбилась. Валентина Семеновна попросила ее разобрать примеры, записанные на доске: она приготовила их заранее, до уроков. Ася, совсем растерявшись, выделила в слове «уголовный» приставку –у- и корень –го-лов-, а в слове «передвинуть» корень -перед-.

В классе кто-то охнул. Учительница внимательно смотрела на нее. Девочка осеклась, замолчала, опустил глаза; положила мел и указку и, сжавшись, села на место, стараясь сдержать слезы. В классе повисло тяжелое мрачное молчание. Все понимали: этот ответ даже не на «тройку» – на «двойку». В Крым не пустят, это еще полбеды, а к тому же отец так харю начистит – неделю на улицу не выйдешь! Накостыляет по полной программе – это как пить дать!

Учительница тоже молчала. Лицо ее было сосредоточенным, серьезным. Она спокойно внимательно оглядывала класс, многие под ее взглядом опускали глаза. Дети знали: Валентина Семеновна – очень строгая учительница, самая строгая в школе. Таких ответов она не прощает!

Валя взяла журнал, ручку; держа ее на весу и глядя на класс, сказала:

Ну что, вы сами все слышали. Вы знаете, как училась Ася в этом году. Она, конечно, очень старалась... Что же мы ей сейчас поставим? Оценка должна быть справедливой! Ася сейчас ответила ниже своих возможностей, мы все это видели. Но мы ведь ставим ей то, что она заслужила за целый учебный год. Что же нам делать, как вы думаете?

Она видела устремленные на себя расширенные удивленные глаза детей, все головы поднялись от парт; Леха Тришкин еще больше раскрыл рот. Настя Пудонина робко подняла руку, тихо сказала:

– А давайте... «четверку»!

– Правильно, Настя, молодец! Ведь почему сейчас Ася так неудачно отвечала? Она очень волновалась! А разве справедливо ставить человеку плохую оценку за то, что он волновался?

– Не-е, эт неправильно! – авторитетно, басом, заявил Леха Тришкин, оглядываясь за поддержкой на класс, и все зашумели:

– Конечно! Неправильно!

– Вот и я думаю, что неправильно. И поэтому будет справедливо поставить Асе «четверку»: она ее заслужила своей работой в течение всего года!

Она выставила отметку и только тогда подняла глаза на Асю, на которую все это время старалась не смотреть. На секунду ей показалось, что она ослепла: ее ослепил, залил какой-то нездешний свет – он шел из глаз

девочки. Это была не радость, не благодарность, не удивление – что-то, чему нет названия в земном языке.

Валя смотрела на это лицо, в эти глаза, не в силах оторваться. «Так вот ты какая! – думала она. – Вот какой ты можешь быть!»

Это продолжалось секунду, может быть, несколько секунд. Зазвенел звонок. Ася вскочила, выбежала из класса. Леха Тришкин первый вылетел из-за парты, завопил:

– Ур-ра! Робя! Даешь Крым, ё-ка-ла-мэ-нэ!!

И все тоже повскакали, зашумели, бросились к учительнице. Кто-то схватил журнал, разглядывал асину чудесную «четверку».

Валя улыбалась, отвечала на вопросы, смеялась и думала: «Может быть, это и есть награда? За бессонные ночи, одиночество, заброшенность, нищету... Достаточно ли мне этой награды?»

...

Вскоре после возвращения в Петрозаводск Валя вышла замуж.

Иосифа она знала по институту – очень активный студент: делал доклады, выступал на конференциях. Остался на аспирантуре при кафедре русской литературы. Впрочем, тогда они не интересовались друг другом – как мужчиной и женщиной, во всяком случае.

Они встретились на августовской конференции, где Иосиф тоже о чем-то «докладал». Валя задала ему вопрос, и после перерыва он сел с ней рядом. С ним было интересно разговаривать: умный, огромная память, весь кипит энергией, как кастрюля с борщом.

Это Вале пришло в голову такое сравнение: «как кастрюля с борщом». О красивом высоком мужчине она бы подумала: «как вулкан». А Иосиф – как кастрюля с борщом. Такая уж у него внешность!

Иосиф на вид – типичный местечковый еврей: маленький, большеголовый, с уже намечающейся лысиной, сильно волосатыми, длинными, как у обезьяны, руками; с большим носом, глазами навывкате, короткой шеей, немного кривыми ногами. Даже борода у него росла не на щеках, как у приличных людей, а где-то вокруг кадыка – чисто еврейская борода.

И манеры тоже такие: быстрый, даже суетливый; глаза вечно выпучены от возбуждения, ни о чем не может говорить спокойно, волнуется, кричит.

Валю он забавлял и в то же время нравился. Напором, умом, эрудицией; чувствовались и талант, и внутренняя сила, и огромная жажда знаний, культуры, как это тоже бывает у евреев из простых семей. А к внешности мужчин она всегда была почти равнодушна.

Наверное, и она, сама того не замечая, старалась ему понравиться. Он был первый, кем она увлеклась после сельского голода. Она была влюбчива; влюблялась тысячу раз еще в детстве, и, конечно, почти никто из ее предметов не подозревал об ее чувствах.

Когда Иосиф сделал ей предложение, она пришла в страшное недоумение, ее это поразило. И не могла понять, почему.

Он ужасно волновался, заикался, говоря эти слова. Она подумала: если он так волнуется, то, может быть, любит? И все-таки как это было странно! Она обещала подумать.

Ей исполнилось 26 лет. Страстно хотелось семьи, детей, полной человеческой жизни. Наверное, она не могла тогда ему отказать.

А Галя была к тому времени уже давно замужем. За тем самым ответственным товарищем, теперь партийным. Как-то Валя мельком видела его: такая добродушная солидная жаба-самец. А фамилия забавная – Разбитной. Андрей Гаврилович Разбитной.

Галя в то время уже работала в аппарате ЦК ЛКСМ. Иногда в учительской перемывали косточки коллегам: Галю многие знали, интересовались ее карьерой. И хотя Валя терпеть не могла сплетен, когда речь заходила о Гале, она невольно прислушивалась. Что-то все-таки связывало их, она это чувствовала.

После института Галя поработала несколько месяцев пионервожатой, научилась здорово петь пионерские и комсомольские песни: «Орленок, орленок, взлети выше солнца!», «Веселей, ребята, выпало нам...», «Мы с тобой, товарищ, не заснули всю ночь...» – и пр., и пр. Потом ее назначили завучем по воспитательной работе. Потом инструктором райкома и в ЦК ЛКСМ. Все это за первые три года работы.

Вскоре после замужества Валя узнала, что Галя назначена директором одного из городских Домов пионеров. А через несколько лет в Петрозаводске построили Дворец творчества детей и юношества, и директором его стала Галина Анатольевна Разбитная.

...

Шли годы. Жизнь Валентины Семеновны внешне менялась мало: она много работала. Ее страшно раздражала необходимость тратить огромное количество учебных часов на «правильнописание», непонятно для чего нужное, выучить которому все равно не удавалось. Вместе с Иосифом они за несколько лет сделали свою авторскую программу по русскому языку, где главным было развитие речи, а грамматика его только дополняла. Это была большая сложная работа: вместе они перелопатили горы литературы, Иосиф несколько раз ездил в Москву, искал поддержки в Академии педагогических наук, добивался публикаций их совместных разработок в центральной педагогической прессе.

Все это нужно было совмещать со школой. Работа и увлекала, и изматывала. Сил не оставалось ни на что. Она по-прежнему не ходила в театры: по выходным отлеживалась, отсыпалась. И по-прежнему не хватало денег, особенно после того, как у них родилась дочь, а вскоре умерла валина мама, Александра Наумовна Гликман. Родителей Иосифа к тому времени уже не было в живых: рассчитывать они могли только на себя. Но все день-

ги уходили на повседневное: еда, одежда, книги, ребенок, лечение, поездки в Москву. Роды у Вали прошли тяжело, она долго болела и повторно рожать ей категорически запретили. Но ребенок родился здоровый и очень крупный. Назвали девочку в честь бабушки – Сашей.

Больше пятнадцати лет их с Галей пути не пересекались. Галина Анатольевна работала в дополнительном образовании, Валя – в школе. Изредка они мельком виделись на всякого рода педагогических сборищах: Галя выглядела прекрасно, еще раздалась вширь, отлично, и даже со вкусом, одевалась. Настроение у нее всегда было великолепное, но каждый раз, здороваясь с ней, Валя чувствовала скованность, смущение. А Галя была ей, казалось, искренне рада, и Валентина Семеновна не могла понять, почему. Иногда Галина Анатольевна останавливалась и по-доброму, по-бабьи расспрашивала старую знакомую о жизни, о семье. И это тоже страшно стесняло Валию, она вдруг становилась косноязычной, с трудом подыскивала слова.

«Что со мной? – спрашивала она себя. – Я стесняюсь Гали? О Господи!» Она не могла понять себя – и не понимала Галию: почему та всегда так радуется встречам с ней? Значит, она помнит ее – и все еще ей благодарна? Неужели Галя такая хорошая?

И Валентине Семеновне даже становилось стыдно, что она всегда считала Галию легкомысленной, беспамятной, инфантильной.

И ей не приходило в голову, что Галине Анатольевне приятен контраст между собственными блестящими успехами и वालीной неудачливостью. Для нее существовало только одно реальное достижение – карьерное. Должности! Большие, красивые должности!

И вот она, когда-то всеми гонимая, теперь директор Дворца творчества, известный уважаемый человек, а Валя, ее снисходительно презиравшая, – жалкая полунищая учителька.

Разве это не лучшее доказательство ее, галиной, состоятельности, таланта, ума, ее человеческой значительности?

Так она чувствовала – и это доставляло ей удовольствие – но, конечно, она не думала так. Если бы ее спросили, она бы сказала: «О! Мы с Валей однокашницы со студенческой скамьи! Так приятно встретить старого друга!» И она верила, что это правда.

Интересно, что в ее обращении с Валей появилась какая-то добродушная снисходительность, похожая на ту, какую проявляла в отношении к ней сама Валя в прежние годы. И это тоже связывало и раздражало Валентину Семеновну.

Но странное дело: она теперь не находила в себе сил прямо поставить Галию на место, съязвить, сыронизировать, как она всегда умела. Эта новая величественная Галя, казалось, приобрела над ней странную власть: неведомо каким образом она подавляла ее «Я», ее личность.

И поэтому Валентина Семеновна не любила встречаться с прежней подругой, старалась ее избегать. Но по-прежнему с болезненным, ей самой

непонятным интересом прислушивалась, когда кто-нибудь при ней заговаривал о Галине Анатольевне Разбитной, об ее блестящей карьере.

И каждый раз при этом ее охватывало странное и жуткое чувство: под ней будто разверзалась бездна, она проваливалась в душную бездонную тьму – и все вокруг теряло смысл, становилось бредом, абсурдом, безумием.

Зачем она трудится, переживает за детей, во всем себе отказывает? Какой в этом смысл?

Странно, казалось не было никакой связи между этими мучительными мыслями и галиной карьерой – но связь была: Валя чувствовала это, хотя и не понимала, в чем она состоит.

А иногда ее охватывал страх за Галию и жалость к ней – она думала: «Ведь это не может продолжаться вечно! Эта бедная идиотка, совершенно невежественная, дикая, неспособная двух слов связать на родном языке, руководит огромным уникальным образовательным учреждением, где под ее началом трудятся композиторы, художники, известные люди – сплошь талантливые, умные, эрудированные! Ее разоблачат и уволят – это неизбежно! Бедная Галя!»

«Ведь она же ничего не умеет делать, – думала Валентина Семеновна. – За всю жизнь она научилась только петь пионерские песни. Бедная! Куда ей деться, когда ее уволят?»

Но шли годы, а положение Галины Анатольевны становилось все прочней.

Иногда Валя виделась со знакомыми, работавшими во Дворце, и с замиранием сердца спрашивала их о Гале. Ни явного недовольствия, ни осознанного критического отношения к директору – разве что какие-то сугубо личные мелкие трения.

Однажды она спросила Сергея Яковлевича Стангрита, композитора, заслуженного деятеля искусств Карелии, много лет работавшего во Дворце, доволен ли он своим начальством.

– Разбитной? Знаете, да... Да, вполне доволен.

Она не могла скрыть недоумения. Он поднял брови:

– Вас это удивляет?.. Разбитная не мешает работать... Знаете, я понял, что есть два типа руководителей: одни мешают работать, другие нет – вот и все. Она – не мешает. Серьезно, она на своем месте. Творческому человеку нужна свобода: она дает нам свободу. С ней можно жить и дышать...

– А вы говорили с ней хоть раз на сколько-нибудь серьезную тему?

– А зачем мне это? В том, чем я занимаюсь: музыкальное воспитание, музыкотерапия – она заведомо не понимает. А мне и не надо, чтобы понимала... Ну, я к ней, конечно, захожу иногда... У нее хороший светлый кабинет; красивая мебель, телефончик, то-се... Ей нравится, что она – директор, что она такая важная персона. Ну и на здоровье!.. Кто-то же должен занимать эти должности. Вот вы бы согласились?

– Нет!

– И я нет. А она согласна... Поверьте, Разбитной во Дворце все довольны, ну, кроме каких-то индивидуальных, особых случаев – так ведь без этого нельзя. Огромный коллектив!

И Валентина Семеновна замолчала, задумалась.

А потом грянула перестройка, и Галина Анатольевна Разбитная, известная своей демократичностью и творческим подходом, была избрана депутатом Верховного Совета СССР, одним из двух от Карелии.

...

Вскоре после возвращения из Москвы Галина Анатольевна была приглашена на прием к вновь избранному главе правительства республики Карелия Сергею Леонидовичу Кананандову. Негласно было известно, что речь идет о назначении ее на должность замминистра образования с возможным последующим продвижением в министры, так как тогдашним министром, Николаем Леонидовичем Гехтом, вроде бы были не вполне довольны.

Галина Анатольевна долго сидела в приемной. Приемная как приемная, с массивными стенными часами, компьютерами, факсами, полированными столами – только все это, особенно сама комната, больших размеров. Немолодая, но молодящаяся секретарша, вышколенная до машинообразности, в очень корректном светло-бежевом костюме, ввела ее в кабинет с ореховыми полированными панелями и вишневого дерева столом в виде буквы Т с короткой перекладиной и очень длинной ножкой. По размерам кабинет был как баскетбольная площадка. Ноги утопали в мягком и в то же время упругом, как лесная подстилка, ковре. Над перекладиной буквы Т, за спиной председателя правительства – большой, выполненный в классической иконно-советской манере портрет Путина, тогда тоже только что избранного.

Кананандов величественно поднялся ей навстречу; сбоку от него, там, где начиналась бесконечная ножка буквы Т, примостился казавшийся сейчас маленьким и жалким – на самом деле большой, рыхлый, как студень – министр Гехт.

Галина Анатольевна села. Кананандов не спеша опустился в кресло. Это был высокого роста бледный мужчина с лошадиным лицом, кривым ртом, бесцветными маленькими глазками, с залысым лбом, в великолепно сшитом темном костюме-тройке, в белой рубашке, при галстукке. Все в его облике было добропорядочно-скучным, постно-приличным, кроме носа: нос – припухлый, сизо-багровый, как замороженная вареная свекла. Весь город знал, что бывший столичный мэр, а ныне глава правительства, пьет горькую. И с огромных цветных глянцевого предвыборных плакатов на жителей Карелии глядело то же лицо – со свекольным носом: никакой пудрой нельзя было скрыть этот цвет.

И голос не соответствовал общему солидно-чопорному облику: дребезжащий, тонкий, как фистула, какой-то бабий.

Некоторое время Кананандов молча смотрел на вошедшую: так, как смотрят в магазине на выставленные в витрине куски сыра, мяса. Подобно Николаю Павловичу Романову, Сергей Леонидович верил в магнетическую силу своего взгляда. По натуре очень неуверенный в себе, он опасался новых знакомств – и потому на всякий случай привык посетителей гипнотизировать. Взгляд у него был действительно неприятный, но не острый, пронзительный, а плоский, пустой.

Галина Анатольевна, подавшись вперед, с выражением готовности и энтузиазма смотрела на него.

Председатель правительства опустил глаза на небольшую бумажку, лежавшую перед ним на столе. Галина Анатольевна догадалась, что он забыл ее имя.

– Э-э, Галина Анатольевна, мы пригласили вас для того, чтобы услышать ваше мнение... м-м... о ситуации в карельском образовании...

Он говорил очень медленно, тихо, будто в полусне, не глядя на нее.

– Правительство намечает ряд системных преобразований, нам хотелось услышать ваше мнение как специалиста с большим опытом работы...

Он поднял глаза. Она еще больше подалась вперед, навалившись необъятной грудью на стол, и широко улыбаясь, звонко сказала:

– Зовите меня Галкой! Правда – мне будет приятно!

Председатель правительства поперхнулся, замолчал, слегка приоткрыв рот. Гехт, сидевший напротив, выпучил глаза.

С тех пор как Кананандов занял пост городского головы, ему пришлось слышать всякое, но такое – да еще в присутствии постороннего – в первый раз! Сначала он даже испугался: не издевается ли она? – он был страшно мнителен, раним в общении – но нет: эта баба, видно, говорит совершенно искренне. Надо же, какая дурочка! Ему стало весело. И неожиданно для себя самого он рассмеялся тихим дребезжащим смехом. Но быстро овладел собой, сказал:

– Так мы вас слушаем, Галина Анатольевна.

Ее лицо выразило еще большую готовность, и она быстро, таким же звонким голосом – как говорят вожатые на пионерских слетах – затараторила:

– Сложившаяся социально-экономическая ситуация в нашей стране не позволяет в настоящий период времени говорить об увеличении средств финансирования образованием!.. На мой взгляд, в нашем деле деньги вообще – это не главное! Нужно поднять общий престиж профессии в целом, как подрастающих поколений, так и педагогических работников. Я предлагаю давать звания «старший учитель», «учитель-методист», «учитель-исследователь», «учитель – хранитель села», давать значки педагогической доблести: «любимый учитель», «учитель – публицист». Необходимо остановить пренебрежительное отношение прессы к школе как таковой! Благодаря отдельным телепрограммам, газетной информации

идет разращение наших подростков, молодежи! Необходим достигнутый консенсус со средствами массовой информации... Образование должно быть строгим и теплым! – закончила она неожиданно.

Кананандов слушал доброжелательно, слабо улыбаясь. Значительно помолчав, сказал:

– Спасибо, вы высказали интересные мысли... Мы, безусловно, примем во внимание вашу позицию.

Он слегка приподнялся в кресле. Вся аудитория заняла минуты три-четыре. Галина Анатольевна попрощалась восторженным тоном влюбленной девочки, быстро вышла.

Председатель правительства откинулся на спинку кресла, закрыл глаза. Это выглядело так, будто он обдумывает услышанное: на самом деле он просто отдыхал. Он очень уставал от общения, особенно с мало знакомыми людьми: всегда при этом нервничал, напрягался.

Кто-то сказал, что история России может быть понята как история тяжело закомплексованных, крайне неуверенных в себе людей. Сергей Леонидович был именно таким – с детства. От этого неважно учился в школе, еще хуже в институте, хотя был от природы совсем не глуп. Потом плохо, бездарно и халатно работал в должности инженера.

Избавление пришло, когда он ушел в политику. Здесь он неожиданно оказался среди первых, лидером. Он знал, что за власть в Карелии – как и в Москве – борются несколько группировок, частью состоящих из вполне цивилизованных бизнесменов, политиков, чиновников, в основном, бывших партийных и комсомольских работников; а частью из теневиков, криминальных авторитетов, просто бандитов, киллеров – без которых тоже нельзя обойтись. Он сам ни одного из таких никогда в глаза не видел; никогда, даже через третьих лиц, не контактировал с ними, не принимал участия в решении проблем, находившихся в их ведении.

Но когда один из бизнесменов, лидеров конкурировавшей с ними группы, был взорван в собственной машине: ему оторвало ноги и он умер у порога своей дачи, истекая кровью; когда был расстрелян прямо на улице другой, политический, конкурент, Сергей Леонидович точно знал: это дела их команды. И они тогда действительно пошли в гору, успешно выбирались, занимали ключевые посты в республике.

Он знал, что такие, как он – те, кого выдвигали на официальные выборные должности – на бандитском «ново-русском» жаргоне называются «шестерки», «фуфлю». Он знал, что и Путин из таких. «Шестерки» на самом деле ничего не решают: когда их изберут, они должны действовать строго в интересах своей группировки.

Но он никогда и не стремился к самостоятельности. Ему хотелось больших должностей, хотелось убедить себя в своей важности, значительности.

Он знал: борьба неизбежна, и борьба жестокая. Или ты их, или они тебя. Правил нет!

Правда, иногда – очень редко – все конкуренты в грызне за власть объединялись: так бывало тогда, когда в большой политике появлялся действительно честный, заинтересованный в конструктивных изменениях, человек. Такой был общим злейшим врагом. Он мешал всем. И чтобы устранить его, все заключали временное негласное соглашение.

Так бывает на ином рынке, где все торговцы обманывают, обвешивают покупателей, при этом яростно враждуют друг с другом. И вдруг появляется один, у которого и товар хороший, и цены реальные, кто честно ведет дело. Против такого объединяются все: это враг!

Но как только его затравят, выдают с рынка или просто убьют, прежняя грызня продолжается с новой силой.

И он знал: это не может быть иначе. И все равно страстно хотел карьеры, должностей, хотел обрести значительность в собственных глазах. Он был почти равнодушен к деньгам, славе. Он хотел чести кабинетной, приватной, тихой. Он был застенчив с детства, слабохарактерен, деликатен.

И потому ему становилось жутко от этих кровавых трупов с оторванными ногами, расстрелов на улице. Нет, он не боялся ответственности: он лично никак во всем этом не был замешан. Даже не знал ни исполнителей, ни заказчиков; даже не слышал их имен. Это был иррациональный животный страх.

И он – русский мужик – стал пить. И раз начав, не мог остановиться.

У него и в кабинете был сделан маленький потайной бар, и сейчас ему хотелось достать бутылочку, хлопнуть пару бокалов коньячка ли, водочки.

Но прежде нужно было кончить дело. Эта баба ему чем-то понравилась. Он сам не понимал, чем. Пожалуй, она рассуждает разумно: в самом деле, сейчас не до образования – деньги нужны на другое. Как она сказала: «В сложившейся социально-экономической ситуации...» Верная мысль!

А как она брякнула: «Зовите меня Галкой!» Ишь ты – интимности захотелось! Ушлая баба. Либо – просто дура. Но мыслит разумно, правильно.

Он покосился на Гехта: тот был бледен, покорно испуган, только что не дрожал.

«Этого тоже можно пока оставить. Пока!» – подумал Кананандов.

Он никогда не признался бы, даже себе, что испуг пожилого дяди, занимающего должность министра, ему очень нравится; что приятны ему лесть, лизоблюдство; что нравятся люди, глупее него. Так сладко чувствовать себя на совещаниях самым умным из всех присутствующих! А ведь этого он был долгое время лишен.

Русские цари и царицы часто окружали себя уродцами, карликами, дурачками, юродивыми. А смелых красивых умных в своем окружении не терпели.

И Сергею Леонидовичу захотелось почаще видеть эту звонкоголосую глупую бабу: ему будет приятно общаться с ней – тут уж не боишься, что

услышишь что-то такое, чего понять не в силах; или как-нибудь так пошутят, заденут. Эта – сразу видно – умеет себя вести. Не случайно же у нее такой блестящий послужной список!

Он открыл глаза, покосился в сторону Гехта, сказал таким тоном, каким важный барин отдает приказания своему кучеру:

– Подготовишь приказ: ее – первым замминистра. Со следующей недели. Ты пока остаешься... Все, иди.

Гехт беззвучно встал, вышел, как сомнамбула, в предбанник.

Кананандов проводил его взглядом, хмыкнул. Покорен, послушен, мягок, как тесто – лепи из него, что хочешь – но... Чего-то все-таки ему не хватает! Недогадлив, несообразителен, что ли. А вот эта... Недаром, видно, она – Разбитная!

Он включил переговорное устройство, сказал своим бесцветным голосом:

– Ко мне пока никого.

Выключил, встал, снял пиджак. Нажал на кнопку в деревянной панели, открылась дверца бара, внутри – свет, как в холодильнике. Он выбрал непочатую бутылку водки английского производства, какой-то особой прозрачности, словно горный хрусталь; с наслаждением налил большой бокал, медленно выпил, ослабил галстук и опустился в кресло.

Рабочий день был, в общем, закончен.

...

Валя и Иосиф поднимались по лестнице старого четырехэтажного дома. Они бывали здесь много раз, и, как всегда, их охватило радостное возбуждение, предчувствие чего-то хорошего – ощущение душевного подъема. Они шли к Исааку Самойловичу Фрадкову, самому известному карельскому педагогу.

Сам дом, где он жил, говорил о статусе Исаака Самойловича: дом этот, в виде буквы Г, стоял в начале улицы Ленина, возле набережной, прямо напротив мэрии. Когда-то имя директора Фрадкова, его 9-й петрозаводской школы, гремело на весь Союз: это было одно из известнейших имен советской педагогической оттепели 50-х – 60-х гг. Теперь Исааку Самойловичу было за 70, и он не мог даже выйти за порог своей квартиры: большое сердце, отекли ноги.

Иосиф бывал здесь чаще Вали: временами – по два, три раза в неделю. В начале 90-х Исаак Самойлович организовал Ассоциацию педагогов-исследователей Карелии, потом – общественное движение «Демократические реформы в образовании». Председателем этого движения вскоре стал Иосиф Львович.

Вале не очень все это нравилось, она считала это мальчишеством, не верила в полезность подобных предприятий, но старалась не вмешиваться: они мужчины, это их дело.

Только однажды она сказала мужу:

– Знаешь, мне кажется, ты делаешь очень большую ошибку. Ты идешь не туда... Человек должен делать то, к чему у него есть призвание. Ты прекрасный педагог, тебя обожают дети, у тебя великолепные результаты. Ты способный самостоятельный исследователь, талантливый ученый. Это твое, понимаешь? А общественная работа – это не твое. Ну – не твое, и все тут! Ведь знаю же я тебя хоть немножко: мы почти 20 лет вместе.

Тебе тоже надуло голову ветром перемен, вот что. А Исаак Самойлович: в нем просто много мальчишеского. И огромная жажда деятельности – при физической невозможности ничего делать. А ты идешь за ним и теряешь себя, свою самость.

Делай то, что ты можешь делать по-настоящему хорошо. Понимаешь меня?

Но он выслушал ее, скептически улыбаясь, сказал:

– А быть гражданином своей страны, любить свою родину – это мое? Или тоже – способностей не хватает? Хотеть блага этой несчастной стране, пытаться сделать хоть что-то для нее – это тоже не входит в мое призвание?

Нет, это у тебя обычное женское: боишься, как бы чего не вышло. Но ведь советской власти уже нет – оглянись вокруг себя: мы живем в другом мире. Ты ничего не замечаешь?

И она замолчала, не стала спорить с ним, хотя в глубине души все равно была несогласна.

Дверь им открыла маленькая пожилая женщина, державшаяся с необыкновенным достоинством и оттого казавшаяся выше ростом: жена Исаака Самойловича, Софья Александровна. У нее был хороший еврейский нос и глаза круглые, как у совы, но несмотря на это, на очень маленький рост и почтенный возраст, она казалась симпатичной – может быть, потому, что держалась очень бодро и чуть иронично – в этом был какой-то шарм.

Исаак Самойлович сидел в своей комнатке на стуле. На вид – этаким еврейским патриарх: огромное тело, толстые руки и ноги, просторный лысый череп, седая подстриженная бородка, глаза острые, строгие, чуть навкаты, нос в точности, как у жены. Он казался очень важным, строгим, но как только гости вошли, быстро подался всем телом вперед, протянул Иосифу Львовичу руку, улыбнулся – и улыбка совершенно изменила его лицо: оно стало по-мальчишески живым и добрым. Глаза блестели от радости и возбуждения.

– Извини, что не встаю тебе навстречу! – сказал он полусхотливо Вале.

Она спросила, усаживаясь:

– Как Ваша нога?

Он махнул рукой:

– А! Это самая интересная тема для разговора? Ее нет – моей ноги. Все! Сижу, жду, пока жизнь сама ко мне придет.

– Ну, что, – повернулся он к Иосифу Львовичу. – Нашел работу?

У Иосифа Львовича вышли неприятности в связи с его общественной деятельностью: он был уволен с работы – и очень необычным способом. Директрисса, оформившая его по договору на время декретного отпуска основного работника, видимо, попросила этого «основного работника» – учительницу Фокину Любовь Евгеньевну – подать заявление, что она желает выйти из декрета. Та подала. Иосиф Львович был уволен. Случилось это 28 августа, перед началом учебного года.

Либо директрисса сама испугалась его общественной активности, либо кто-то ей дал команду сверху. Об этом и спрашивал Исаак Самойлович.

– Да, нашел. В первом лице. Пока по замене уроков.

Исаак Самойлович фыркнул носом.

– Ты будешь у них заменять уроки? Кандидат наук? И ты на это пошел?

– А что делать? Жена с дочкой кушать просят.

– Ну, а эту – Фокину – видел?

– Да, я к ней заходил домой, из любопытства. Ничего особенного: обычная русская баба. Курносая, крепко сбитая. Вот ничего интеллигентного в ней нет – а так, баба как баба.

– Смутилась она, когда ты пришел?

– Нет. Совсем не смутилась.

– Правильно! Она ничего не боится! Что у нее был сговор с директором – этого никто не докажет.

– Да, но Вы не знаете самого интересного: она уже снова в декрете. Спустя два дня после того заявления она подала другое: у нее, оказывается, заболел мальчик – я его видел, кстати, – тот еще бутуз, здоровый, что твой телок, веселый такой – и вот из-за его внезапной неожиданной болезни она пожелала продолжить свой отпуск...

Исаак Самойлович хлопнул себя ладонями по коленям, выпучил глаза.

– А что я тебе говорил? Я тебе сразу сказал, что так будет!..

– Когда я слышу такое, мне хочется пойти и набить морду! – добавил он грозно.

Валя удивилась:

– Исаак Самойлович! Кому? Женщине?

– Да-а!

Валя видела, что Иосифу неприятен этот разговор о его проблемах, она спросила:

– Ну, а что Разбитная?

– Что – Разбитная? Разбитная как была Разбитная, так и осталась!

– Она так и не была у Вас?

– Нет.

– И не звонила?

– Нет.

– Исаак Самойлович всем телом повернулся к Вале.

– Ну, Валечка, а что ты скажешь? Это твоя университетская подруга. Валентина Семеновна молчала, лицо ее стало сухим, грустным.

Недели три тому назад, после назначения на должность замминистра, перед Галиной Анатольевной была поставлена председателем правительства подходящая задача: написать концепцию развития образования Карелии на 12 лет вперед. Дан срок – полгода. Понятно, этот искус самой Галине Анатольевне был не по силам, и она обратилась к тому, к кому всегда все шло по таким делам – к Фрадкову.

Исаак Самойлович очень обрадовался, загорелся энтузиазмом; сидел, писал по ночам: это с его-то больным сердцем. Написал. Разбитная любезно заехала за рукописью к нему на квартиру, увезла. И пропала. Ни слуху, ни духу. Ни ответа, ни привета.

Исаак Самойлович – Валя это знала – был очень самолюбив, раним, хотя страшно не любил показывать это. Он, конечно, был оскорблен. Но звонить самому гордость не позволяла.

Валя помолчала, Исаак Самойлович смотрел ей прямо в глаза, – взгляд был острый, пронизывающий, и хотя она знала: это самый добрый человек на свете – ей стало не по себе, будто это ее совесть смотрела на нее.

– Кто виноват в том, что Галя пролезла в министерство? Скажи, Валечка, кто?

Она вздохнула, спросила:

– Ну а все-таки: что Вы там написали?

– Ну – что написал?.. Немедленно создать комиссии при мэриях, поселковых советах и прочая – отбирать учителей с управленческими способностями. Привлечь лучшие кадры, из всех областей: готовить будущих директоров. Основы менеджмента, изучение учителей, индивидуальная работа с кадрами, посещение и анализ уроков – так? Ведение документации, финансы. Они ничего не умеют! Поэтому с учителями строят отношения так: ты меня не трогай – я тебя не трону! Если учитель безобидный, послушный – ладно, работай. Если ершистый – вот, как твой муж – задумают, затравят. И так будет до тех пор, пока не научим директоров управлять. Дурак не может руководить умными!

Дальше. Ответственность чиновников за свою работу: что сделано, какая от этого польза – детям, образованию. Нет результата – уволить! И зарплату пусть вернет в бюджет: за что он ее получал?

Социальная и профессиональная защита учителей. Что это такое – учителя у нас голодают?! Учителя бастуют?! – он почти кричал.

Софья Александровна вошла, стала в дверях, с обычной своей иронической улыбочкой спросила:

– Товарищ Фрадков! Ау! Что ты кричишь? Ты думаешь, кто сейчас перед тобой?

Исаак Самойлович мгновенно успокоился, сказал:

– Ну вот – что я написал. И что ты скажешь?

Валя поморщилась, сказала:

– Вы правы, по-моему, совершенно правы – по сути, по содержанию. Но кому Вы это говорите? Неужели Вы думаете, Разбитная Вас поймет? Она невероятно глупа, от природы.

А главное даже не это. Понимаете, я плохо знаю всю эту кухню, чиновную – но я все-таки понимаю: никто из них не свободен. Если бы она даже захотела, она не могла бы сделать того, что Вы предлагаете. Потому что это не в их интересах, понимаете, это им невыгодно: им всем, их клану. Если она так делает, ее выгонят – и она это понимает.

Профессиональные директора – гибель для чиновников: как они будут ими управлять? Сейчас директора абсолютно зависимы, они милостью завороно назначены, ею держатся – и им главное – угодить начальству. А профессиональный с чувством собственного достоинства директор, как Вы предлагаете, – это для них чума.

Исаак Самойлович слушал внимательно, даже помаргивал глазами от возбуждения.

Валентина Семеновна в который раз подумала: какая странная у него внешность! Такой солидный, внушительный, глаза умные-умные, острые, как иглы, и все-таки что-то мальчишеское, детское в лице. Или это так и должно быть у настоящего педагога?

– Вы хотите защитить учителей, чтобы у них было свободное время, чтобы у них тоже появилось чувство собственного достоинства, вера в свои права. Так и это для них чума: они боятся такого учителя, как огня, – даже если он один такой. Чему примером может служить мой муж. А Вы хотите, чтобы таких было много. Да неужели Вы думаете, они добровольно пойдут на это?

Нет, Вы меня, конечно, извините, но у Вас получается: избавление от раковой опухоли – дело самой раковой опухоли...

– Как, как ты сказала? – чрезвычайно заинтересовался Исаак Самойлович, несколько не обидевшись.

– Ну да, так выходит. Чтобы излечить образование от раковой опухоли – от дармоедства и фактического вредительства чиновников – Вы к самим же чиновникам и обращаетесь. Не могут раковые клетки бороться сами с собой!

Исаак Самойлович снова хлопнул себя по коленям, с живостью повернулся к жене:

– А? Что я тебе говорил про нее? Это гениальная женщина!.. Валюша, я тебя слушаю, как древний еврей своего пророка! Но ты мне скажи, деточка, что мне делать? Я прикован к этому стулу!

– Да, я знаю, Вам нелегко. Но то, что Вы делаете, бесполезно. Вы тратите себя вхолостую. И Иосифа Вы сбиваете...

– Валя, перестань, я тебя прошу! – перебил ее муж с раздражением.

Она замолчала.

– Нет, я тебе говорю: у тебя гениальная жена! Ну, ладно, допустим, что ты права. И где луч надежды?

– Не знаю... Просто надо работать... С детьми. Вот Вы занимаетесь с детьми у себя дома: Вы делаете, что можете. Они ходят к Вам с удовольствием, им это полезно. Я работаю со своим классом, Иосиф – со своим...

– У меня сейчас нет *своего* класса, как ты знаешь, – язвительно перебил он.

– Ну, хорошо, но будет же... Французы говорят: «Делай, что должен, и будь, что будет». Мы педагоги, мы не политики...

Она говорила и чувствовала: их это не убеждает. Только Софья Александровна слушала с сочувствием, потом сказала:

– Я вам скажу, что здесь нужно. Этой стране нужен Сталин!

– А, Соня, перестань!

– Нет, милый мой, я знаю, что говорю! Они уже не могут без колючей проволоки и этих – на вышках, с автоматами. Знаете, что такое сейчас наша страна? Бардак! Извините, мои дорогие! Вот что бывает, когда рабам дают свободу!

Она повернулась и вышла из комнаты. Исаак Самойлович покачал головой ей вслед, потом сказал:

– А ведь чуть-чуть она права! Знаете, кто сейчас у нас во власти? Мафия.

– Ну что Вы, Исаак Самойлович!

– Да, Валюша, да, деточка. Тебе страшно это себе представить?

– А знаете, я с Вами согласен, – почему-то оживляясь, вставил Иосиф. – Я недавно прочел книжонку о сицилийской мафии: не детективчик, а научную, социологическую – слушайте, так похоже! У них жесткие правила, неписанные законы – для своих: нарушившему – смерть. Например, нельзя выдать своего, до тех пор, пока он соблюдает их кодекс: его всячески выгораживают, отмазывают, а посадят его – они тратят огромные деньги, рискуют, организуют побеги. Но в борьбе с чужими – как у крысиной стаи – правил никаких! Побеждает самый жестокий и беспринципный.

И у нас так! Посмотрите: вчера еще Гехт был учителем математики, директором школы, потом стал министром образования. А теперь идут разговоры, что его сместят, заменят Разбитной...

– Да-а?

– Да. Но я не к тому – тут ведь что интересно: Гехт для них все-таки свой, его тоже надо пристроить. И говорят, он будет работать замминистра соцзащиты. А ведь он ни дня не проработал в соцзащите, у него нет никакого опыта!

Исаак Самойлович слушал грустно, качал головой. Потом посмотрел на часы, сказал:

– Мои дорогие, я рад вас видеть – но: жду ученика. Заходите! Только звоните сначала.

Он встал, опираясь на костыли, улыбаясь: такая большая добрая горилла. Таким Валя запомнила его.

Уже в дверях, стоя рядом с женой – она была в два раза меньше него – сказал:

– Ох, разбередили мне душу! Если бы не эти ноги, уехал бы отсюда к чертовой матери – в Израиль!

Софья Александровна сказала:

– Ну-ну! Куда тебя несет? В Израиль ему захотелось! Кто там нас ждет? Здесь все твои ученики, здесь наша земля.

А Валя заметила: когда Исаак Самойлович сказал об Израиле, муж сочувственно закивал головой, будто соглашаясь. И ее это испугало.

...

Две недели спустя Валя зашла в учительскую, увидела на доске объявлений криво приколотую бумажку:

«Скончался заслуженный учитель И.С.Фрадков. Деньги на венок сдать председателю профкома».

Написано было красной пастой, классическим учительским почерком, но впопыхах, на листке в клетку, выдранным из школьной тетради и основательно помятом.

Валя не смогла удержаться: громко, взახлеб, зарыдала. А у нее был следующий урок: пришлось бежать в учительский туалет, мыться – она опоздала на урок.

На похоронах было полгорода, к телу не пробиться. Софья Александровна выглядела плохо, и Иосиф не решился подойти, спросить: почему Исаака Самойловича хоронят на правительственном кладбище? Ведь он педагог, никогда не был членом правительства.

Так он и не спросил.

...

У Валентины Семеновны была привычка во время своих «окон» (учительское словечко, означающее «пустой» урок между двумя своими уроками) сидеть в учительской и читать газеты: московские педагогические, иногда местные, где ее интересовали тоже статьи об образовании. На столах в учительской лежали подшивки. Они с Иосифом давно не выписывали никаких газет, только профессиональные журналы: не хватало денег.

С тех пор, как Разбитную назначили в министерство, Вале везло: она постоянно натыкалась на интервью с Галиной Анатольевной, статьи о ней и даже ее собственные статьи.

Однажды ей попался огромный «подвальный» материал, озаглавленный: «ОБРАЗОВАНИЕ, ПРИОРИТЕТНОСТЬ, ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ, НЕПРЕРЫВНОСТЬ, ДОСТУПНОСТЬ».

Она читала: *«Есть смысл подвести итог полугодовой работы большого творческого коллектива специалистов, который создавал серьезный документ – концепцию программы «Просвещение, воспитание юношества,*

распространение наук, искусств, современных технологий и общественных инициатив в области образования и молодежной политики». Команда социальных проектировщиков, которая не раз задавала себе вопросы: *«Что нужно концепции, чтобы стать управленческим документом? Что нужно, чтобы она стала движущей силой? Чтобы имела шанс на развитие, а не превратилась в застывший монумент? Есть ли Механизм обновления? В чем? Что сделать, чтобы коллеги не воспринимали ее как догму или утопию?»*

Хотелось бы выразить признательность за живой интерес к делу», – и перечислялась куча фамилий известных в карельском образовании людей. А затем:

«Особые слова признательности и доброй памяти позволят выразить председателю карельской ассоциации педагогов-исследователей, заслуженному учителю школы Карелии – Фрадкову Исааку Самойловичу, которого, к сожалению, уже нет с нами. Учитель Фрадков – был и есть крупная величина в образовании республики Карелия. Нам остается еще и еще раз вникнуть в его идеи, в его заботу, хорошо изучить его педагогическое наследие и реализовать мечту большого педагога. Многие его идеи вошли в наш стратегический документ».

Дальше Валя читала по диагонали: материал был огромный.

«Итак, мы имеем коллективный выстраданный продукт, общую идею и поле для согласованных общих интересов, поле операциональных схем, продукт, как совокупная воля субъектов культурно-образовательной жизни республики. Хочется надеяться, что наша концепция – это сосредоточие того, что может дать конкретному читателю, конкретную пользу, момент поддержки его в реальной жизни. Каждый управленец может взять из нее столько, сколько сможет, главное, чтобы его управленческая роль возросла и давало прибыль».

Мы убеждены, что управление должно доращивать экономику своими рычагами, развивать инициативу, благотворительность. Директору образовательного учреждения должно стать престижно хорошо вести дело, поддерживать особенно то, что хорошо работает помимо нашей управленческой воли. Культура понимания, культура отношения, культура формулировок наших вопросов, заданий, замечаний, приказов... Предстоит понять, что образование – это социально-генетический механизм непрерывной передачи последующим поколениям накопленного историей опыта, опыта Спасской губы, села Святозеро, Вешкелиц, Олонецкой равнины, деревни Сяргилахты, городов Костомукша, Кондопога, Петрозаводска, Республики Карелия, государства Российского и мирового сообщества. У нас есть удивительное культурно-историческое богатство: наследие карело-финского эпоса Калевала, именно мы – богатейшая родина русского фольклора. Именно у нас замечательные традиции Севера и его великих островов – Кижы, Валаама, Соловков. Это и есть культурная база нашего образования».

«А в самом деле! – подумала Валентина Семеновна. – Это очень глубокая мысль: традиции Соловков – это «культурная база нашего образования». Так и есть на самом деле! Только не Соловецкого монастыря, а Соловецкого лагеря особого назначения!»

«В такое сложное время, – читала она далее, – считаем неуместным решения-лозунги со стороны власти и забастовки со стороны учителей. Предложения: «порастрясати жирок», «сократить управленческий аппарат», «ввести жесткую экономию», «жить по доходам», «работать упорнее», «с выдумкой» или еще круче: «внедрять японское управление» давно устарели. Если бы образование нуждалось в столь простых рецептах!

Мы понимаем, что нужны другие решения, комплексные проекты, повышение эффективности работы органов управления всех уровней, начиная от Председателя Правительства до начальника деревни, от министра до директора образовательного учреждения. Решения и концепции должны быть сложными, разнообразными, множественными, наполненными разными методами и подходами.

Пока же, в связи с активными сокращениями средств на образование и воспитание, в ряде районов республики возникает опасность сократить жизнь и здоровье не только ребенка, но и жизнь республики в целом.

Карелия уже подвергала себя подобным экзекуциям. Так, с 1971 по 1980 год было закрыто 208 школ, что сократило экономическую и жизненную силу республики, т.к. Вместе со школами исчезли деревни и села. Министерство образования считает, что именно школы – это учреждения и градообразующие, и селообразующие, и деревнеоберегающие.

Еще десять лет назад не надо было писать концепцию, тогда и так было все ясно, теперь же, во времена неопределенности, жестких отношений, если не будем иметь свою, пропущенную через сердце, сверенную с историческим опытом, пронизанную гуманизмом – будем жить по чужой... Пока же педагогическая культура переживает идеологический шок.

Обращаюсь к тем, кто в юные годы прошел через замечательное братство в лагерях «Ивинка», «Молодая гвардия», «Юный педагог», на коммунальных сборах «Веснянка», «Оптимист», «Зимовки», в отрядах «Ревком», «Юнком», «Трубач», «Беспокойные сердца», в инстинктивных студенческих лагерях. Обращаюсь, как ребячий комиссар. Предлагаю собраться 21 февраля в Петрозаводске, в большом зале Дворца творчества детей и юношества на сотворческий сбор «Зимовка». Думаю, есть смысл поделиться своими мыслями, взяться за руки, помочь друг другу, вспомнить наши добрые песни, особенно эту: «Мы с тобою, товарищ, не заснули всю ночь, все мечтали, гадали как нам людям помочь...» Если согласны, жду письма, идеи по адресу: г.Петрозаводск, ул.Ленина, 24, Министерство образования и по делам молодежи РК, ребячьему комиссару – Галине Разбитной*.

* Здесь и далее цитируются документы из архива министерства образования Карелии; автор – министр образования Республики Карелия (с 1999 г.) Г.А.Разбивная.

И подпись: «Первый замминистра Г.А. Разбитная».

«Да! – подумала Валя. – Это моя Галя! «Застывший монумент», «поле операциональных схем», «деревнеоберегающие учреждения», «культура переживает идеологический шок», «Карелия подвергла себя экзекуциям». Она не изменилась. Да и как могла она измениться? Бедная! Но почему же мне так тяжело это читать?»

А вскоре появилась и сама Концепция: «коллективный выстраданный документ». Иосиф раздобыл себе экземпляр. Валя с замиранием сердца открыла синенькую тощую брошюрку, и на первой странице – после заглавия – обнаружила обширный (пятьдесят фамилий) список «Соавторов творческих идей и проектов», среди которых значились и их старый приятель Миша Гольденфарб, и Сергей Яковлевич Стангрит, и Софья Михайловна Вайнер, и, конечно, Исаак Самойлович Фрадков.

Стоявший рядом Иосиф, глядя на ее растерянное лицо, фыркнул, сказал:

– Я им всем звонил, а Мишу видел сегодня лично. Все говорят: мы о своем соавторстве узнали постфактум. «И что вы собираетесь делать?» – спрашиваю. Миша только пожал плечами, а Софья Михайловна так нервно говорит: «А что я могу сделать?!» – и бросила трубку.

Он усмехнулся, она растерянно посмотрела на него, потом стала читать: «Прембула.

В условиях, когда сиюминутные решения проблем образовательной и молодежной политики не могут претендовать на эффективность, результативность и экономичность, есть смысл при проектировании избрать долгосрочный – двенадцатилетний масштаб программы. Также двенадцать лет – это срок воспроизводства каждого следующего поколения. Такой подход дает возможность реализовывать программу сразу для пяти возрастных поколений (коhort), что соответствует идее непрерывного образования».

И далее:

«Тем самым создаются условия общесистемного изменения образования для всего населения республики, что обеспечит потребности в образовании и в увеличении человеческого ресурса.

Спектр образовательных услуг становится шире – он включает в себя полифункциональное обеспечение не только профессионального старта человека в юности, но и его дальнейший профессиональный, личностный, творческий рост как специалиста и как индивидуальности в течение всей взрослой жизни. Создаются условия для самообразования, самоопределения и самореализации».

«Полифункциональное обеспечение старта человека в юности! – подумала Валя. – Боже мой, Боже мой! За что мне это? Зачем Ты послал меня именно в эту безумную страну? Разве нет больше для меня места на Земле?»

И ей опять стало жутко: зачем все это? Зачем она работает, чему-то учит детей, которые будут двенадцать лет жить вот по этой «концепции»?

Она перелистнула страницу: далее следовал раздел «Анализ сложившейся ситуации в образовании Республики Карелия». Здесь Валя обнаружила осколки мыслей Исаака Самойловича, в общем, тут было много верного. Но встречались и обычные перлы, вроде: «*Двенадцатилетний масштаб проектирования программы востребует равнозначный ему по величине аналитический взгляд в прошлое*», – и пр., и пр.

Далее обсуждались «возможные негативные тенденции», среди коих значились, например, такие: «*Политическая стабильность будет носить характер острой опасности*» –

«Она, наверное, хотела сказать: нестабильность», – подумала Валя.

«*Статус профессии педагога окончательно обесценится*», произойдет «*унижение профессиональной гордости учителя в СМИ*» и даже «*вытеснение отечественной культуры*».

Также указывались «задачи» по предотвращению всех этих жутких тенденций, в частности: «*Сформировать в обществе отношение к педагогу как к социальному миссионеру*», «*Запретить властям «топать на учителей»*», «*Не допустить старения учительского корпуса*» – и пр., и пр.

Также учреждения образования вменялось в обязанность «*принять функции здравоохранительных, профилактических центров безопасности для жизни и здоровья детства и юности*».

Далее Валя опять пролистнула, ей бросилась в глаза фраза – что-то насчет «*структуры гетерархического самоуправления образованием*».

– Ося, ты не знаешь, что такое «гетерархическое самоуправление»? – спросила она мужа детским голосом.

– Нет, – серьезно ответил он.

Она подняла голову, спросила:

– Скажи мне: мы действительно будем двенадцать лет жить вот по этому ... не знаю, как уж и назвать?

Он усмехнулся:

– Не бойся. Твоя бывшая протеже просто получила удовольствие. Концепция вышла две недели назад в количестве, кажется, ста экземпляров. Я ее взял на кафедре общественных наук института повышения квалификации, так там оказалось два экземпляра – они были рады избавиться от одного. Я, конечно, поинтересовался, читали ли они: никто ее и не открывал – и не собираются: нормальные люди. А сегодня я видел нескольких директоров: они даже не слышали ничего об этой бумажке.

Так что все хорошо. И Разбитной развлечение, и вреда никакого. Чем бы дитя ни тешилось...

Но вот что на самом деле интересно: она и впрямь создавала этот бред – здесь пятьдесят страничек вместе с приложениями – полгода! Представляешь? Исаак Самойлович, по-моему, написал ей все за один вечер и

одну ночь, и там, кажется, было больше – я уж не говорю о качестве. А ведь все это время она получала зарплату. И теперь назначена министром: в качестве поощрения за успешное создание вот этого именно судьбоносного документа и для его наилучшей реализации. А недавно Кананандов выделил двенадцать тысяч долларов из республиканской казны на поездку Разбитной, кажется, в Бельгию или во Францию: перенимать тамошний образовательный опыт. Вот так!

...

А спустя несколько дней Валентине Семеновне вновь повезло. В учительской она открыла свежий номер «Первого сентября» и сразу наткнулась на огромное интервью с вновь назначенным министром образования Карелии, Галиной Анатольевной Разбитной. Здесь была большая фотография сияющей еще более расплывшей Гали – она, как всегда, прекрасно выглядела – и рядом такой текст:

«Министр образования Республики Карелия Галина РАЗБИТНАЯ резко выделяется из стройных рядов своих коллег по цеху. Она единственный руководитель регионального просвещения, пришедший на этот пост с должности директора городского Дворца творчества детей и юношества. Кстати, официально признанного одним из лучших в России. В прошлом народный депутат СССР, член Постоянного комитета Верховного Совета по культуре, Разбитная обходится без услуг спичрайтеров: она лично пишет все свои выступления и газетные статьи. Причем языком, весьма и весьма далеким от широко распространенного педагогического канцелярита. Карельский министр также является автором книг «Сотворчество в управлении образованием» (1993), «Педагогика сотворчества: обновление содержания педагогического процесса в учреждениях дополнительного образования» (1995), «Радуга на ладонях (третий сотворческий роман-с)» (1998), содержание которых ничуть не похоже на то занудное словоблудие, которое в академических кругах почему-то считают педагогической наукой. Словом, став высокопоставленным чиновником, Разбитная сумела остаться ярким человеком и очень интересным собеседником – достижение, на которое, увы, способны не многие. Сегодня Галина Анатольевна – гость приложения «Региональное образование»».

Сидевшая напротив и проверявшая тетрадки молоденькая учительница случайно подняла глаза, положила ручку, спросила участливо:

– Валентина Семеновна! Вы себя плохо чувствуете?

– Ах, нет, нет, что вы: не беспокойтесь.

Она отложила газету, закрылась книгой.

«Боже мой! – думала она. – Я опытный педагог, способный человек; мой муж – исключительно талантливый, любимый детьми преподаватель, кандидат наук – на двоих у нас больше 40 лет педстажа: за всю жизнь мы подготовили одну тоненькую книжечку из опыта работы: о развитии речи детей на уроках русского языка и литературы – и вот уже четыре года она

лежит, Иосиф каждое лето неделями торчит в Москве, а мы с Сашкой все каникулы сидим в городе, потому что все деньги уходят на эти его поездки – и все бесполезно! Никому наша книга не нужна. А она пишет книги – и их печатают! Боже мой, Боже мой! За что?!».

...

Однажды Валя пришла домой поздно: в гостиной сидели Иосиф и Миша Гольденфарб, известный в Петрозаводске педагог, кандидат исторических наук.

Внешность у него странная: сам квадратный, голова какая-то прямоугольная, почти без шеи; глаза большие, овальные, и один из них посажен косо, под углом к другому; нос мясистый, рот большой. Вроде бы, такой человек должен казаться уродливым, но Миша симпатичный: уж очень оригинален, и что-то есть в его фигуре забавное, детское. А главное – только бросишь на него первый взгляд – сразу ясно: он умный-умный, прежде всего, умный!

Когда Валя зашла в гостиную: комнату в шестнадцать квадратных метров, очень скудно обставленную, где никто не спал, кроме кобеля Пини (единственного члена семьи с чисто еврейским именем), мужчины говорили о репрессиях 30-х годов: повторяются ли они. Вопрос, конечно, животрепещущий!

Валя в глубине души недолюбливала Мишу и корила себя за это: он был ужасный болтун, эгоист, довольно инфантилен – но Валя знала: он прекрасный преподаватель – а это она ценила больше всего на свете.

Сейчас на его лице ясно читалось удовольствие от приятной беседы. Для Миши любой вопрос был интеллектуальной головоломкой – как в игре «Что? Где? Когда?».

Иосиф говорил:

– Ты знаешь, какие суммы в нашем бюджете отданы на спецслужбы? А ведь они иначе, чем в 37-м году, работать не умеют! Им же нужно как-то освоить эти деньги. Собственно, почему политические репрессии в России унесли десятки миллионов жизней? Потому что ИМ нужно было оправдать доверие власти, доказать свою полезность – вот они и создавали «врагов народа» из честных людей!

Михаил Леонидович слушал чрезвычайно внимательно, склонив голову, как скворец, надув губы и крепко сцепив пальцы рук: он никогда не перебивал собеседника.

Подумал, сказал с видимым удовольствием:

– Не могу с тобой согласиться... Видишь ли, я историк...

– Это я знаю!

– Да. Но как историк я должен тебе сказать: ничего не повторяется два раза... Те репрессии были нужны тогда, но они уже не нужны теперь: они выполнили свою задачу.

– Не понимаю тебя! Политическую борьбу никто не отменял!

– Нет, видишь, в чем дело: я против слова «политические». Репрессии были, да. Погибли миллионы людей. Но это были не политические репрессии.

Валя не выдержала, спросила:

– А какие?

– Какие? А вот давай подумаем вместе... Миллионы уничтоженных крестьян занимались политикой? Нет. Миллионы уничтоженных интеллигентов занимались политикой? Нет...

Что сказано в гимне взбунтовавшихся рабов: «Кто был ничем – тот станет всем!» То есть люмпены, люди без образования, полуграмотные и просто неграмотные, дикие, без профессии – которые были «ничем» – они хотели занять места специалистов, людей интеллигентных, с образованием, с мастерством – «стать всем». Занять чужие места, чужие социальные ниши. Но как? Как это можно сделать? Только одним способом: уничтожив большинство специалистов!

И, успешно решив интеллектуальную задачу, он улыбнулся.

Валя, внутренне содрогнувшись, сказала:

– Да Бог с тобой, Миша! Что ты говоришь? И как ты можешь *об этом* говорить так спокойно?

– А как прикажешь – кричать? Не умею!

– Да почему ты так думаешь?

– Просто потому, что эти репрессии кончились... Видишь ли, если понять их, как Ося: как абсолютно иррациональный процесс – без ясной цели – то они бы росли, росли, росли, пока не погибло все или почти все население... Почему этого не произошло? Потому что цель была достигнута. Они заняли господствующие социальные ниши, прогнали «кулаков», «буржуев» и «интеллигентов» – и все закончилось.

– Кто это – они?

– «Они» – это, как мы говорим, «простые люди». То есть, если называть вещи своими именами, – отбросы общества: люди ущербные, закомплексованные, озлобленные, бездарные, ничего не умеющие и не желающие делать, с низким интеллектом, паразиты, которые хотят жить за счет других, ничего не давая взамен... Шариковы! А кого уничтожали? В основном, интеллигенцию.

А «органы» – они не работают сами по себе: они всегда выполняют какой-то заказ. А заказ дает тот, кто занял господствующее положение в обществе. Сейчас *такого* заказа нет – и не может быть.

Ну вот, мы с вами – специалисты. Ты, я. Педагоги, врачи, музыканты, ученые – специалисты. Кто захочет нас убить, чтобы занять наше место?

– Мишенька, мне нравится твой оптимизм!

– Спасибо, Валечка. Я действительно оптимист. Хотя – очень умеренный. Видишь, в чем дело: тогда, когда случилась эта так называемая революция – а в общем-то, обычный русский бунт, только удавшийся: бун-

товщики захватили власть – тогда люди с университетским образованием почти все были обеспеченными: имели хорошие доходы, банковские счета, большие квартиры, прислугу, держали гувернанток – немки и француженки – для своих детей. Во власть тоже шли люди с образованием, в основном, дворяне. Сейчас другая ситуация. Власть и деньги – у других людей.

Поэтому сейчас им не нужно нас убивать. Сейчас Разбитная становится министром, Кананандов – главой правительства, Маслоков – мэром, и все это абсолютно законным путем, без всякого кровопролития!.. Ося, ты меня понял?

– Я тебя понял, Миша.

– Умничка!.. Вот в чем дело: был такой дядька – Питирим Сорокин, он из наших северных инородцев, между прочим, – это был гениальный ученый, социолог: он доказал, что главное в любом обществе – механизмы вертикальной мобильности. Что такое вертикальная мобильность? Это когда человек делает карьеру, поднимается по социальной лестнице: изменяет свой статус на более высокий – или наоборот. И вот как вы думаете, каким людям больше всего хочется забраться повыше?

– Самым ничтожным!

– Да!.. Но можно так все устроить, что им не будет ходу наверх: у них ничего не получится. Хотеть они хотят, но не смогут. То есть, если ты не получил хорошего образования, у тебя низкий интеллект, ты толком ничего не умеешь – ты наверх не попадешь. Вот не попадешь – и все.

Но у нас все наоборот. У нас идет противоестественный отбор: наверх поднимаются не лучшие, а худшие.

– Не согласен с тобой: среди них есть разные люди. Например, Кашкарова – она сейчас председатель комитета по образованию города – умная баба.

– Да! Да – ты прав. Я ее знаю. Она с хорошим интеллектом, это несомненно. Но что она умеет? Подлизываться к начальству?

– Хорошо, я поставлю вопрос по-другому. Чтобы подняться наверх – у нас – нужно отказаться от своей личности. Перестать быть человеком. Неважно, какой ты: умный или глупый. Это неважно, понимаешь? Можешь быть умным. Можешь и глупым. У тебя – те же шансы. Важно что-то совсем другое.

– Как это?

– А вот так. Я работал директором школы, ты знаешь. Что это такое? Половину твоего времени съедают совещания, заседания, согласования, черти что – смысл в них один: какой-то дядя, или тетя, сидит и получает удовольствие: к нему все приезжают – причем, заметь, приезжают не дворники, а директора! – послушно садятся в кружок и слушают и записывают, что он говорит. Это такое наслаждение! И никакого другого смысла в этом нет.

Интересно, что это настолько опустошает, что и в свое свободное время ты уже не можешь ничего делать: ты становишься пустышкой.

Почему, ты думаешь, я ушел с этой должности?

– Ты сейчас сам объяснил.

– Да. Я не хочу быть пустышкой. Я хочу читать хорошие книги, думать, общаться с интересными мне людьми, у которых есть какое-то внутреннее содержание: на худой конец, хоть с вами...

– Спасибо, Миша.

– Валечка, но это взаимно, правда?.. Потом есть такое понятие – спонтанность. Без которого нет человека, между прочим. Я чувствую, что хочу; сам решаю, что мне делать, что говорить; кого любить, кого не любить; когда улыбаться, когда хмуриться – я человек.

У них – не так. Они улыбаются, кому надо, хмурятся – когда надо; ничего не решают самостоятельно – и, по-моему, они и чувствовать, и думать перестают: они становятся внутренне пустыми, как манекены.

Когда они говорят что-то или что-то делают – они притворяются: притворяются какими-то, но на самом деле они сами по себе – никакие. Вообще никакие! Именно поэтому они могут притвориться какими угодно – какими нужно в данный момент.

Так вот: есть люди, которые готовы пойти на это – в общем-то, на смерть при жизни, на самоубийство в особой форме – ради чего? Ради карьеры. Ради высокого статуса.

А другие – я надеюсь, что их, даже у нас, большинство – не готовы. Я не готов, я хочу быть человеком. Ты не готов. И поэтому нам ТУДА, – он ткнул пальцем вверх, – путь заказан.

– Скажи, пожалуйста, а ты об этом говоришь своим ученикам? – спросила Валя.

– Валечка, во-первых, я историк, а не социолог. Социологию люблю бескорыстно, но не преподаю. Во-вторых, я тебе объясню, как я понимаю свою педагогическую задачу. Я должен сделать так, чтобы мои ученики – все, или хотя бы большинство – были равнодушны к истории страны, в которой они живут. Равнодушны! К истории – а значит – и к тому, что происходит сейчас. История – это процесс, он идет и сейчас, и будет еще долго идти. История не только в прошлом. И вот я должен сделать, чтобы моему ученику это было безразлично. Второе: я должен развить его мышление – чтобы он умел и хотел сам мыслить – об истории. О том, что происходит вокруг него, в обществе. Вот и все.

А что именно им говорить – это неважно. Всего не расскажешь в школе. То, что мы им даем, – это инструмент: чтобы их развить. Если мы сделаем свое дело хорошо – они потом сами поймут все, что нужно.

Вот это – моя маленькая борьба: я воспитываю немножко равнодушных к своей стране людей, способных мыслить своей головой.

– Но тебе не кажется, что этого слишком мало? Разве всем не нужно знать то, о чем ты сейчас говорил? Напиши статью, напиши книгу! В конце концов, ты знаешь европейские языки, ездишь за границу. Переведи! Издай там!

– А зачем? Зачем издавать там – про нас?
– Ну, хорошо: попробуй здесь!
– Валечка, а здесь – зачем? Для кого это будет? Для победивших рабов? Тех, которые могли бы меня понять, нет: их убили или выдавили за границу. А тем, которые есть, мои мысли не нужны. Вот ты меня слушаешь, и спасибо тебе: мне этого достаточно.
– Тебе-то достаточно! Но нельзя же думать только о себе!
– Валечка, не кипятись. Я делаю, что могу. «Мы мирные люди...» – ты знаешь... И потом – ленив я. Ну что поделаешь?.. Писать книгу? Нет! Это слишком долго. Мы учителя. Наше дело – учить детей, я думаю так.
И она замолчала, подумала: «Странно, он говорит то же, что говорила я тогда – Исааку Самойловичу. Почему же меня это раздражает? Почему, когда Ося заводит речь о гражданском долге, меня это злит – а сейчас я сама заняла его позицию? Кто я такая? Может, я – чеховская Душечка шиворот-навыворот? Та со всеми соглашалась: я, наоборот, со всеми спорю?»
– Мишенька, хочешь чаю? – спросила она со вздохом.
– Ой, нет, спасибо, Валечка: я уже пил сегодня.
– Миша, ты такой аскет? Пьешь чай не чаще одного раза в сутки?
– Нет!.. Нет, правда, я не хочу.
– А чего хочешь?
– Духовного общения.
– Болтовня это, а не духовное общение!
– Тебе видней... Я на вас оттачиваю свои мысли. И моим ученикам от этого польза: так мне кажется.
– Ну, в этом я не сомневаюсь: им с тобой интересно, они тебя любят за это – это я знаю.
– Но в этом цель.
– Да. Но все-таки странно получается: мы тут сидим в тепле, на мягком – и приятно шевелим мозгами – а кто будет участвовать в той самой политической борьбе? Ее ты не отрицаешь?
– Видишь ли: Мамардашвили говорил, что в нашей стране отсутствует сам феномен политики. Что такое политика? Это соревнование точек зрения, проектов развития общества, партий – то есть групп людей, объединенных общими убеждениями, и отдельных людей – лидеров таких групп. Соревнование всегда ведется по правилам и для каких-то зрителей: иначе зачем оно нужно – так?
Есть страны, где существует политика, реально: там есть интерес к общественной жизни – почти у каждого. У нас его нет, почти ни у кого. Интересуются своими дачами, я не знаю, футболом, зарплатой – чем угодно, только не общественными процессами. Ничего хорошего от них не ждут. Уверены, что лучше всего, если в обществе вообще ничего не происходит: «как бы нам подморозить Россию» – всеобщая наша мечта. Это у нас на-

зывается – «стабильность». Знаешь, где самая большая «стабильность»? На кладбище. Как только что-то начнет происходить – пугаются.

Потом: правила, правила нужны! Правила игры. А их нет. Или есть – только на бумаге. Борьба идет, но без правил.

Вообще, знаете, что такое история России? Это история произвола. История без правил.

Вот если два боксера, допустим, я и Ося, вышли на ринг – а судьи нет. Допустим, ты порядочный: ты будешь все делать по правилам – не бить меня ниже пояса и прочее; а я буду тебя колошматить, как придется: руками, ногами, применять подлые приемы. Кто победит?..

Ну вот. И поэтому приличный человек туда не полезет.

Поэтому наши выборы – это безвыигрышная лотерея. Идут несколько мерзавцев, совершенно одинаковых: каждому хочется дорваться до жирного куса пирога. Их программы – чистое лицемерие. Никаких убеждений у них нет. Побеждает самый нахрапистый и наглый. Или – самый раболопный.

Партия «Единство» – что это такое? У них нет программы, вообще. Они – за президента! Что ни скажет президент – они «за»! Вот и вся программа. Это не «единство», а «холуйство». И никакая это не политическая партия, а просто очень большая лакейская: каждый лакей хочет получше угодить барину.

Вот и все. И это – политика?

– Миша, какой ты умный! – со вздохом сказала Валя.

– Спасибо, Валечка, я тебе очень признателен!

И Миша Гольденфарб, привстав с кресла, торжественно расшаркался перед ней.

...

Как-то Вале довелось познакомиться с галиным мужем. Она когда-то его видела мельком, но потом не встречала, даже забыла о его существовании, даже не знала, есть ли у них дети.

Произошло это чисто случайно. У Валентины Семеновны был ученик, Юра Буртин, шестнадцати лет. На вид – типичный Антошка из мультфильма («Антошка, Антошка, иди копать картошку!»): светлые, с золотинкой, всегда растрепанные волосы; веснушки с копеечную монету по всему лицу; светло-голубые, всегда безмятежно-веселые глаза; большой рот, вечная улыбка до ушей. Отец Юры был неизвестно где, мать пила. Жили они в соломенном, фактически не в городе: рядом озеро, лес – там мальчишка и пропадал целыми днями. Был неглупый, с характером: в своей компании – заводила. Ловил рыбу, ловил щеглов, чижей, зимой – снегорей: продавал на рынке. Собирал ягоды, грибы: знал отличные места. Но почти не учился.

Валентину Семеновну он уважал, даже по-своему любил, но слушать не слушал: жил по-своему.

И вот с этим Юрой приключилась беда: он напился с друзьями, и они залезли через окно на какую-то дачу и что-то там по мелочи взяли. Юру забрали, посадили в КПЗ.

Но не это было самое страшное. От матери Валентина Семеновна узнала: на Юру хотят повесить убийство. Где-то на глухой автобусной остановке, недалеко от Соломенного, убили девушку ли, женщину. И не могут найти виновных. И вот решили: повесить на него. Его допрашивают «с пристрастием», попросту – пытаются. Конечно, так, чтобы не осталось следов на теле. Хотят, чтобы он признался, что убил. Он пока держится.

Когда Валя узнала об этом, не могла спать ночью – и придумала: пойти в МВД. Позвонила, и ей сказали, что по этому вопросу принимает Андрей Гаврилович Разбитной, назвали его должность, но она так и не запомнила ее. Она записалась на прием. И только потом сообразила: ведь это галин муж!

Хотя ей-то что от этого? Она ему, конечно, не станет говорить: я, мол, университетская подруга вашей супруги, помогите мне, пожалуйста. А, может, сказать? Кто знает, вдруг поможет? Ведь погубят мальчишку!

Прием в МВД был утром, в субботу. Тысячу раз Валя проходила мимо этого серого массивного угрюмого здания на Карла Маркса, а внутри не была никогда.

Она подошла к дежурному в стеклянной кабинке: тот указал на скамейку в вестибюле – подождите.

– Я записана на прием. Третьей по очереди, так мне сказали.

– Я понимаю. Подождите!

Валентина Семеновна подняла брови, отошла. Вестибюль был огромный, весь гранитный и мраморный, холодный, как склеп: для посетителей отгорожен металлическими поручнями крошечный закуток. Здесь стояли обитые кожей скамейки ли, кушетки: старые, протертые до дыр, нечистые на вид. Садиться Валя не стала, встала в углу, у зарешеченного, как в хорошей тюрьме, окна.

Здесь были еще две посетительницы: маленькая остроносая старушка, в платке, видимо, деревенская; и бледная, плохо одетая девушка, с каким-то пришибленным, испуганным лицом.

Первой на прием пошла старушка. Прибежал – именно прибежал, а не пришел – сверху молодой милиционер в очень аккуратной, прилаженной форме, повел ее по лестнице вверх. Потом также свел вниз. Была она там минут пять, это считая дорогу.

Выходя, старушка спросила молодого милиционера – Валя это слышала:

– Милок, и чего мне теперь делать?

Вид у нее был растерянный, недоумевающий. Парень в ответ только руками развел.

Пошла девушка: тоже не пошла – побежала через две ступеньки. Провожатый ее торопил, оглядывался на нее. Девушки не было долго.

Валя прошлась из угла в угол, подумала: «Уйти? Чего я жду? Если он держит посетителей, приличных людей, не преступников, притом официально записанных к нему на прием, в прихожей – как собак – то чего же я жду, на что надеюсь?» Но она не ушла: нужно было использовать все шансы – речь тут была не о ней, об ученике.

Наконец, девушка спустилась вниз. Она плакала! С убитым видом она вышла из здания, остановилась у входа – ее видно было через стекло – и стояла, будто не зная, куда теперь идти.

У Вали похолодела спина, она стиснула зубы. Молоденький милиционер позвал ее, побежал впереди нее: она шла за ним очень медленно, подняв голову, не глядя на него. Он несколько раз нетерпеливо, даже с испугом оглядывался, но замечание сделать не решился: видно, такое у нее было лицо.

В предбаннике Валя очень медленно сняла верхнюю одежду, не торопясь, посмотрелась в зеркало, поправила волосы. Подумала: «Выгляжу на троечку. С минусом!»

Милиционер – а, вернее, лакей в милицейской форме – топтался рядом и имел вид человека, которому ужасно хочется в туалет по малому делу, но туалет занят.

Наконец, они вошли в большой мрачный кабинет. Валя бросила первый взгляд на того, к кому пришла – и обомлела.

Она помнила, что галин муж – неприятный, немного противный. Но такого она не ожидала!

За столом сидел жирный, обрюзгший, с обвислыми щеками – человек не человек – какое-то относительно человекообразное существо. В форме. Локтями существо навалилось на стол, смотрело на вошедшую пустыми глазами – взгляд был брезгливый: так смотрят на что-то, что дурно пахнет – на кучку дерьма, на грудку гниющего мусора.

Глаза были выпуклые, с огромными припухлыми мешками под ними; кожа дряблая; рот широкий, с вывернутыми слюнявыми губами, с опущенными далеко вниз углами.

«Такому играть жабу-отца в фильме про Дюймовочку или, еще лучше, какого-нибудь гестаповца», – подумала Валя.

Она сухо поздоровалась. Ей никто не ответил. Милиционер-лакей, с виноватым видом поглядывая на начальство, пристроился на краешке стула. Рядом сидела еще какая-то очень тихая женщина, перед ней лежало несколько листов бумаги.

Валя села. Существо за столом взяло жирными пальцами какую-то бумажку, стало ее рассматривать: на посетительницу оно не смотрело. Никто ничего не говорил. Валя проглотила гневный ком, начала говорить сама; не в силах смотреть на блестящую лысину существа, по-прежнему не

обращавшего на нее никакого внимания, она повернулась к тихой женщине: голос ее звучал отчетливо, сухо.

Она подробно рассказала о юрином деле, начала говорить о «висяке», о том, как мальчика допрашивают. И вот тут допустила ошибку, сорвалась.

Она все-таки нервничала: характер железный – но ведь женщина все-таки. И когда она заговорила о пытках на допросах, у нее невольно вырвалось:

– Такое только в нашей стране может быть!

Это была фраза Иосифа, ею подхваченная, как подхватывают вирус: сама она так не думала. Просто ее страшно выводило из себя это азиатское организованное и безнаказанное унижение, издевательство над людьми – и она сорвалась.

Существо подняло голову от стола, спросило брезгливо:

– А вы откуда приехали?

Валя даже не поняла сначала, переспросила:

– Что-что? Я – приехала? Я родилась в этом городе!

А почему ненавидите его? Кто вы по национальности?

– Тут Валя просто растерялась.

– Я еврейка... Хотя какое это имеет значение?!

Существо пожевало губами, поморщилось, сказала без злобы, но с еще большей брезгливостью:

– Вот и поезжайте в свой Израиль.

В слове «Израиль» он почему-то сделал ударение на второе «и».

Валя совершенно опешила: до такой степени, что даже не возмутилась, не оскорбилась.

Она прожила в России всю жизнь, почти 50 лет, безвыездно: ни разу не была за границей. И вот теперь в первый раз слышала такое.

Она смотрела на существо с недоумением, даже с каким-то интересом. Довольно долго продолжалось молчание.

Наконец, существо сказала:

– Ну что? Давайте скорей! У меня нет времени!

Валя встала, повернулась и, не прощаясь, вышла.

По лестнице она, сама того не замечая, спускалась очень быстро, и милиционер-лакей вприпрыжку бежал за ней.

Она вышла из здания МВД и как будто впервые увидела и деревья, и небо; вдохнула полной грудью свежий прохладный воздух.

Как хорошо на воле!

Она шла по улице и думала: «Бедная, бедная Галя!»

...

А через полгода Юру Буртина выпустили. Он прикатил в школу на велосипеде: он сам его сделал из подобранных на свалке частей, причем, были тут детали очень странные – то ли от очень-очень старых велоси-

педов, а, может, от центрифуги? Это был самый оригинальный велосипед в Петрозаводске, но он ехал!

Юра был как всегда веселый, веснушки сияли на солнце как золотые монетки. Валя увидела его через окно и, бросив свой класс, выскочила на улицу. Дети, понятно, – за ней.

– Здравствуй, Юра! – только и могла она сказать.

Юра улыбался.

– Здравствуйте, Валентина Семеновна! Да вы не беспокойтесь: я ничего не подписал. Хрен они с меня взяли, мусорки!.. Ничего, не переживайте, – он смотрел на нее ласково, как взрослый мужчина: большой, выше нее на голову – но по-мальчишески тощий.

– Мне даже на пользу пошло, серьезно. Больше туда не попаду – точно!.. А это все ваши?

Вокруг стоял весь 5-Б класс: открыв рты, смотрел на героя.

– Да, Юра, это мои... Как я рада тебя видеть, если б ты знал!

Он чуть смутился, опустил глаза, сказал:

– Я завтра приду к вам на урок, можно?

– Приходи.

Он сел на свой супердрандулет, поехал, помахал рукой.

– До свиданья, Валентина Семеновна!

– До свиданья, Юра!

Она еще долго стояла, смотрела ему вслед. Она чувствовала, что если есть на свете человек, которого она глубоко, безоговорочно уважает, то это этот мальчишка: нескладный подросток, прогульщик и хулиган.

...

В первом лицее Иосиф проработал всего четыре месяца.

Учителем по замене уроков он оставался недолго. Лицей № 1 – безалаберное учебное заведение на две тысячи учеников: конечно, там было достаточно проблемных классов. Хорошего специалиста следовало использовать: заткнуть им одну из многочисленных дыр. Очень скоро Иосиф Львович получил часы и классное руководство в классе, который просто разваливался: родители осаждали дирекцию петициями о переводе их чад в другой класс; дети, зная об этом, не желали учиться. И укомплектован класс был своеобразно: больше 2/3 мальчишки, как на подбор шептуньи, хулиганистые, хотя вовсе не глупые; девчонки же в этом классе подобрались еще почище мальчишек.

Через два месяца после того, как Иосиф Львович их взял, класс по дисциплине, учебной и неучебной активности, успеваемости, результатам на олимпиадах стал лучшим в параллели.

В начале учебного года класс раздарили ссоры: некоторые дети терроризировали своих одноклассников; другие были изгоями, их травили, над ними насмехались. Три месяца спустя – по мнению всех работавших в 7-Д учителей – это был на редкость дружный коллектив.

Иосиф Львович купался в похвалах, его ставили в пример на планерках, методобъединениях; призывали изучать его опыт. Директор, Юрий Алексеевич Шабалов, пригласил его, наговорил комплиментов, обещал на будущий учебный год хорошую нагрузку и кучу всяческих благ.

Но в это самое время в городе стало известно об открытом письме на имя председателя правительства и министра образования о ситуации в карельском образовании. Это письмо Иосиф Львович состряпал давно, вместе с Исааком Самойловичем: оно было ими совместно подписано. И вот только теперь обнародовано: Иосиф решил, что из уважения к памяти Исаака Самойловича он обязан это сделать.

Письмо размножили и послали адресатам и, кроме того, во все карельские и московские педагогические газеты; оно висело на стендах объявлений в учительских; многие педагоги получили по экземпляру.

Министр образования издала приказ: для проверки письма создать комиссию из нескольких человек, которую возглавил замминистра Анатолий Семенович Кармазын. Это серый кардинал карельского образования: он сидит в министерстве долгие годы, пережил многих министров.

А между тем, человек он незаметный, незначительный, и что он там делает, понять трудно.

Это крошечный человечек, почти карлик; чрезвычайно шустрый, суетливый, несмотря на пожилые годы; с маленькими черными бегающими глазками, узким лбом и усами щеточкой. Он всегда ходит с большим портфелем под мышкой и очень смахивает на пронырливого черного таракана.

Проверка, проведенная им, выразилась в том, что он, вместе с комиссией, приехал в первый лицей, заперся в кабинете директора и просидел там некоторое время.

На следующий день комиссия дала ответ на письмо. О карельском образовании не говорилось ни слова: речь шла о самом авторе письма – это была развернутая характеристика Иосифа Львовича Закса. Адресована эта бумага была ему самому.

Характеристика «врага народа Закса» состояла частью из сплетен, сильно смахивавших на клевету; частью из отдельных фактов его биографии, которые, будучи вырваны из контекста и соответствующим образом прокомментированы, производили подозрительное впечатление.

Так, например, Иосиф Львович всю жизнь кочевал из школы в школу: не мог ужиться с начальством. Он был вспыльчив, резал правду-матку в глаза – ему этого не прощали. Каждый раз, меняя школу, он верил: теперь все будет в порядке. И каждый раз все повторялось сначала.

Но одновременно в его трудовой книжке было записано столько благодарностей, что они не уместились на отведенных для этого страницах.

В свое время Иосиф Львович пытался защитить докторскую и не сумел: тема была необычная, подход новаторский – ему дали «черного оппонента», работу провалили. Об этом тоже было вскользь упомянуто, но

ничего не говорилось о его, совместных с женой и своих собственных, многочисленных публикациях в центральной педагогической прессе. Ни слова – о его огромных практических заслугах.

После чего Иосиф Львович был уволен – с формулировкой «в связи с прекращением контракта». Это была чистой воды туфта: контракт был заключен «по замене уроков», но он уже давно не работал на заменах – фактически был постоянным работником.

На следующий день после увольнения Валентина Семеновна буквально заставила мужа пойти к адвокату. Вердикт был ясен: увольнение незаконное, доказать это – пара пустяков, дело абсолютно выигрышное – надо подавать в суд.

Но Иосиф в суд не подал. Он сказал жене:

– Как я могу туда вернуться? Ты ведь еще не все знаешь. Они устроили в лицее собрание: персонально обо мне и моем письме. Меня, конечно, осудили: приняли соответствующую резолюцию – вполне в стиле 30-х годов, только более мягкую. Многие мои коллеги перестали со мной здороваться в последние дни.

Нет, я не смогу там работать. Шабалов – это еще полбеды, но как я буду приходить туда каждый день? В каком состоянии входить в класс? Ведь это отразится на детях!

Валя в чем-то понимала его. Помолчав, спросила:

– Хорошо. И что ты думаешь делать?

– Да ничего особенного: искать работу.

– В середине учебного года?

– А почему нет?

– А если не найдешь?

– Там посмотрим!

Работу он не нашел. Прожив в небольшом городе всю жизнь, они имели обширные связи: как только где-то появлялось место, им тут же звонили знакомые. Но его никто не хотел брать. Директора отводили глаза; порой лгали, что вакансий нет, хотя они были: он это точно знал.

В конце концов, уже нельзя было скрывать от себя: для него установлен в родном городе фактический запрет на профессию.

Как-то директор 13-й школы, Галина Васильевна Васильева, подошла к Иосифу Львовичу в перерыве педагогической конференции, сказал ему:

– Вы знаете, что на совещании директоров председатель комитета прямо запретила брать вас на работу, назвала вашу фамилию? Говорит: «Кто возьмет Закса, о том я изменю свое мнение как о руководителе». Понятно?.. Я бы вас взяла – нет сейчас вакансии. Звоните. Но лучше вам, по-моему, уехать из города.

Валя, прежде относившаяся к злоключениям мужа философски, теперь все чаще нервничала, тревожилась за него. Она, как никто, знала Иосифа: он – еще в большей степени, чем она – не мог жить без детей, без

своей работы. Это был его воздух, его стихия, его Дело: смысл и содержание всей его жизни.

Она понимала, что теперь, когда ему перекрыли кислород, он может задохнуться, сорваться во что-то совсем уж плохое.

Огромная опасность была в том, что теперь он наверняка должен с головой уйти в свою борьбу: в свои общественные дела. Чтобы отвлечься, чем-то занять себя. Чтобы убедить себя в своей полезности. Наконец, чтобы расквитаться со своими гонителями.

И это ее очень тревожило. Ведь он не боец по натуре. Тонкий, впечатлительный, ранимый. Вот Исаак Самойлович – тот был воин: он тоже рубил сплеча, всем говорил, что думал – однажды заявил в лицо очередному министру просвещения: «Я такого дурака в кресле министра вижу первый раз в жизни!»

Его боялись. Кое-кто и ненавидел. Ему от этого было только весело. И боялась – кучка чиновников, а весь город любил. Это было такое солнышко, которое всех согревало. И такому человеку многое прощалось.

Иосиф – не такой. Чтобы знать его настоящего, нужно видеть его с детьми. Вне школы он закрытый, самолюбивый, мнительный, жесткий, чрезмерно резкий и требовательный. Такому ничего не простят.

А ему будет больно и стыдно признаться в этом себе самому: ведь мужчина! И он озлобится, ожесточится.

Что делать, как помочь ему?

Но больше всего ее беспокоило, что он стал замкнут, отгородился от нее, перестал ей рассказывать о себе, о своих делах, и перестал ее слушать.

Всю жизнь у них было так: стратегические вопросы решает он, тактические она. И он сам советовался с ней, даже обижался, не получая советов, и прислушивался к ним.

Теперь он отгородился от нее. И ей минутами становилось страшно: что, если это навсегда? Если это конец их близости, их связи – их любви?

И ей порой хотелось закричать, позвать его: «Ося, милый! Не оставь меня одну! Я так боюсь одиночества. Ничего в жизни не боюсь так, как остаться одной. Бедность, болезни, даже смерть – все не так страшно, как это. Ведь мне пятьдесят лет! Как ужасно в мои годы остаться одной».

Но он ничего не замечал. И она понимала: ему и так нелегко. Надо быть сильной, поддержать его.

И она старалась держаться, не замечать его холодности, раздражения, его угрюмого молчания.

Но порой не могла сдержаться и про себя молила: «Боже, не дай мне его потерять! Я не заслужила этого! Я всегда его любила, я старалась быть хорошей женой. Пусть он станет прежним, пусть душа его вернется ко мне и мы снова будем вместе, внутренне вместе – и больше я никогда ничего не попрошу, больше ничего мне не будет нужно в этой жизни!»

...

Валины опасения оправдывались.

Иосиф стал писать статьи, не научно-методические, как раньше, а публицистические: предлагать их карельской прессе. Едва ли не первая такая статья называлась «С новым министром вас, уважаемые коллеги!» Валя заставила себя ее прочесть, хотя содержание было понятно уже из названия.

Если бы он написал такое прежде, она бы обязательно высказалась – приблизительно так:

– Во-первых, Осенька, ты не публицист: и не умеешь, и нет призвания. Просто это бездарно... Во-вторых, здесь нет содержания: все сводится к тому, что Разбитная дура и ничтожество, она разрушает образование, а мы все рабы, потому что это терпим. Волга впадает в Каспийское море, дорогой мой! Я еще раз повторяю: Волга впа-да-ет в Кас-пий-ское море! Но это, увы, всем известно. А анализа, интересных мыслей тут нет. Что на свете полно глупых баб – и мужиков – это все знают. А вот как они попадают на капитанский мостик? – вот что интересно. А у тебя этого-то и нет... Кроме того, твой тон неприличен: он какой-то озлобленный, раздраженный. Так не пишут уважающие себя люди.

Вот так бы она сказала – раньше. И почти наверняка это ему помогло бы: он сумел бы понять, увидеть себя со стороны; выбросил статью и занялся настоящим делом.

Но: так было бы раньше. Сейчас Валя даже не пыталась вмешиваться: она молчала. Это было мучительно тяжело: самый близкий человек запутался, идет не туда – а ты бессильна ему помочь. Но скажешь – будет еще хуже: он разозлится и на нее. Ведь связь между ними потеряна, разорвана. И нет того мостика, по которому можно было бы дойти, добраться до него, до его души – этот мостик разрушен.

Разоблачение конкретных людей Валя считала самым пустым и ничемным делом. И иногда не выдерживала, и что-то все-таки прорывалось наружу.

Однажды Иосиф Львович сидел за столом, писал очередной свой критический опус о Разбитной: перед ним лежал с трудом – всяческими хитростями – добытый план работы министерства на новый, двухтысячный, год – с феерическим названием «Министерство образования и по делам молодежи Республики Карелия на пороге нового тысячелетия». Валя заглянула в эту бумагу: по содержанию она подозрительно напоминала план работы то ли дома пионеров, то ли райкома комсомола: сплошные слеты, конференции, встречи, поездки министра по республике и стране (Галина Анатольевна любила путешествовать). Но самое любопытное, что поля этого серьезнейшего документа оказались испещрены компьютерными графическими рисуночками: тут были костры, вертолеты, птички, домики – и пр., и пр. Валя вспомнила, что и в институте галины тетради

с конспектами содержали гораздо больше такого рода «живописи», чем собственно конспектов: только костров там не было – это уже влияние ее пионерско-комсомольского прошлого.

Была здесь и выписка из протокола предновогоднего совещания в министерстве, на котором подводились итоги работы за прошедший год: разумеется, она была признана успешной.

Иосифа Львовича все это страшно раздражало, и ему требовалось излить это раздражение на бумаге, иначе бы он лопнул.

И вот тогда Валя не выдержала, сказала:

– Знаешь, мне кажется, ты ее демонизируешь... Ты пишешь, что она «разрушает образование». Не может она разрушать образование. Она на это не способна. Так же, как неспособна и созидать. Она вообще не способна ни на что: она нуль, ничто, пустое место. Нельзя прогнать пустоту, размахивая руками: пустоту нужно заполнить – каким-то содержанием.

А еще: нельзя безнаказанно смотреть в пустоту – от этого сам становишься пустым. Можно заразиться пустотой, если твое внимание все время обращено на нее.

Ты думаешь: ты оппонируешь тем, кто считает Разбитную кем-то, придает ей значение? Нет! Они придают ей положительное значение, ты – отрицательное. И ты, и они – вы все придаете ей какое-то значение. Вы не разные, а одинаковые.

А на самом деле она не играет никакой роли. Она рисует птичек, болтает, разъезжает по городам и весям – а школа живет своей жизнью. Если бы никакого министра вообще не было, было бы то же самое.

О чем же ты пишешь?

Иосиф слушал ее нетерпеливо: он даже не повернул головы в ее сторону. И продолжал писать.

И все-таки она и в другой раз не выдержала, сказала, что думала.

В Петрозаводске был директор школы, каждый год оформлявшийся на летние месяцы воспитателем на полторы ставки в лагерь отдыха, принадлежащий его школе: разумеется, работать он не работал, а деньги клал себе в карман. Были у него и другие источники, в том же роде. Всегда все знавшие женщины-учительницы рассказывали, что этот директор купил в центре города прекрасную большую квартиру; что на территории того самого лагеря (он находится за городом, в хорошем месте, на берегу озера, рядом с санаторием «Кивач») выстроен для директора комфортабельный домик – не на его счет, конечно.

Этот горе-педагог возмущал и Валу, но не «ловкостью рук»: мало ли в России воря! – а тем, что совершенно развалил свою школу, превратил ее в казарму. Однажды в этом учебном заведении проходил семинар, и Вале с Иосифом довелось наблюдать, как директор разговаривает с детьми: он сидел, они перед ним стояли, хотя рядом были стулья; он говорил небрежно, ворчливым тоном, не глядя на них, не слушая их.

Была и особая причина их возмущения: этот человек был евреем, по фамилии Гойхман.

И вот Иосиф как-то сумел раздобыть ксерокопии документов, явно и неопровержимо обличавших финансовые махинации этого жулика. У него работала секретарем бывшая завуч той же школы, уволенная за то, что чем-то не угодила начальству, а потом из милости принятая в секретарши. Ей надоело унижаться, а кроме того, подошла пенсия: нечего было терять – и она предоставила общественному движению все необходимые копии.

Радовался Иосиф, радовалась и Валя: дети избавятся от этого чудовища!

Но из этого ничего не вышло. Ни комитет по образованию, ни прокуратура не нашли в действиях директора ничего предосудительного. Заместитель прокурора города Г.А. Суржко в своем ответе объяснила, что А.А. Гойхман оформлялся воспитателем, чтобы «контролировать ход ремонтно-строительных работ на территории лагеря для подготовки следующей лагерной смены».

Валу этот ответ привел в уныние: она все поняла; Иосиф дома кричал:

– Нет, ты посмотри, что он пишет!..

– Не он, а она...

– Один черт! Смотри: ремонтные работы проводятся в лагере ПРЯМО ВО ВРЕМЯ СМЕНИ: когда там отдыхают дети! Представляешь себе?!. Прокурор – прокурор! – утверждает, что можно оформляться на одну должность, а заниматься чем-то другим! И в этой стране можно жить?!

Он чуть-чуть успокоился, отдышался, сказал:

– У меня такое ощущение, что они существуют в каком-то другом, параллельном, мире: с совершенно другими законами – или вообще без всяких законов? В том мире, где живем мы, нельзя ремонтировать лагерь прямо по головам детей; у них – можно. Вообще там все можно. «Нам нет преград ни в море, ни на суше!» – так они пели. Потому что это мир чистой бредовой фантазии, никак не связанной с реальностью, ничего не желающей о ней знать. Мир безумных галлюцинаций!

Ты посмотри: прокурор города совершенно открыто выгораживает вора, расхищающего средства городского бюджета! А такие же московские прокуроры сажают на скамью подсудимых абсолютно честных людей. И ни те, ни другие ответственности не боятся. Да никто и не сомневается: они, конечно, не будут отвечать!

Кто ответил за уничтожение миллионов ни в чем не повинных людей при Сталине? А ведь тогдашние прокуроры, следователи, вертухи-надзиратели и авторы доносов и сейчас ходят себе, получают персональные пенсии, пользуются общим уважением. Что это такое? Да это страшнее самых кровавых репрессий!

Валя тяжело вздохнула, сказала:

– Я с тобой согласна. Репрессии – следствие; безответственность – причина. Но в России так всегда было – помнишь, что говорил Миша: кто

действует от имени государства, никогда ни за что не отвечает. Он может попасть в опалу, как Меньшиков или Берия – но это не ответственность, а расправа с конкурентом: как в волчьей стае – сильный загрызает слабого и становится вожаком.

И вообще, мне кажется, эта система функционирует без участия человеческого начала. Решения принимают сами по себе должности, понимаешь?

– Не совсем.

– Ну вот представь себе машину – где-нибудь на заводе – которая работает строго определенным образом, а ее обслуживает человек. Его роль – следить, чтобы машина не сломалась, чинить ее, загружать сырьем¹ – быть ее деталью, придатком. Он ничего не может изменить в ее работе. Не машина служит человеку, а человек служит машине.

Вот так и в этом чиновном мире: это что-то механическое, нечеловеческое, неживое по природе своей. Система работает так, потому что она так устроена – и неважно, какой человек тот или иной чиновник: добрый он или злой, умный или глупый. Он все равно будет делать то, что диктует логика системы, или она извергнет, изблюет его из себя.

Но тогда бесполезно разоблачать отдельных людей, понимаешь? Нужно сломить систему, а это не в наших силах.

...

Раньше Валя дома отдыхала. Учительская работа ведь вот такая: каждое твое слово, твое настроение; то, как ты стоишь, смотришь, как ты выглядишь – все влияет, все имеет значение. С годами вырастаешь в это всем своим существом, перестаешь замечать: и все-таки это огромное напряжение, от которого – при всей «тренированности» – нужно отдыхать.

Теперь она не могла расслабиться ни на минуту: дома – еще больше, чем в школе: приходилось следить за собой, за каждым своим словом, каждой интонацией. С мужа словно с живого содрали кожу: чуть-чуть ошибешься, скажешь не то – он обижается, перестает разговаривать.

Валя понимала: нужно бороться за него. Нужно отвлечь его от этой изнуряющей бессмысленной битвы с пустотой, переключить его внимание на что-то хорошее. Она теперь каждую неделю предлагала ему пойти в театр ли, на концерт – несмотря на всю свою усталость. Но он почти всегда отказывался.

Однажды, во время экзаменов, в Петрозаводск приехал Евгений Евтушенко. Валя на этот раз уговорила мужа, пошла с ними и Сашка.

Иосиф Евтушенко не любил: говорил, что его стихи – зарифмованная публицистика, причем беспринципная: ему все равно, что отстаивать, на чьей быть стороне. Валя и Сашка любили; Валя говорила: «Ты судишь по худшему, а надо по лучшему. Евтушенко – это «Люди», «Идут белые снеги...», «Со мною вот что происходит...», «Карликовые березы», «Ольховая сережка», «Песня Сольвейг». Это настоящая поэзия!.. А как он читает! Ни один актер так не прочтет!»

Но Иосиф на сей раз был рад, что его вытащили из дому. Ему хотелось развеяться.

Евтушенко в то время было уже под семьдесят. Он вышел на эстраду: стройный, подтянутый, узкая талия, сильные широкие плечи, прекрасно держится. Он женат – все в зале знали это – на петрозаводчанке: потому и заехал сюда – и жена на 30 лет моложе него.

Он много рассказывал о себе: о своих многочисленных поездках по миру («Я был в 98 странах», – сказал он, между прочим), о малоизвестных моментах своей биографии. Конечно, читал стихи: как всегда, прекрасно.

Из филармонии вышли в приподнятом настроении, только Валя выглядела осунувшейся, усталой. Иосиф ничего не замечал; Сашка заметила, спросила:

– Мама, как ты себя чувствуешь?

Валя заставила себя улыбнуться, сказала:

– Я хорошо себя чувствую. Рада, что мы пошли... Вы не знаете: в зале сидели мои ученики – половина десятого-бэ. Хорошо, что они это видели и слышали... Но, понимаешь: я вдруг позавидовала... Да, да, Евтушенко...

Она говорила Сашке, но ей страстно хотелось, чтобы муж отозвался на ее слова. Он только хмыкнул, не глядя на нее. Превозмогая себя, она продолжала:

– Конечно, он заслужил все это: эту интересную, яркую, полную событий и впечатлений, насыщенную жизнь. Он талантливый сильный человек. Но ведь и мы с папой – мы тоже не без способностей. Да что там говорить: мы ничем не хуже! А что мы видели в жизни? Где были?... И мне стало обидно. Но потом...

Потом я вспомнила всю свою жизнь. Школа! Дети! Это каждый день новые удивительные впечатления, события, загадки, тайны, которые нужно разгадать; это такой чудесный никому не понятный мир!

Валя почувствовала: Иосиф начал ее слушать – перевела дух.

– Да, ты ведь помнишь, Сухомлинский – мой любимый Сухомлинский – сказал в конце жизни: «Каждый ребенок был миром: совершенно особым, уникальным!» Каждый ребенок – особый мир! Как я это понимаю... И вдруг мне стало его жалко!

– Евтушенко? – спросил муж с улыбкой.

– Да, Евтушенко!.. Ведь он ничего этого не знал – и уже никогда не узнает. И я подумала: «Нет, мы счастливее него! Мы избрали лучшую участь – нам больше повезло в жизни! Он талантливый, яркий – да. А разве мы менее интересные люди? Нас только мало кто знает. Но разве в этом дело? Он скользил по поверхности жизни – а мы ушли в глубину.

И я подумала: «Спасибо, Господи, что ты вывел меня и моих близких из гетто, сделал русской учительницей. Кем бы я была иначе? Спасибо тебе, Господи!»

И вдруг она увидела: на нее смотрели напряженные внимательные – словно проникающие вглубь ее души – глаза: глаза дочери. Они были другого цвета, чем у нее: гораздо светлее – но тоже слегка косили, и от этого взгляд был такой же странный, загадочный. Сейчас эти глаза были настолько бездонно глубоки, что Валя даже испугалась, подумала: «Она ведь уже совсем взрослая! А я болтаю невесть что, сама не зная, как это на ней отразится. О каждом чужом ребенке думаю, часами ломаю голову, а о своей единственной дочери подумать некогда!»

Она растерянно оглянулась на мужа. Он впервые за последние месяцы улыбнулся ей ласково и спокойно.

...

Как-то Валя придумала: дети в детских домах страдают от недостатка общения – вечно вокруг те же воспитатели, товарищи по группе. Нужно организовать студентов социально-педагогического колледжа, пединститута, пусть ходят в детские дома – их у нас целых три – читают детям книги, просто общаются, играют с ними; пусть постараются с детьми подружиться. Может быть, пригласят детей к себе в гости: им полезно побыть пусть в чужих семьях, раз нет своей – но в домашней обстановке.

Иосифу идея понравилась: он, как всегда горячо, взялся за дело. И это было первое, что ему удалось с тех пор, как он стал председателем общественного движения: интересно было студенткам, рады были дети, даже заведующие звонили ему домой, благодарили.

Как-то Валя вспомнила: мама однажды сказала ей: «Пока человек один – это только половина человека. Найти себя можно только в счастливом браке!» До недавнего времени у нее был счастливый брак. Нужно вернуть его, спасти! Ведь не только муж нужен ей, и она нужна ему. Но где взять силы на все?

Среди девушек-студенток была одна, особенно Иосифу близкая: его ученица Вика Смышнова. Как-то она зашла к ним в гости: долго рассказывала о детях, о детском доме. Иосиф посоветовал ей поговорить с заведующей: дети очень несамостоятельны, воспитатели контролируют каждый их шаг – боятся, как бы чего не вышло, чтоб не пришлось отвечать – а ведь детей нужно учить самостоятельности, этих – особенно: у них нет в жизни никакой поддержки. Пусть директрисса подумает: что будет с этими детьми потом, когда они выйдут из детдома? Тут что-то надо менять!

К сожалению, Валя в этот момент вышла на кухню и наказа мужа не слышала.

Вышло из этого вот что. Вика действительно поговорила с заведующей. Та восприняла это как критику и вмешательство в ее работу. Наговорила девушке грубостей и выгнала ее – буквально выгнала: запретила приходить к детям. А ведь она обещала им, что будет приходить: они привязались к ней – да и она к ним.

Иосиф был в бешенстве. Но от его разговора с директором стало только хуже. Тогда он пошел в министерство, к начальнице отдела охраны прав детей, Галине Федоровне Григорьевой. Та выслушала его, по-доброму посоветовала: у директриссы скоро юбилей, 50 лет – купите ей цветы, коробку конфет, поздравьте – может быть, она смягчится. А больше тут ничего не поделаешь!

Иосиф вернулся домой бледный, страшно злой. На Григорьеву он наорал: той чуть плохо не стало. Конечно, ему было мучительно стыдно своего бессилия: стыдно перед Викой, перед самим собой.

Вале хотелось его хоть как-то утешить, она сказала:

– Знаешь, мне эта девушка очень понравилась. Серьезная, с чувством собственного достоинства. Любит детей. Она будет хорошим педагогом. А это ей урок на будущее. Чтобы работать с детьми в России, нужно уметь ладить с начальством – ничего не поделаешь. Seriously: ей это пойдет на пользу.

– А детям? Им это тоже полезно?!

– Этих детей все равно искалечат... Прости, что я так говорю: мне их ужасно жалко. Но ведь у них и воспитатели постоянно сменяются.

– Нет, но какова Григорьева! Она работает в министерстве 20 лет! 20 лет – Боже мой!

– А чему ты удивляешься? Эта так называемая власть не имеет никакой власти: я это давно поняла. Они ничего не могут. Даже простейшую – но реальную, невыдуманную – проблему им решить не по силам. У нас «сильной» называют ту власть, которая бессильна. Вспомни: ты сам об этом говорил недавно...

Он отвернулся, замолчал.

Теперь он все чаще говорил о России, о русских резко, грубо. Рабы, грязный скот! Нормальному человеку жить в этой стране невозможно!

Валя слушала его: как тяжело было это слышать о своей стране, от самого близкого человека – но она понимала, она знала, что творится у него в душе: ему нужно оправдать себя, свои ошибки: те, что уже совершил, и те, которые еще только собирался совершить...

Человек всегда бывает тверже всего уверен в чем-то, если это оправдывает его ошибки: и чем серьезнее они – тем прочнее его убеждение. Сдвинуть его с места нельзя: только он сам может тут что-то сделать.

И все-таки ей было мучительно тяжело его слушать. И однажды она не выдержала, сказала с болью в голосе:

– Не понимаю, как ты можешь так говорить! Мне не меньше тебя отвратительно рабство. Но ведь это болезнь, пойми! Россия больна! Если твоя мать больна – пусть постыдной, скверной болезнью – неужели ты отвернешься от нее? Ведь это наша родина, а родина – мать. Нас не было бы, если б не она... Как не любить эту землю, эту страну, этих детей, которых мы учим, которым отдаем себя: а ведь они почти все русские!

Ну уж какая она ни есть, наша страна, но она – наша: мы без нее не существуем!

– Извини, – со злостью сказал он, – я еврей! И с годами все более чувствую себя евреем.

– Да, я знаю. Если хочешь знать, я тоже: я тоже чувствую себя все более еврейкой. И при этом все больше люблю Россию. Не знаю, как это может быть, но это так...

– Извини, ты любишь парадоксы!.. Евреи живут не в России, а в Израиле!

– Ну, почему же? И в России тоже. И во многих других странах. А в Израиле только пять миллионов евреев, в мире их всего 13 миллионов, насколько я знаю. Значит, евреи – это по-прежнему народ рассеяния. А разве тебе не приходило в голову, что это так и должно быть?

– Как так? Мы не имеем права на свое государство?

– Не в этом дело. Я говорю не о формальных правах – они у всех одинаковы – а об особой миссии народа. Евреи – народ-мессия. Их дело – исполнять волю того, кто их послал, там, куда они посланы. А это можно делать, только живя среди других народов... Знаешь, почему евреи так и дождались своего Мессии? Потому что Мессия – это они сами!

– Бред какой-то! Откуда ты это взяла?

– Представь себе, сама додумалась... Вот ты учишь иврит, а зачем?

– Просто так! Я еврей, хочу знать свой язык.

– А зачем он тебе?.. Иврит – святой язык, он нужен для чтения священных книг. Почему ты их не читаешь? Раз уж ты хочешь стать настоящим евреем?

– В свое время прочту!

– Это время может никогда не придти. Тебе 50 лет. Пока ты читаешь только израильские агитки...

– Не агитки, а газеты...

Иосиф действительно полгода тому назад начал вдруг, ни с того, ни с сего, изучать иврит. Он был чрезвычайно способный, память железная, настойчив невероятно: спустя полгода он уже свободно читал израильские газеты – где-то он их доставал. Но говорить пока не мог: не с кем было.

И Валя понимала – зачем он учит язык: хотя он и сам пока не догадывался об этом. И ей все чаще становилось страшно. «Господи, не дай мне остаться одной!»

...

Потом Валя и сама не могла сообразить, как это могло случиться. Наверное, она на время потеряла себя: от отчаяния, от безнадежности, от страха остаться навсегда одинокой. Она решила пойти к Гале: просто поговорить с ней. Наверное, ей нужна была хоть какая-то надежда: пусть призрачная, иллюзорная.

Она не будет ни о чем ее просить: просто расскажет о проблемах Иосифа. Все-таки Галя – министр: если захочет, поможет.

Начался новый учебный год. Иосиф по-прежнему без работы. И никакой надежды. Он уедет – она чувствовала это! Нужно удержать его – во что бы то ни стало! А сделать это можно было только одним способом: найти ему работу – с детьми. Без детей он задыхается, он не выдержит!

И она пошла.

Был ясный теплый день середины сентября. Светило солнце. Как было красиво в городе! Она ничего не замечала.

Уже перед самым министерством: деревянным двухэтажным неприглядным зданием – она почувствовала: нет, я не смогу! Нет сил – что-то внутри останавливало, не давало ей идти.

Но она принудила себя. Подошла к двери.

В это время по Энгельса медленно подъехала блестящая черная машина: Валя не разбиралась в автомобилях – кажется, «Волга». За ней – еще три или четыре, разного цвета. Из черной вышли Кармазын и Разбитная: он поспешно открыл зонтик, держа его над ней – шел жиденский дождик, а солнце продолжало светить, и до дверей министерства было десять шагов.

Из других машин вылезли тоже какие-то люди: Валя различила финскую, английскую речь – это была какая-то иностранная делегация.

Галина Анатольевна улыбалась: как всегда, в прекрасном настроении, в отличном демисезонном пальто, шарфе, голова не покрыта. Что-то было в ней до того чуждое, что Валя вдруг перестала понимать себя: зачем я пришла? О чем я хочу говорить с ней: вот с этой совершенно чужой мне, враждебной всей моей жизни женщиной? Боже, только бы она меня не заметила!

Разбитная ее не заметила, хотя прошла, почти задев ее: она никак не ожидала ее здесь увидеть.

К несчастью, заметила ее та самая Григорьева, которую Валя давно знала. Она была тоже отчего-то очень веселая.

– Валентина... ой, извините, Семеновна – да, да! Вы к Галине Анатольевне?

– Да, – выдавила из себя Валя.

– Она сейчас освободится: у нее делегация финских коллег. Проходите, что же вы стоите под дождем?

Валя, пропустив всех вперед, зашла вслед за Григорьевой. Уже поднимаясь по лестнице, подумала: «Зачем я иду? И почему у меня так гадко, скверно на душе? Я ведь не делаю ничего плохого! Да? Не делаю?»

Раздумывать было некогда: Григорьева завела ее к себе в кабинет. Валя медленно, как во сне, разделась, села. Григорьева трещала, как сорока. Она почему-то была в восторге от посещения финнов: что-то они ей обещали, какую-то поддержку; за что-то похвалили.

Валя не слушала ее, смотрела ей в лицо: обычное простонародное русское бабье – и думала: «А ведь эти иностранцы не догадываются, с кем имеют дело. Им и в голову не приходит, что эти министры, члены правительства, депутаты, с которыми они здесь встречаются, – это подонки нашего общества, его отбросы. Что если они по ним судят обо всех нас?»

Наконец, Григорьева перестала болтать, сходила в приемную, влетела, сияя улыбкой:

Галина Анатольевна ждет вас!

Валя удивлялась себе: ей вдруг страшно захотелось не идти к Гале, встать и уйти. Но это было бы слишком странно. И она пошла. «Боже, Боже, что со мной? – думала она. – Надо взять себя в руки! Я должна помочь Иосифу!» Но ей никак не удавалось сосредоточиться, овладеть собой.

Галина Анатольевна – в развевающихся шелковых разноцветных одеждах – вышла ей навстречу из кабинета. Она еще больше располнела и походила сейчас на в меру упитанное пионерское знамя: в ее экзотическом костюме преобладали глубокие розовые тона.

Валю опять поразило, что Галя так рада ей, так ласково ее встречает.

Странно, но она, такая пронизательная, такая умная, не могла понять Галю: ей не приходило в голову, что та, от природы ничтожная, пустая, теперь – после почти четверти века блестящей карьеры – стала совсем уже полой внутри. А потому может притвориться какой угодно.

Она так привыкла к этому: если к тебе приходит гость, посетитель – изобрази радость: вдруг это нужный человек! Если тебя знакомят с маленьким ребенком, изобрази умиление. В кабинете председателя правительства она изображала преданность и готовность исполнить любое приказание, любое желание. В общении с подчиненными – приличную важность.

Но сама она совсем не сознавала своего притворства, своей внутренней пустоты, в сущности, находя ее очень удобной.

Галина Анатольевна считала себя очень искренним, непосредственно-эмоциональным человеком, может быть, даже слишком искренним, слишком привыкшим доверять людям.

По натуре очень добродушная, с поразительно короткой памятью, она никогда долго не держала зла, никогда никому не мстила: для мести требуется некоторая концентрация внимания: она на это была неспособна. Разозлиться она, конечно, могла, но это у нее очень быстро проходило. И она совершенно искренне считала себя добрым человеком.

Она любила свою работу. Всегда она входила в министерство с улыбкой, уходила в хорошем настроении. Ей так нравилось, что она здесь самая главная, что ее почтительно слушают; нравилось отдавать приказания – хотя она часто совсем не следила за их исполнением; нравилось подписывать приказы (хотя содержание их могло быть ей непонятно: писали их ее подчиненные, среди которых были люди гораздо умнее и

образованнее нее). Это было невинное удовольствие, невинное детское самоутверждение.

Она сознавала, что любит свою работу, и была уверена, что принадлежит к числу счастливых людей, нашедших свое призвание.

Ее любили сотрудники министерства. Это не была ее иллюзия: это было действительно так. Прежний министр – Гехт – был невероятно капризен, придирчив, вечно находился во взвинченном, раздраженном состоянии из-за неумения вполне угодить начальству. Он ко всем придирался, заставлял переписывать документы из-за ничтожных описок, мелких ошибок; ревниво следил за тем, как исполняются его распоряжения.

Разбитная же ни за чем не следила: подписав приказ, через десять минут забывала о его существовании; на работе почти всегда была в великолепном настроении; была ласкова и добра с подчиненными. Они считали ее просто идеальным руководителем, и она знала об этом.

Всю жизнь проработав в дополнительном образовании, имея в подчинении художественно одаренных ярких людей и вполне уживаясь с ними, она совершенно искренне считала себя творческим человеком, которому из-за этого даже трудно вписаться в эти скучные бюрократические структуры.

Она была почти равнодушна к деньгам и даже к славе: жила в обычной, хотя и очень хорошей, городской квартире; имела обыкновенную дачу, как у всех: не кирпичный двух или трехэтажный дворец с террасами и балконами. У нее никогда в жизни не было своей машины, она и водить не умела: не было у нее и персонального казенного авто с шофером, и она часто колесила по городу на маршрутке или даже на троллейбусе. И сейчас она приехала в министерство на обычном наемном такси, взятом больше шику ради: задать форсу перед иностранцами.

Разумеется, она считала себя еще и бескорыстным человеком, и не так уж ошибалась в этом.

Хотя странно было то, что ее самоутверждение не гасло, а только росло со временем. Казалось, она давно должна была насытиться почестями: ведь министр! Выше – только глава правительства. Несколько человек наравне. Все прочие – ниже. Но почему-то она не насыщалась. Ей все больше и больше хотелось ощущать свою важность, значительность, она все более жаждала новых и новых подтверждений своей состоятельности.

Сейчас, сама того не сознавая, она переживала момент величайшего торжества, апофеоз своего жизненного успеха. Она не знала этого – как не знала почти ничего о самой себе – но был на свете человек, которого она ненавидела всю жизнь, с совершенно не характерным для нее постоянством. И вот этот человек пришел к ней на поклон! Эта гордячка склонилась перед ней, признала ее величие!

Если бы сам Путин встал перед ней на колени и почтительно поцеловал ей руку, она не могла бы так торжествовать в душе, как сейчас.

Почему она ненавидела Валу? Она сама не знала этого, как не знала и о самой ненависти: одном из последних оставшихся в ее опустошенной душе подлинных, немнимых, чувств. Валя воплощала для нее все то, что было ей чуждо, враждебно, что заставляло ее так страдать в юности. Эта Валя когда-то свысока презирала ее, относилась к ней снисходительно!

И вот – жизнь показала, кто есть кто! Она всю жизнь проработала безвестной учительницей, а я стала министром – и ведь совершенно по заслугам: так она чувствовала.

Галина Анатольевна совершенно не была благодарна Вале за ее самоотверженную помощь в студенческие годы, потому что не воспринимала эту помощь как *самостоятельный поступок*: она вообще не понимала, что такое самостоятельный поступок. Она искренне верила, что люди – как куклы: надо только знать, за какую ниточку дернуть. И она, Галя, всегда знала! Она умела обойтись с людьми! Она была уверена, что просто в свое время сумела использовать Валу, и в этом тоже была не так уж далека от истины.

А главное: эта помощь ее унижала! Она не воспринимала ее как благодеяние, а как унижение. Валя заносилась перед ней, хотела показать ей свою важность, свою значительность! Вот, мол, какая я умная – а ты какая глупая! – так она это воспринимала.

И это тоже было вполне простительно: ведь и очень умные люди часто судят о других по себе, а Галя никогда не блистала умом.

Но, конечно, и сейчас, как и всю жизнь, Галина Анатольевна не знавала, что происходит в ней, что ею движет: она была и в этом смысле полной противоположностью Вале. Она только очень хорошо себя чувствовала, ощущала огромный душевный подъем.

Валя села. Галя ласково попросила секретаршу поплотнее закрыть дверь и пока никого к ней не впускать.

Валя попыталась сосредоточиться. Она всю жизнь была волевым человеком: где же сейчас ее воля? Что с ней? Почему ей так неловко, стыдно? Чего она стыдится? И перед кем? Почему, почему так гадко у нее на душе?

Сейчас, больше, чем когда-либо, она ощущала неразрывную связь, которая существовала между ее и галиной жизнью. Она всегда ее чувствовала, но никогда не могла объяснить. Но связь была! И она была очень прочна. И вот она сама пришла к Гале: ее потянуло за ниточку.

Сейчас, глядя на галино сияющее, лоснящееся довольством лицо, она вдруг поняла: связь в том, что чем лучше живет Гале, тем хуже должно быть ей, Вале. А если бы ей было хорошо, плохо было бы Гале. Так уж оно устроено. Они с Галей – два антитела, два первоначала Бытия: как дух и материя, жизнь и смерть. Они – как вода и пламень – не могут быть рядом: или вода испарится, или пламень потухнет.

Галина Анатольевна начала расспрашивать ее: это были обычные ее вопросы – о дочке, о здоровье. Валентина Семеновна ждала вопроса о муже, чтобы заговорить о том, ради чего пришла. Но Галина Анатольевна

никуда не торопилась: ей всегда доставляло удовольствие задавать Вале эти вопросы: тем самым она как бы господствовала над ней, снисходительно становясь выше нее – и это было очень приятно.

Вдруг Галина Анатольевна спросила с сочувствием:

– Так ты все по-прежнему работаешь учителем?

Валу всю передернуло; огромным усилием воли она сдержалась, опустила глаза, сказала сухо:

– Боюсь, того времени, что я работаю, мне не хватило, чтобы стать по-настоящему хорошим учителем. Может быть, и всей жизни не хватит. Ладно, давай-ка о деле!

Она заговорила о деле. Полное лицо Галина Анатольевны выразило доброе бабье сочувствие, она подперла щеку ладонью, слушала жалостливо. Это, впрочем, была тоже естественная реакция ее «инстинкта притворства», больше ничего: когда тебе рассказывают о бедах и несчастьях, надо изображать сострадание. Это правильная реакция, а она всегда давала правильную реакцию на происходящее – чисто-автоматически.

Но это бабье жалостливое сочувствие на ее цветущем – несмотря на пятьдесят лет от роду – лице выглядело довольно смешно, и тут Вале, неожиданно для нее самой, помогло ее чувство юмора. Забавно было смотреть на эту загорелую розовую мясистую физиономию, на которую, как чулок на ногу, было надето выражение старушечьей жалости, – и Валя, наконец, овладела собой.

Она очень подробно рассказала всю историю Иосифа Львовича: про оба увольнения и невозможность найти работу.

Галина Анатольевна перебила ее только два раза: когда Валя говорила о первом лицее, о поведении директора, Галя заметила:

– Да, я понимаю: ему нужен был психологический комфорт!

Валя вспомнила о любви Гали к красивым непонятным для нее словам.

– При чем тут «психологический комфорт»? – резко заметила она, но сразу взяла себя в руки. – Ты, надеюсь, не думаешь, что цель работы директора – обеспечить себе психологический комфорт за счет изгнания всех неудобных для него подчиненных?

Но Галя и тут мгновенно выдала правильную реакцию: закивала головой, развела толстыми руками, сказала:

– Нет-нет, ну что ты!

Еще она сказала:

– Я так хочу, чтобы он нашел себя!

– Кто? Иосиф? Да Бог с тобой! Он давным-давно нашел себя: он прекрасный педагог, кандидат наук.

Наконец, Валя кончила свой рассказ. Взглянула на часы – и поразилась: ей казалось, она сидит здесь уже очень долго – а оказывается, не прошло и пятнадцати минут, как она вошла.

Галина Анатольевна все так же по-бабьи закивала головой, сказала:
– Я тебе обязательно помогу, обязательно помогу!
– Не мне – ему... А, вернее, так: помоги карельским детям. Им нужны хорошие учителя.

– Да-да, ты права! Я обязательно помогу! Прямо сейчас подумаю, что можно сделать!

Галина Анатольевна проводила посетительницу до двери. Ее всю буквально распирало от радости. Наблюдательная Валя, наконец, не могла этого не заметить: она едва не вспылила – но нельзя же было все под конец испортить.

Она сухо попрощалась, вышла.

Галина Анатольевна вернулась в кабинет, села за свой стол. К ней сразу же вошла Галина Федоровна Григорьева, вошла – и обрадовалась: у нее была к начальнице просьба, особая, личная – вот как удачно: а у начальства как раз прекрасное настроение! Она начала излагать свою просьбу: министр смотрела на нее, просто-таки лучезарно улыбаясь.

– Галина Анатольевна, извините ради Бога, вы не забудете? – спросила Григорьева.

Все министерство знало, что Разбитная всем все обещает и никогда ничего не делает – не по злему умыслу: просто забывает.

– Нет, ну что вы! Сейчас секретарь напишет приказ: я подпишу.

– Ой, спасибо, Галина Анатольевна: вы меня так выручили! Так я скажу секретарю, можно?

– Конечно.

Галина Анатольевна вышла в приемную, поболтала с вошедшим Кармазиным. Ей было хорошо, просто душа пела. О Валиной просьбе она уже забыла.

...

Валя медленно, очень медленно, как давно не ходила, шла по Энгельса, вышла на Круглую площадь.

Дождь уже перестал, и прекрасный осенний вечер, свежий, сверкающий яркой лазурью неба, и золотом и багрянцем листьев, и темно-сизой мокрой мостовой и мокрой листвой, захватил, покорил ее. По небу плыли дымчато-серые снизу, серебристые сверху пышные облака. Светило солнце. Бурные листья тополя казались дрожащим мерцающим золотом. Все было чистым, промытым, ясным.

И ее вдруг захлестнула волна любви к этим деревьям, к этому небу – к этой земле. Жить бы здесь всегда! – всегда ходить по этим улицам, смотреть на эти дома, дышать этим воздухом.

Господи, ну почему это невозможно?

...

Поздней осенью Иосиф Львович съездил в Петербург, в израильское консульство: оформить документы на выезд.

Жене он хотел ничего не говорить: мало ли какие могут быть в Питере дела – потом все-таки сказал. Она почему-то совсем не удивилась, спросила очень тихо:

– с Сашкой ты уже говорил?

– Пока нет. Она совершеннолетняя, ее разрешение мне не нужно.

– Разве в этом дело?..

– Она долго молчала, потом спросила:

– Ося, ты меня бросаешь?

Он отвернулся, сказал:

– Я не хочу тебя бросать. Но, по-моему, жена должна следовать за мужем, а не наоборот. Я так решил, а ты как хочешь. Обживусь – приезжай ко мне.

– Я никогда не уеду отсюда. Добровольно – никогда не уеду.

– Как знаешь.

– Мы что же: будем разводиться?

– Я в консульстве все узнаю. Думаю, это не потребуется. Ты напишешь мне бумагу, что не возражаешь и прочая – чисто формально. Наверное, так.

Вот и все. Вот и весь разговор.

На вокзале Иосиф Львович впервые за последний год испытал чувство облегчения: это было как у астматика, которому после долгого мучительного приступа дали подышать кислородом. Наконец-то! Наконец появилась надежда, что что-то изменится в его жизни!

Он верил: в Израиле нужны хорошие профессионалы. Английский он знает: свободно читает монографии по педагогике и психологии. Иврит выучил вполне сносно. Силы еще есть. Там он будет нужен: там свои, нормальные люди, – евреи. Не то что эти подлые рабы!

Но в одном он не хотел себе признаться: он понимал, что едет не столько в, сколько из – ему нужно вырваться из этой давилки, из этой душиловки, из этой жуткой страны – из России. Но ему хотелось не только этого: ему хотелось и уехать из дому, от семьи – от жены. Она страшно раздражала его в последнее время. И своей заботливостью, терпением – раздражала.

Как-то он сказал ей:

– Знаешь, кто ты? Ты – питательная среда для паразитов. Если бы не такие, как ты: покорные, послушные трудяги – они все, эти Разбитные – Кармазины – Кананановы, не могли бы существовать. Вы работаете на них, как ишаки, и они этим живут.

Она раздражала его в особенности тем, что в ее образе жизни ничего не менялось. Она по-прежнему работала в школе, любила детей, думала о них, радовалась им. А он... Ему к детям путь был заказан.

Он не догадывался об этом, но просто он мучительно ей завидовал.

И он думал: она тоже часть этой системы, ее послушный винтик. Часть той машины, которая сломала мою жизнь. Она – враг в моем доме!

Действительно, Валя всю жизнь уживалась с начальством, никогда ни с кем не ссорилась, могла работать с самыми дикими директорами. Раньше ему казалось, что это ее достоинство. И только теперь он понял: она тоже русская рабыня. Ее тоже сформировал этот социум.

А он не хочет быть рабом! Он не станет кормить собой всю эту шваль, это сословие захватчиков. Он хочет быть хозяином в собственной стране, гражданином ее. Здесь, в России, это невозможно. Значит, нужно уезжать: просто из чувства собственного достоинства.

В израильское консульство (все знали, что это именно консульство, но почему-то на вывеске значилось «Культурный центр Израйля» – видимо, для отвода глаз: чтоб террористы не догадались!) зайти оказалось не просто: чернявые, смуглые молодые люди в форме – этикие типичные еврейчики на вид – на всех подозрительно смотрели и всех обыскивали. У Иосифа Львовича оказалась в кармане пиджака металлическая шариковая ручка: металлодетектор, конечно, тревожно запикал – и молодой человек с местечковой внешностью чуть не съел его взглядом.

Но у Иосифа Львовича было хорошее настроение, он извлек подозрительный предмет на свет божий и предложил:

– Нравится? Возьмите на память!

Тут обнаружилось, что бдительный охранник – совсем мальчишка: он смутился, покраснел, как девушка, конечно, от подарка отказался. Иосиф Львович посмеялся внутренне, зашел.

Казенное, холодное помещение; на стенах странные картинки – какая-то мазня. Он не умел рисовать, но, честное слово, сварганил бы лучше. На столе – израильские иллюстрированные журналы, в основном, ивритские, но есть и на русском. Ни графина с водой, ничего – голо. Сидят люди, скучают.

Раньше он думал: российские евреи – это, в основном, интеллигенты: врачи, учителя, музыканты, ученые. Но здесь были такие лица! Уж такие примитивные, такие заскорузлые. Даже интересно, что есть еще в России такие евреи.

Хотя – все понятно: музыкант или врач в Израиль не рвется – кому он там нужен? Где он там найдет работу по специальности?

И Иосиф Львович впервые тревожно засомневался: а он – найдет ли работу? Ведь пятьдесят лет! Не шутка! Почему-то раньше он был совершенно уверен, что сумеет устроиться в Израиле: а ведь у него там и нет никого.

Вошла толстая женщина, тоже с типично еврейским лицом: нос крючком, глаза навывкате, волосы черные с проседью. Ни с кем не здороваясь, стала грубым голосом, громко задавать вопросы: Фамилия? Место жительства? По какому делу? – и пр., и пр.

Иосиф Львович, прежде чем ответить, с необычайной любезностью ей сказал:

– Шалом! Здравствуйте!

Она на него воззрилась с недоумением, ничего не ответила.

Почти все посетители получили кучу бумаг, которые нужно было прочесть и подписать. Иосифа Львовича особенно впечатлила одна, которую – он заметил – давали абсолютно всем: требовалось расписаться в том, что въезжая в Израиль, ты не имеешь враждебных намерений по отношению к еврейскому народу.

Он подумал – внизу на листе оставалось много места – и написал на иврите: «Вы в своем уме? Я сам еврей! Лечиться надо, ребята!» После чего поставил свою роспись.

Бумагу эту у него взяли вместе со всеми прочими – и ничего. Долго пришлось сидеть, ждать.

Время от времени в комнату заходила девушка, видимо, уборщица – она тоже поразила Иосифа Львовича своей внешностью: темно-оливковая кожа, черные-черные прямые волосы; черные, как переспелые маслины, миндалевидные глаза; очень тяжелые массивные бедра и ноги, но торс и руки тонкие, стройные – чисто-восточная, семитская, прямо-таки какая-то этнографическая девушка. «Где они таких набрали? – подумал Иосиф Львович. – Специально, что ли, подбирают: по внешности?»

Часа через три тягостного ожидания (из комнаты нельзя было двинуться: в туалет водил по одному охранник, тот самый мальчишка) Иосифа позвали к помощнику консула. В соседней комнате находился и сам консул: типичный израильчанин-сабр, коричневокожий, похожий на грека, маленький, плотный, темные с проседью волосы ежиком, отлично одет – он разговаривал по мобильному телефону, конечно, на иврите – скороговоркой, как говорят сабры, быстро расхаживая по комнате.

Вошедшего он, несомненно, увидел, но скользнул по нему взглядом, как по стене, отвернулся.

Иосиф Львович уселся за стол напротив очень высокой и худощавой, как жердь, тоже очень загорелой женщины с плоским невыразительным лицом. К его удивлению, она говорила по-русски с трудом. Но еще больше его поразило, что все ее вопросы свелись к тому, а действительно ли он еврей: кто его родственники, где они живут, где были во время Второй мировой войны и пр., и пр.

Над головой консульской дамы висели портреты Ариэля Шарона и Моше Кацава, выполненные в классической тоталитарной манере: так писали в свое время портреты Гитлера и Сталина; все изъяны лиц сглажены, выражение их отечески-ласковое, до приторности – сразу видно: это отцы народа! Не хватало только маленькой девочки с бантиками, с восторгом глядящей на них.

Иосиф Львович вышел из здания консульства в глубокой задумчивости.

Но дело было сделано: он установил свое еврейство, скоро будут готовы разрешение, виза. Идти на попятный было поздно.

...

Он уехал уже зимой, до Нового года. Сашка, узнав, в чем дело, перестала с ним разговаривать, не смотрела на него. Дома оставаться было невыносимо.

Валя проводила его до Петербурга; они ехали вместе в поезде, всю дорогу молчали, и она чувствовала в душе пустоту, и была даже рада ей: пусть уж все кончится, поскорей!

Иосиф всю дорогу читал какую-то толстенную книжищу антикварно-го вида: Валя только перед самым Петербургом взглянула на обложку – это был Талмуд, трактат «Пиркей Авот» – на иврите, конечно.

Раньше она бы обязательно сказала:

– Оська, ну ты идиот! Кто же читает в поезде – Талмуд? Тебя же арестуют! Купи себе детективчик – и читай.

Сейчас она, конечно, молчала. Они не развелись, формально все оставалось по-прежнему. Валя написала бумагу: она не возражает против выезда мужа в Израиль на ПМЖ; ни материальных, ни иных претензий к нему не имеет.

В Петербурге они сухо попрощались на вокзале: вокруг толкся народ, их толкали – он даже не подал ей руки.

«Вот и все! – подумала Валя. – Вот и все!»

...

Сразу после Нового года ударили жестокие морозы: в Петрозаводске температура падала ночью до -37°C . Второго января, рано утром, Валя проснулась: ей показалось, что она отлежала левую ногу. Но нога никак не хотела «оттаивать». Сашка проснулась сама, сразу вызвала «Скорую».

У Вали оказался микроинсульт. Месяц надо было вылежать дома, потом можно начинать ходить. Врач сказал, что, по его мнению, основные причины инсульта – переохлаждение и стресс. И того, и другого впредь нужно избегать: второго удара она может не пережить.

Валя вышла на работу 20 января: дочь ничего не могла с ней поделаться. Она просто не в состоянии была поступить иначе: оставаться одной в квартире, ничего не делая, вспоминать – было слишком мучительно.

Иосиф по приезде прислал открыточку с видом Иерусалима: стандартное бессодержательно-вежливое письмо – «доехал благополучно» и пр. И все. Потом писем не было почти полтора года.

Однажды Валя, усталая, сильно постаревшая, седая, сидела за своим письменным столом, проверяла тетрадки. Было еще относительно светло, но Сашка вошла в комнату, включила настольную лампу. Сашка, прежде замкнутая, себе на уме, теперь стала поразительно внимательной, ласковой. Валя иногда думала: «Какая у меня хорошая дочь! За что мне это? Я всегда уделяла ей мало внимания».

Валя после отъезда мужа перестала общаться с подругами: у нее были в городе две-три приятельницы – тоже учительницы; даже по телефону

разговаривала неохотно. Она с головой ушла в работу. Только в своей работе: с детьми, за своим письменным столом – она еще чувствовала себя по-прежнему, человеком.

Удивительно, как много зависит в жизни женщины, в ее самочувствии, от того, любит ли ее по-настоящему близкий мужчина. Если любит – ее внутренний мир так устойчив, ее уважение к себе, ее уверенность в себе безграничны. Если нет – все рушится.

Валя была по натуре веселым, жизнерадостным, общительным человеком. Правда, она не любила застолий, не терпела пустой болтовни. Но ее одиночество объяснялось не этим.

Почти у всех людей есть в душе что-то, что хочется скрыть от себя. Ведь так трудно прожить без компромиссов со своей совестью, без мелких – а иногда и вполне крупных – подлостей: так трудно, когда живешь в рабской стране.

А в присутствии Вали – неизвестно почему – люди вдруг начинали догадываться об этом, самом страшном для них, так хорошо, казалось бы, спрятанном в самых дальних углах души. Рядом с ней становилось труднее скрывать от себя правду. Она не говорила ничего, нет. Просто так она действовала на людей. Слишком серьезная, что ли? Слишком нравственная? А может быть, дело было в другом.

Сашка знала, что отец ее атеист: во всяком случае, считает себя атеистом; а мама – верующий, глубоко религиозный человек. Она очень редко, даже с дочерью, говорила о Боге: это было для нее чем-то глубоко интимным; не соблюдала никаких заповедей; конечно, не ходила в синагогу – но Сашка знала, просто знала, что это так.

Может быть, дело было в этом. Может быть, это не сама Валя так действовала на людей – а Бог через нее действовал: так иногда думала она сама.

Так или иначе, многие сторонились ее, даже побаивались. Но пока Иосиф был с ней, пока она уверена была в его любви, ее это не тяготило.

Теперь она была совсем одна. Ей оставалась только работа, только школа. Сашка уже взрослая: ей она уже не нужна.

Валя подняла голову от тетрадей, сняла очки: большие, некрасивые – их она носила только дома. Сашка взяла тряпку, сметала пыль с книжных полок: вид у нее был серьезный, сосредоточенный – будто она занималась важным делом.

Она была высокого роста, полнотелая, статная, очень белокожая; волосы русые, скорее светлые, чем темные, прямые; нос мягкий, утиный – совершенно русская девушка: абсолютно ничего ни от отца, ни от матери. И характер – свой, непохожий: очень методичная, уравновешенная, аккуратная, уверенная.

И Валя, и Иосиф были люди разбросанные: он побольше, она поменьше. На его столе вечно царил кавардак, и он запрещал там что-либо тро-

гать: «Сколько раз я просил ничего не трогать! Я потом ничего не найду!» Как там можно было что-то найти, непонятно. У Вали получше, но лежит все одно на другом, брошено впопыхах, вкривь и вкось.

На сашкином маленьком столе все всегда лежало геометрически правильно, идеально аккуратно; каждая ручка, каждая тетрадка имела свое определенное место.

У отца с матерью вечно совершенно неожиданно кончалась красная паста, ломались ручки, кончалась бумага. У дочери все было: она все держала про запас.

«Интересно, в кого она такая?» – иногда думала Валя.

Как-то она вспомнила: была у них в семье такая тетя Рейзл – ей, Вале, она приходилась, кажется, троюродной прапрабабкой. Вот она была такая – по характеру, да, кажется, и внешне: ее все уважали, с ней считались даже мужчины; к ней приходили советовать, как к равнине.

Вот и Сашка такая. И в школе, и в институте – негласный лидер; вечная староста класса. Никогда не нервничает, голоса не повысит, говорит мало – но скажет: рублем подарит! И все ее слушаются: даже удивительно. Валя и за собой замечала, что слушается, когда дочь ей что-то советует сделать. Удивительно!

Казалось бы, ну ничего общего с матерью. Но вот голос!

Голос был не то что похож: это просто был ее, валин, голос – такое же глубокое насыщенное контральто. Просто какой-то клонированный голос! Когда им звонили по телефону, то вечно их путали: мать принимали за дочь, дочь за мать.

Иногда Вале даже жутковато было слышать этот – свой! – голос из уст другого человека.

Сейчас она спросила:

– Сашка, почему ты решила пойти в школу?

И дочь сразу положила тряпку, степенно села, серьезно посмотрела; подумав, сказала:

– А это ты меня заразила... Ты очень заразная: ты разве не знаешь?

И Валу опять поразил этот голос, этот тон – в точности ее: чуть ироничный, и в то же время серьезный, внимательный.

– Сашенька, я сегодня так устала... Я не понимаю тебя. Я всегда не советовала тебе идти в школу, и я этого действительно не хочу. Это каторжный труд!

– Ох, мама... Понимаешь, ты не помнишь, наверно, но ты сама когда-то сказала: «Не словами человек влияет на человека, а всем своим существом...»

– Это я сказала?

– Да! Я даже записала: так мне понравилось.

– Ты что, хочешь издать сборник моих афоризмов?

– А что? Чем ты хуже Будды? Ему можно – а тебе нельзя?

– Нет, правда: ну почему? Я хочу понять тебя.

– Да? Для этого тебе достаточно было бы понять себя... Понимаешь, ты приходила домой – такая вся загадочная, праздничная: рассказывала о детях, о всяких веселых происшествиях в школе, об уроках – и это всегда было так интересно, так увлекательно... А ведь я была маленькая, я была ребенком, понимаешь? И я заразилась от тебя... Взрослые всегда заражают детей всякой гадостью!

– Ох, Сашка!.. Я так этого не хотела!

– Ничего не поделаешь, мама. Это мой выбор, я имею на него право.

– И самое главное: выходит, я сама виновата! – ты же сейчас сказала...

Дочь спокойно поднялась со стула, взялась опять за тряпку, сказала, не оборачиваясь:

– Мама! Ты виновата не только в этом! Ты виновата даже и просто в том, что я есть на свете.

И Валу снова поразил этот голос. И она, глядя на дочь, подумала: «Когда меня не станет, этот голос будет еще долго звучать в этом городе, на этой Земле. Как это странно!.. Может быть, это и есть бессмертие?»

...

Сашка вышла в другую комнату.

Валя долго сидела, ничего не делая, не шевелясь, потом встрепенулась, подняла голову и нечаянно посмотрела на себя в зеркало. Стало уже темно, свет настольной лампы освещал ее лицо сбоку. Из зеркала на нее смотрела старуха лет семидесяти: седая, изможденная, какая-то измученная; глаза, как на иконе – будто у человека, преодолевающего боль.

Ей стало страшно, она быстро отвернулась, погасила лампу. Подумала: «Боже мой! Во что я превратилась! Мне недавно исполнилось 50 лет! А я уже глубокая старуха... Странно, почему – я сколько раз замечала – хорошие учительницы все несчастливы в личной жизни, все одиноки, все слишком рано стареют?.. Проклятая страна!.. Моя страна. Моя родина!»

Но она ошибалась. Она просто устала в этот день, а мертвый холодный электрический свет подчеркнул все морщины, ее седину. На самом деле в свои пятьдесят она стала в чем-то даже привлекательней, чем в юности: проще, добрее. В молодости она была замкнута, суховата, держала дистанцию, допускала до себя очень немногих.

А кроме того, человек почти никогда не похож на себя, когда смотрит в зеркало. Настоящей собой: оживленной, бодрой, какой-то изнутри светящейся – она теперь бывала только в школе, с детьми. Но в такие минуты она не могла себя видеть.

...

В следующем учебном году Валя набрала побольше часов, взяла факультативы по развитию речи – сразу в двух соседних школах. Это было на Древянке: далеко, приходилось ездить на маршрутке. Но ей теперь было все равно: только бы успеть сделать побольше, отдать детям все, что можно. Она чувствовала, что земной ее путь кончается – и торопилась.

Она очень изменилась за этот последний год, хотя сама этого не замечала. Ее всегда уважали и любили дети: за неподкупную справедливость, великолепное умение владеть собой; за высочайший профессионализм – дети всегда его чувствуют; за то, что с ней никогда не было скучно. Но прежде она была далека от них, недоступна. Она никогда ни к кому не прикасалась, не гладила, не трогала – и взгляд у нее был отрешенный, отодвигающий. Ее любили, но и побаивались: уж так строга, так строга – все увидит, ничего не пропустит!

Теперь с ней что-то случилось: будто изнутри хлынул какой-то свет – словно что-то там прорвалось, рухнул барьер – и она теперь обнимала детей, брала их за руки, и глаза ее стали другими: они теперь пропускали в себя, стали ласковее, человечнее. И дети, как никогда, тянулись к ней, и она это чувствовала, радовалась – и часто тревожилась: вдруг не успею? Только бы успеть! Вот только с этими детьми: а потом уже все равно!

Время теперь мчалось быстро, оно будто стало бешеным. Дни мелькали один за другим. И только лица детей удерживались в памяти.

Никто не знал – и даже Сашка не догадывалась об этом – что ее гложут страшные сомнения. Это началось как болезнь – с отъезда мужа. Она вспоминала его слова: «Ты – питательная среда для паразитов», – и думала: «А если он прав? Если мне только кажется, что я достойно прожила жизнь, что в моей работе есть смысл?»

Вот Иосифа, самого сильного педагога, какого я знала за всю жизнь, затравили, выдавили за границу. А я работаю. Зачем? Зачем я внушаю детям чувство собственного достоинства, веру в справедливость? Как они будут жить в этой стране? Может быть, лучше для них, чтобы я ушла?»

Но она продолжала работать. Мысли грызли ее изнутри, а она все так же любила детей, так же тщательно готовилась к урокам, продумывала каждую деталь. Она просто уже не могла остановиться.

Однажды она подумала: «Когда-то мне казалось: человеческая жизнь – это непрерывная цепь находок, открытий, приобретений. А жизнь – это непрерывная цепь потерь. И ты стоишь, как дерево на холодном ветру, и роняешь последние листья. И только самое главное, самое важное – остается!.. Но, может быть, так и должно быть?..»

Все-таки, как это странно: идешь, идешь – на ощупь, наугад – и только в конце пути начинаешь понимать, куда и зачем ты шла».

...

А летом пришло большое письмо от Иосифа. Сашка читать его отказалась, хотя там была приписка и для нее. Валя прочла все, хотя ей это было мучительно тяжело.

Он писал об Израиле: это не то, что я думал. «Израиль – оказывается, вовсе не еврейское государство. Здесь нет никакого единства, которое всегда отличало евреев. В сущности, в Израиле живут несколько этниче-

ских групп: сабры, русские, марокканцы (так здесь называют всех выходцев из стран Леванта, даже если они в Марокко никогда не были), эфиопы, арабы, наконец. Господствующее положение занимают сабры. У них у всех – по нескольку квартир, большую часть из них они сдают внаем за большие деньги. Они на самых теплых местечках, везде. Черную работу делают другие, в армии – 80% русских.

Вообще знаешь, что такое Израиль? Это всееврейская помойка. Да, да! Я даже думаю, что Израиль выполняет в этом смысле полезную функцию: как всякая мусорная свалка. Тут свалены в кучу все пороки, накопленные за века травли, преследований, нищеты. Это бешеная жажда мещанского благополучия: мы тоже будем сытыми, богатыми – не хуже других! Это паранойяльная подозрительность к чужим, к соседям. Это местечковое хамство, назойливость, крикливость. Это эгоизм.

Все это здесь есть, и в каком-то сгущенном, концентрированном виде. Но нет никакого понятия о Боге, о нравственном долге, никакой взаимопомощи – ничего из того лучшего, что всегда отличало евреев.

И здешний иврит – это такой кошмар! в сущности, это уже другой язык: новояз на основе иврита – как у Оруэлла. Хамский, примитивный, первобытный.

А они гордятся: мы возродили мертвый язык!

Мой отец еще помнил то время, когда почти каждый мужчина-еврей знал иврит: читал, писал, говорил, даже думал на этом языке. Зачем его «возродить»? Он не умирал.

Здесь иврит не возродили, а втоптали в грязь, опошлили, унизили. Здесь на иврите проститутки дают свои объявления; здесь на иврите оскорбляют друг друга.

И евреи здесь унижены, как не были еще никогда. Здесь из мальчиков и девочек, представителей «святого народа», делают полицаев, шпионов, убийц, сытых мещан. Такого не было никогда в истории нашего народа! Такого человеческого падения, такого позора!

Раньше громили евреев; теперь евреи сами громят тех, кто слабее них.

И, конечно, здесь я никому не нужен: настоящей работы мне здесь не найти никогда.

Но я не жалею, что приехал сюда: мне это пошло на пользу. Благодаря Израилю я понял, что потерял.

Я хочу вернуться. Деньги я нашел, на билет мне хватит. Документы в порядке.

Напиши мне, готова ли ты снова принять меня».

Валя отложила письмо. Он пишет о себе: о своих метаниях, об Израиле. О ней – ни слова. Никаких извинений. Он хочет вернуться – но не к ней, а в Россию: потому что там ему плохо.

Что ж – все понятно! Ей было 26 лет, когда он сделал ей предложение: она только что приехала из села, где одно лишь и видела – работу,

детей. А он – умный, талантливый, интеллигентный человек. И он тогда увлекся ею.

У нее не было выбора. У женщины должен быть выбор – а у нее не было. И она тогда поверила, что это любовь, что это и есть настоящее. Потому что хотела верить, потому что ей очень нужно было верить.

Что ж: ее муж – очень хороший, достойный человек. В этом она никогда не сомневалась. И благодаря ему у нее есть Сашка: последняя близкая душа. И это хорошо, что он решил вернуться: о нем успели забыть – может быть, он найдет работу.

Она взяла лист бумаги, долго сидела, опустив голову, потом встала, подошла к телефону, набрала номер, спросила:

– Могу я дать телеграмму в Израиль?

Она продиктовала, держа в руках конверт, адрес мужа, потом свой.

– Напишите только два слова: «Приезжай. Валя».

– И все? – недоверчиво спросил в трубку девичий голос.

– Да, это все.

Девушка назвала стоимость услуги. Валя поблагодарила, опустила трубку. И села готовиться к урокам.

...

А еще через месяц она получила письмо, которое сначала даже не думала открывать: решила, что это ошибка – письмо не ей. Обратный адрес: «Нижевартовск. От Байковой Светланы». Что за Байкова Светлана? И при чем тут Нижевартовск? Нет там у нее знакомых.

И только открыв письмо, поняла: это от ученицы. Старой: наверно, лет десять, как закончила школу. И Валя, к стыду своему, ее совсем не помнила. «Байкова» – конечно, не ее фамилия: мужа.

Она стала читать:

«Здравствуйте, Валентина Семеновна!

Пишет Вам Ваша бывшая ученица Света Панова, теперь Байкова. Вы меня, наверно, не помните: еще бы – столько лет прошло! А я Вас помню и не забуду никогда. И вот решила Вам написать.

Помните тот случай, когда Вы мне так помогли: отдали мне роль Оксаны в школьном спектакле? Это перевернуло мою жизнь! Я вообще свою настоящую жизнь считаю с этого дня. Если бы не Вы, я никогда не поверила бы в себя, не была бы счастлива.

А сейчас я очень счастлива! Я стала общительной, веселой, какой не была в школе. И это благодаря Вам!

Вы для меня – Бог!

Я Вас помню, люблю и никогда не забуду».

Теперь Валя вспомнила: была у нее такая девочка – из числа самых тихих, незаметных, каких не слышно и не видно в классе – Света Панова. Но подошел возраст, десятый класс: ей хотелось что-то сломать в себе, стать другой.

Тогда в школе ставили спектакль по гоголевской «Ночи перед Рождеством», Валя была режиссером. В роли Оксаны – Лена Адонина, классная красавица, надменная, холодная – ну точно Оксана: ей и играть не надо было – останься на сцене самой собой, и все.

И вдруг, накануне спектакля, Света стала просить, не просить – умолять: отдайте мне роль! Я все слова знаю! Отдайте, пожалуйста: мне очень нужно!

Валя видела, понимала: ей действительно нужно. Она работает над собой. И эта роль – рычаг, чтобы повернуть что-то в себе. Но что было делать, под каким предлогом забрать у Лены уже готовую, отрепетированную роль?

И она придумала: оставила Лену после уроков, рассказала ей все – попросила: Помоги Свете! Я учитель, но я ничего не могу сделать – а ты сейчас можешь многое.

И та помогла, отрепетировала со Светой роль, подготовила ее. И все прошло хорошо, и Света была страшно счастлива, и с тех пор у нее как рукой сняло: она стала общительной, раскрепостилась, стала лучше учиться, нравиться мальчикам – словно вырвалось из глубин души на свободу ее настоящее «Я».

Вот только лица ее Валя вспомнить не могла: забыла совершенно.

Вместо него вдруг всплыло в памяти другое лицо, другие глаза. Как странно: она думала, что давно их забыла! Это были глаза Аси Соколовой – из далекой ее учительской молодости. Этот потрясающий взгляд!

Сколько таких детских глаз видела она в своей жизни! Но разве не она сама зажигала в них свет?

Она часто встречала на улицах города людей, вполне взрослых, которые почтительно здоровались с ней, улыбались детскими восторженными улыбками. Это были ученики, конечно: но Валя часто сама не знала, с кем поздоровалась – люди меняются, а зрение у нее совсем испортилось и очков на улице она не носила.

А дети! Как здоровались с ней дети! Какие улыбки, какие глаза – какой свет!

«Вы для меня – Бог», – так она написала. Забытая моя, незаметная Света!

И Валя подумала: «Господи! Боже отцов моих! Спасибо Тебе! На что я еще жалуюсь? Кто же на свете счастливее меня? Кому лучше, чем мне? Разве не мне сияли всю жизнь улыбки детей? Разве не мне написала моя ученица: «Вы для меня – Бог»?

Спасибо Тебе, Боже! Я ничего уже не прошу у Тебя. Дай мне только пройти свой путь до конца с поднятой головой, дай сделать еще что-нибудь для этих детей. Больше мне ничего не нужно!»

...

Иосиф должен был приехать в декабре, перед Новым годом. Он написал еще одно письмо: очень нежное – только для жены. И она подумала:

«Может, напрасно я похоронила свою любовь? Может быть, все еще возродится?» И снова начала ждать.

В середине декабря стало холодно, но не настолько, чтобы занятия в школах прекратились. Дул сильный ветер, сутками сыпал снег, острый, колючий; крутила метель.

В один из таких дней, в три часа, Валя вышла из 45-й школы. Уроки у нее кончились. Ей нужно было перейти через Березовую Аллею в 42-ю школу – 30 метров по прямой – где она проводила факультатив.

Она торопилась: не опоздать бы. Тяжелая сумка оттягивала плечо.

Вдруг посреди улицы, там, где тянутся ряды чахлах берез, с ней случилось что-то странное: она ничего не почувствовала, но очутилась на снегу. Она не могла двинуться, не могла пошевелить рукой.

Вдруг она поняла, что происходит. И не пожалела об этой Земле, которую так любила; об этом городе, о жизни, о дочери: ей только стало обидно, что она уже не проведет сегодня факультатив – а ведь дети будут ее ждать! Как же так, Господи, как же так: она никогда не обманывала детей! Они будут ждать – а она не придет. И даже не сможет потом извиниться перед ними. Неужели нельзя было подождать еще хоть немного?

Она больше не чувствовала своего тела, и ей казалось, что она отделяется от него: оно перестает принадлежать ей: но это было не больно, а Здравствуйте, Валентина Семеновна только очень странно – она вообще ничего не чувствовала. С ее «Я», с ее памятью, с ее сознанием ничего не случилось: она сознавала себя, она помнила, кто она, где она – она все понимала.

Как жаль, что здесь нет Сашки! Она бы успела сказать ей: Детка, не бойся! Когда придет твой час, не бойся ничего: это совсем не страшно. Вот видишь: я же не боюсь!

Теперь она видела перед собой только небо: серое, бледное, угрюмое. И вдруг прямо на небе, заслоняя его, возникло лицо: лицо ее матери. Оно было точно таким, как на старой фотографии, стоявшей у нее на столе, где мама совсем молодая, с юными сияющими глазами.

Лицо становилось все больше, оно было живым, оно улыбалось, и уже не было больше ничего в мире, кроме этого божественно прекрасного родного лица – и Валя уходила в него, растворялась в нем.

И она, как ей показалось, очень громко, позвала: «Мама! Мама! Так значит это правда? Значит мы снова будем вместе? Как я счастлива, мама!»

...

Мимо проходила какая-то женщина с сумками, она наклонилась над лежащим на снегу маленьким телом седой старушки: шапка упала у нее с головы, волосы растрепались – они были такие же белые, как снег. Женщина, бросив свои сумки, побежала в школу, вызвала «Скорую». «Скорая» приехала быстро: старушку подняли, увезли.

Вечером того же дня больная Валентина Семеновна Гликман, 52 лет, скончалась в реанимационном отделении Больницы скорой помощи от инсульта.

А через два дня в Петрозаводск приехал Иосиф.

...

Газета «Северный курьер» напечатала крошечное, петитом, объявление-некролог: «Такого-то числа скоропостижно скончалась такая-то. Прощание с телом там-то, тогда-то».

Иосифу Львовичу, диктовавшему этот текстик по телефону, казалось, что он спит и видит сон: Валя умерла и нужно ее хоронить! Умерла. Вот его дом, любимые книги, родной город – какая радость, я вернулся! А Вали нет, и уже не будет никогда. Как понять это?

Сашка встретила его сурово, не поздоровалась, не смотрела в лицо, говорила с ним только по необходимости: дел было много – гроб, памятник, автобус, место на кладбище. Огромных денег стоило вырыть могилу: рыли бульдозером, земля замерзла, затвердела, как камень.

Иосиф Львович иногда с удивлением смотрел на дочь: она ни разу не заплакала, казалась спокойной – была только очень бледна. Точные движения, суховатый голос. Какая странная девушка: неужели это его дочь?

А в другой раз он подумал: как она меня наказывает! Как выверен каждый жест, каждое слово, каждый взгляд. Какая последовательность, какая четкая сознательная линия поведения. Да ведь она будет блестящим педагогом! Валя, Валечка: мы с тобой можем гордиться ею!

Ночью, после всех хлопот, суеты, непрерывных звонков, соболезнований, он сидел на стуле, опустошенный, не в силах раздеться и лечь. Тело жены, крошечное, сохшееся, невесомое, лежало на столе.

Сашка зашла в комнату, села, спросила сурово, не глядя на отца:

– Ты совсем приехал?

Иосиф Львович долго молчал, потом ответил очень спокойно:

– Да, совсем.

...

Валю хоронили на следующий день. Людей было немного: холод, мела поземка. Иосиф и Миша Гольденфарб, мрачный, но спокойный, стояли у гроба.

Когда прощались с телом, прежде чем везти на кладбище, подъехала еще какая-то машина. Из нее вышли несколько человек: впереди – полная женщина в длинном пальто, в меховой шапке: это была министр образования, Галина Анатольевна Разбитная.

Она и сама не знала, почему вдруг решила приехать. Так, что-то ударило в голову. Кто-то ей вчера сказал, а сегодня проезжали по Кирова, совсем ведь рядом: что стоит зайти. И все будут говорить: вот как она уважает учителей! Министр – а не пожалела своего времени, зашла проститься с простой учительницей!

Был тут и момент ее торжества: вот, Валя умерла – потому что неудачница, не сумела устроить свою жизнь – а я живу, да еще как живу!

Галина Анатольевна не знала, что Иосиф Львович в городе, что она увидит его. Но и это ее не могло смутить. Она не опасалась за себя: она верила в свой безошибочный инстинкт: похороны? – значит надо сделать печальное, сочувственное лицо, притвориться – тут нет ничего сложного: люди всегда верят любому притворству – они ничего не заметят.

Неторопливым – приличным случаем – степенным шагом она подходила к гробу с цветами. Возле него стояла высокая девушка; лицо ее было белое, как платок, но она казалась совершенно спокойной. Галина Анатольевна понятия не имела, кто это такая: она никогда не видела Валину дочь.

Девушка смотрела на тело в гробу, потом медленно подняла голову, перевела глаза на лицо министра. Взгляд ее был странный, загадочный, пристальный, напряженный.

И вдруг Галина Анатольевна остановилась, затопталась на месте, растерялась, открыла рот – и ничего не сказала. Ее свита, не понимая, в чем дело, тоже остановилась: Кармаззин, маленький, в черном, до пят, пальто, в огромной меховой шапке, похожий на почерневший гриб-поганку, растерянно смотрел на начальницу.

А она чувствовала, что панически боится этой девушки, ее странного сверлящего взгляда, и не может сделать то, что нужно, и не может ничего сказать.

И она, всесильный министр, совершенно потерявшись, стояла под этим взглядом, как наколотая на булавку бабочка, как провинившаяся девчонка – и не знала, как быть, куда двинуться, и ей было стыдно, и неловко, и страшно – словно в первый раз в жизни она увидела себя, жалкую, испуганную, – со стороны.

...

Со смерти Вали прошел год.

Однажды зимой – шел такой же снег, как тогда, когда хоронили маму – Сашка сидела у окна, проверяла тетрадки. Она работала первый год, ей дали два пятых класса, и она просиживала за столом часами – в очках очень похожая на маму.

Иосиф Львович вошел в комнату, поздоровался, сел в кресло с книгой. Он тоже работал, за городом, в поселке Мелиоративный: ездил каждый день на пригородном автобусе – и был совершенно счастлив.

Сашка отложила ручку, достала из стола какую-то пухлую тетрадь: обычную общую тетрадь, в клеенчатой коричневой обложке, по виду – очень старую, с пожелтевшей бумагой, сказала:

– Папа, иди посмотри, что я нашла.

Он вздрогнул: дочь назвала его, как прежде, «папой»: впервые с тех пор, как он вернулся.

Он быстро встал, подошел: Ах, вот оно что! Это мамины стихи!

Валя всю жизнь писала стихи: не постоянно, а временами – накатит на нее, она напишет несколько стихотворений – а потом месяцами не пишет ничего. Стихов своих она никому не показывала: во-первых, не заблуждалась насчет их литературных достоинств; во-вторых, это был ее интимный дневник – а интимный дневник, тем более, женский, нельзя показывать никому.

Сейчас Сашка открыла отцу одну из первых страниц: это было раннее стихотворение, судя по дате, Вале было 18 лет, когда она его написала.

Он прочел:

Снег идет! Снег идет!

Все плохое бесследно прошло.

На душе так пушисто, светло!

Снег идет! Снег идет!

Иосиф Львович поднял голову: за окном действительно шел снег. Крупный, пушистый.

Она очень любила снег: с детства. Хотя не умела ездить на лыжах и играть в снежки ей тоже не очень-то нравилось. Сашка права: она любила снег вот по этой причине – потому что он очищает, просветляет душу. В самом деле: есть у него такое свойство! Он тоже всегда любил снег: всю свою жизнь.

Сашка подняла голову, улыбнулась:

– Я показала тебе потому, что, когда я это прочла, у меня тоже стало «пушисто на душе». И мне захотелось, чтобы и у тебя тоже стало.

– Да? У тебя получилось! Я это чувствую: действительно очень пушисто.

Он наклонился и поцеловал дочь в мягкие теплые волосы.

Потом сел в кресло и подумал: «Ну вот! Валя все-таки меня простила!»

...

1 сентября 2004 г.

Вадим Слуцкий

МОЯ МАМА

Подписано в печать 2.10.2011
Тираж 100 экз. Заказ №

Отпечатано в ООО «Издательство «ЛЕМА»
Санкт-Петербург, Средний пр. В.О., 24 Телефон/факс: (812) 401-01-74
e-mai: izd_lemma@mail.ru